
ЛЕСЬ ГОМІН
ГОЛГОФА



ГОЛГОФА

РОМАН

Перевод с украинского
Л. Н. Макарова

Издательство «Картя Молдовеняскэ»
Кишинев * 1964

Роман написан на основе достоверных фактов, взятых из жизни молдавских монастырей в период между революцией 1905 года и Великой Октябрьской социалистической революцией. Центральной фигурой романа является пройдоха и жулик Иван Левизор (в монашестве иеромонах Иннокентий), уроженец с. Косоуцы, входящего ныне в Сорокский район Молдавской ССР.

Автор взволнованно описывает чудовищные преступления, совершенные этим проходимцем с позволения и при прямом участии высших духовных и светских властей, наживавшихся на обмане крестьянской бедноты.

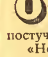
Написанная четверть века назад, книга представляет большой интерес и в наши дни, так как убедительно и впечатляюще разоблачает «святость» творимых иннокентьевцами дел.



ЛЕСЬ ГОМІН

ЖЕНЕ, ДРУГУ
ПОСВЯЩАЮ

Автор





ПРОЛОГ

1

Отец Досифей, заступив на стражу у монастырских ворот, укладывался спать. Вдруг кто-то постучал.

«Нечистая сила,— подумал отец Досифей.— И кого это черти носят ночью?»

— Во имя отца и сына и святого духа, кто там?

— Свои... Откройте. Не бойтесь,— молодо прозвучал из-за ворот сочный голос.

Отец Досифей открыл калитку. Темная фигура, согнувшись, протиснулась в узкий проход и выпрямилась перед отцом Досифеем. В темноте отец Досифей не мог рассмотреть гостя. Тот возвышался над ним, словно высокая башня.

— А чего тебе, добрый человече, нужно? Зачем так поздно к нам?

— Дело есть, святой отец. Я хотел бы видеть игумена.

— Отец игумен, наверное, уже спят. Подожди до утра.

— Вы все же покажите, как пройти к нему. Может и примет.

Что поделаешь. Отец Досифей вынужден был уступить настойчивому гостю.

— Подожди, брат, вот позову сторожа.

— Зачем здесь сторож? — спросил кто-то из темноты скрипучим голосом.

— Отец игумен идут,— шепотом молвил отец Досифей гостю.— Вот они.

Гость насторожился. Мелкими шажками к ним приближалась какая-то бесформенная фигура.

— Слава отцу и сыну и святому духу ныне и присно и во веки веков,— приветствовал отец Досифей.

— Аминь,— закончил игумен.— Так зачем здесь понадобился сторож?

— Да вот, отче, гость пришел к вам. Я думал, вы спите, и не хотел беспокоить.

— Благодарю, брат, за заботу. Но кто приходит ко мне с именем божьим, для того я никогда не сплю. А ты кто, раб божий? По какому делу ко мне? — спросил игумен.

— Отче, мне надобно исповедаться,— падая на колени, проговорил гость.

— Хорошо, пойдем...

Игумен засеменил к своей келье. Гость на расстоянии последовал за ним.

Русокудрый юноша-послушник, стоявший у входа в келью, низко поклонился игумену. Тот в ответ едва заметно кивнул головой и приказал:

— Подай, Василий, все, что нужно для исповеди.

Гость вошел в келью игумена и остолбенел, изумленный ее обстановкой. Пышная резная кровать с горой подушек в вышитых молдавскими узорами наволочках, расшитое домотканое одеяло, самые дорогие молдавские ковры — все приковывало взор. Киот с лампадкой и золотым распятием, толстое евангелие в серебряном с золотом переплете, мраморный белый умывальник с шестикрылым серафимом, держащим в руках большой ковш с золотой крышкой, навевали на него суеверный ужас. Он испуганно оглядывался, не зная, куда ступить.

А отец Ананий, оседлав очками свой маленький, как кнопка, носик, пристально рассматривал гостя.

Перед ним стоял юноша лет двадцати пяти, высокий, стройный, плечистый. Лицо продолговатое, смуглое, с чистой бархатистой кожей. Длинный прямой нос красивой формы, красные губы плотно сжаты. Чер-

ные глаза, обрамленные густыми ресницами, смотрят будто из бездны. Это было одно из тех лиц, которые вызывают на откровенность. И только в том месте, где нос сходился со лбом, прорезались складочки своеволия, упрямства. А брови, соединяясь над переносицей, совсем меняли лицо, и из-под них выглядывали глаза уже другого человека: пытливого, хитрого. Гость был в одежде бедного молдавского крестьянина.

Отец Ананий искренне удивился: «Зачем этакому исполину понадобился монастырь? Что привело сюда этого чудилу?»

Но вслух сказал:

— Раб божий Иван, отдай честь святым иконам и поведай о своем деле.

Иван резко повернулся к отцу Ананию и быстро окинул взглядом его уродливую фигурку.

Отец Ананий был низенький, как гриб, сухощавый, с белой бородой, почти достигавшей пояса, с седыми космами волос и белыми нависшими над глазами бровями. Глаза — как два зеленых пятнышка на болотной воде. Лицо маленькое, сморщенное. А впрочем, лица словно и не было вовсе. Глаза все время суетливо бегали, будто искали что-то и непременно, обязательно должны были найти.

Иван трижды перекрестился и, поклонившись, молча достал кошелек, вынул пять золотых червонцев и положил перед игуменом:

— Возьмите, отче, на церковь.

Два зеленых пятнышка забегали быстрее, а кнопка носа завертелась, словно не находя себе места в зарослях усов.

— Садись, раб божий, с дороги надо поесть. А потом, подкрепив тело, полечим и душу.

Предложение понравилось Ивану. Он поспешно сел к столу, но вот... куда ему девать заскорузлые, грязные руки, чтобы не испачкать скатерти? Игумен позвонил. Вошел послушник.

— Василий, скажи эконому, пусть соберет нам ужин и сам приходит сюда.

Послушник поклонился и вышел.

— Ну, раб божий Иван, не приступишь ли к делу? Говори, что привело тебя в божий дом?

Ох, эти проклятые черные, вымазанные в навозе

руки, хоть гречку на них сей, а под ногтями, кажется, трава могла бы расти... Глянул на них — и окончательно растерялся. Куда девать эти руки, которые кажутся на фоне белой скатерти двумя комьями земли? Иван ерзал на стуле.

Отец Ананий смотрел на него с отвращением.

На миру он вращался в светском обществе, и неотесанная монастырская братия приводила его в отчаяние. Отец Ананий брезгал садиться с монахами за трапезу. Его тошнило от их присутствия, и он становился все более раздражительным. Часто братия тайком роптала на сурового игумена, а он, прослышав об этом, еще больше придирался к каждому, и в конце концов между ним и монахами возникла пропасть недоверия и ненависти. Поэтому и сейчас, когда отец Ананий смотрел на Ивана, из глубины его существа поднимались злость и отвращение. Физическая красота этого юноши раздражала его, а неопрятность вызывала тошноту. Впрочем, он должен был это терпеть и узнать о деле. И он ласково обратился к гостю:

— Не помыться ли тебе с дороги? Ты, видно, прошел немалый путь, запылился...

Иван почувствовал намек и еще больше смутился.

— Правда ваша. Мне бы помыться... если позволите.

Отец Ананий снова позвонил.

— Василий, пусть человек помоется.

Гость вышел, а отец Ананий задержал Василия и торопливо приказал ему:

— Вымой и почисть эту скотину, чтобы не походила на свинью, вывалявшуюся в грязи.

— Слушаюсь, отче. Вымою.

Через полчаса Иван вернулся уже чистым, и теперь видно было, что он действительно красив. Когда он вошел, стол уже был накрыт, а у стола сидел отец эконом — скрюченная, жалкая фигурка с огромной лысой головой.

Поздоровавшись, Иван сел поодаль.

— Ну, благослови, боже, — промолвил, перекрестившись, игумен. — Будем ужинать.

Перекрестился и Иван.

— Не годится, отец игумен, всухую кушать, — заметил отец эконом. — Надо бы помаслить еду. На миру это любят.

— Еще что скажешь! Разве можно перед исповедью?

— Бог простит... Все равно ему будем каяться... хе-хе.

— И то правда. Ох, и искуситель ты, отче,— усмехаясь, сказал отец Ананий.— Хоть кого уговоришь.

Он налил большую рюмку водки и подал Ивану:

— Выпей... и будем ужинать.

Иван опорожнил рюмку одним духом — только чуть скривился. Быстро начал есть, а отец Ананий, желая расположить к себе гостя, налил еще:

— Да пей уж и вторую для ровного счета.

Иван снова выпил. Отец Ананий решил приступить к делу.

— Поведай же, зачем пришел, по какому делу?

— Зачем? Хочу, отче, грехи искупить в монастыре, да не знаю, примете ли.

— Мы никого не прогоняем,— сказал отец Ананий, снова наливая.— Пей, раб божий, да рассказывай дальше.

Иван повеселел. У него зашумело в голове, в глазах замельтешило. Опорожнив рюмку, опустошил тарелки. За третьей пошла четвертая — и вот уже отец Ананий кажется ему мордастым, громадным, как гора, чучелом, а эконом смешно завертелся вдруг на своем стуле. Иван тихо засмеялся.

— Ну, и что же ты надумал? — спросил отец Ананий.

— Я? Надумал я... надумал бросить к чертовой матери село. Надоело. Он не дает мне покоя... все выспрашивает... цепляется...

— Кто?

— Кто? Да тот... Николай Гурян. Он догадывается. Но черта с два донюхается. Иван не дурак. Иван знает, что делает... Что с воза упало, то пропало. Ищи...

Отец Ананий налил снова. Иван схватил рюмку и выпил. Поставить ее на стол он уже не смог. Рюмка скатилась на мягкий ковер. Отец эконом поднял ее.

— Так чего же он цепляется? — спросил эконом.

— Кто? Вы? Ты? Гы-гы-гы-ы! — засмеялся Иван.— А ну, покажи спину... — И он грязно выругался.

— Иди, отец эконом, не зли его.

Отец эконом вышел. Отец Ананий начал исповедь.

Часы показывали шесть. Отец Ананий все еще задумчиво ходил по келье.

— Такое мурло! — вслух восклицал он и опять мерил шагами келью.— Умный мог бы сделать невесть что, а это хамье исповедуется, кается... Плачет, пьяное рыло... Вот уж, действительно, скотина.

Отец Ананий все ходил и ходил по келье в глубокой задумчивости. Да... Иван, хоть и пьян был, не открыл своей тайны до конца. И как ни допытывался отец Ананий на исповеди, тот обходил главное. Отец Ананий припоминает исповедь, каждое Иваново слово. Под епитрахилью — пьяная рожа, посиневшая от напряжения. Глаза блестящие, налитые кровью, слова путаные, язык пьяно ворочается. И история, вложенная в те слова, тоже запутанная. А слова хитрые...

Отец Ананий позвонил. Явился Василий.

— Пришли сюда эконома.

Отец Ларион вошел, удивленный ранним вызовом. Отец Ананий сам закрыл за ним дверь.

— Слушай, отец Ларион. Этого гостя нужно принять в монастырь. Зачем — узнаешь потом. Вели его переодеть и... дать самую грязную работу.

— Слушаю, отче. Но что монастырю от этого?

— Делай, как велю. Дашь распоряжение — приходи, поговорим.

Отец Ларион вышел, а игумен продолжал размышлять. Вдруг что-то припомнил. Опять позвонил. Вошел Василий.

— Василий, позови эконома.

Через минуту тот пришел снова.

— Слушай, отец Ларион, пошли сегодня нашего гостя пастухом к Игнату. Игната позовешь ко мне и придешь сам.

Через час прибыл Игнат—старый загорелый великан.

— Вот что, отец Игнат, я позвал тебя на совет по очень важному делу.— Отец Ананий затворил дверь и подчеркнуто серьезно обратился к нему: — Поклянись молчать о том, что услышишь.

Отец Игнат поклялся. Тогда отец Ананий, решившись, рассказал историю грехопадения Ивана. Длинную, запутанную, темную историю, которая тянулась

от самого детства Ивана, уроженца села Косоуцы, что около Сорок, до самых монастырских ворот.

Лето. Батрак Иван поехал накосить свежей отавы на корм скоту. Дорога тянулась степью. Волы тихо двигались шляхом и вдруг остановились возле чьей-то телеги. Иван подошел. На телеге лежал незнакомый мужчина в городской одежде и стонал. В то время людей косила жестокая эпидемия холеры. Искаженное лицо человека напоминало лица крестьян, умиравших от холеры, и Иван испуганно отбежал к своей повозке. Но человек умолял, звал на помощь. Городская одежда заинтересовала Ивана. Превозмогая страх, он подошел ближе. Больной, запинаясь, начал что-то рассказывать, но речь его прервали новые жестокие судороги. Он взвыл от боли, зарылся в солому. Из-под нее выглянула желтая кожа чемодана. Ивана подмывало узнать, что там, внутри. Трусливо тронул желтую кожу. Прогибалась. Попробовал поднять — тяжелый. Вытащил его из повозки, распорол ножом и... бросились в глаза пачки денег.

Вокруг никого. Больной умирал. Иван втащил чемодан к себе на телегу и изо всех сил погнал быков в поле.

Через месяц Иван ушел от хозяина, прибился к одной вдове в соседнем хуторе. Вдова полюбила работящего, денежного приймака, а он трудился в ее хозяйстве, как в своем собственном. Она уже представляла, как захудалое хозяйство окрепнет и достигнет благополучия, расширится, а она, важная хозяйка, заживет в полном достатке.

Дочь Марыся, ни о чем не думая, забавлялась и частенько нахваливала дядю Ивана: с некоторых пор он носил ей конфеты, если был трезвый, а когда приходил выпивши, то и гривенник, бывало, даст или купит что из одежды.

Как-то Марыся была одна. Дядя Иван возвратился пьяненький, подозвал Марысю к себе, взял за подбородок и ласково спросил:

— Ты меня любишь, Марыся?

— Люблю.

— А крепко?

— Вот так!

Она обняла его изо всех сил за шею. Молодое ее тельце прижалось к нему. Кровь ударила Ивану в голову. Схватил девчонку, прижал к себе, стал осыпать поцелуями. Ребенок не защищался, лишь слегка отстранял губы от пьяного Иванова рта. И только когда дрожащие руки Ивана дотронулись до обнаженного тела, она вскрикнула, рванулась. Но рассвирепевший зверь смял хиленькую девчушку, и она потеряла сознание. Когда очнулась, жаловалась маме на боль, не понимая, что произошло.

Но Иван понимал. Несколько сотен рублей принудили вдову молчать, и он почти открыто жил с Марысей как с женой.

Время шло. Марыся была уже беременна. А через некоторое время скончалась в муках преждевременных родов.

Началось следствие. Урядник, давно уже пронюхавший об этом деле, прицепился к Ивану. Вновь две сотенные замкнули начальнику рот. Марысю похоронили. Пара волов — подарок Марысиной матери — заставили и ее молчать. Дело заглохло.

Но люди все же догадывались, что смерть казначея способствовала обогащению Ивана, а смерть Марыси — дело его рук. Со временем слухи усилились, и урядник вынужден был опять начать против него дело. Вот тут-то и надумал Иван «отмолить» свой грех за оградой святой обители, а вместе с тем не упускал из виду близкого имения, которое в это время продавалось. Отцу же Ананию он дает две тысячи за то, что тот продержит его в монастыре с год, пока дело забудется.

— ...Поняли теперь, что нужно делать? — спросил отец Ананий, окончив рассказ.

— Ясно, отче...

— Ну тогда идите и делайте свое. Но только никому ни слова. Сами знаете, что это за дело...

Заговорщики тихо выскользнули, а отец Ананий, вздохнув, снова заходил по келье.

3

В полдень Иван проснулся с тяжелой головой и стал припоминать вчерашнее.

«Сказал или нет?» — думал он.

Тревожные мысли одна за другой надвигались, как тяжелые тучи в дождливый день.

«А что если сказал?»

От этой мысли он похолодел. Тело онемело.

«Тогда пропало... Монахи, наверное, уже выкопали деньги, а меня еще сегодня загонят туда, куда и Макар телят не гонял».

Иван ждал вечера. Пришел эконом и передал ему решение игумена.

«Значит, не пропали! — повеселел Иван. — Если в пастухи посылают, — значит, не дознались».

Отправился вслед за экономом переодеваться. Вошел в кладовую, еще раз испытующе посмотрел на эконома, но не заметил ничего. Эконом обращался с ним ласково, говорил льстиво, словно мед цедил.

«Ну, — твердо решил Иван, — значит, не дознались. Деньги у меня, и вы будете мои».

Дерзко схватил рясу за рукав и уже хотел надеть. Эконом, улыбаясь, придержал:

— Э, нет! Не торопись! Сначала пойдем к игумену под благословение.

Отец эконом взял одежду и направился к келье игумена. Иван спокойно, даже весело, шел за ним. На пороге их встретил отец Ананий.

— Ну, раб божий Иван, не передумал?

— Нет, святой отче.

— А нет ли у тебя каких дел на миру, или обязанностей, или чего иного, что могло бы тебя смущать в этом божьем доме?

— Нет, все, что было, осталось там.

— Ну, если так, благослови бог.

Отец Ананий окропил одежду, произнес целую проповедь о том, как следует беречь высокое звание инока. Иван выслушал все о своих обязанностях. Ему не совсем понравилось, что его назначили пастухом, но он промолчал. Перед уходом отец Ананий сказал:

— Паси, Иван, а там видно будет. С богом.

Вышли. Эконом объяснил Ивану, как найти в поле старшего чабана отары, и пошел по своим делам.

Новая одежда пришлась Ивану по вкусу. Он чувствовал себя в ней так, словно все, что было плохого до нее, вдруг пропало, словно он сменил свою кожу на новую, черную, на которой не видно пятен. Тихо и спокойно пошел он к отаре, темневшей на толоке шевелящимися точками.

Отец Игнат делал вид, будто совсем не интересуется тем, что привело молодого парня к монашеской рясе. За ужином же начал дотошно расспрашивать его. Но Иван такое понес, что отец Игнат в конце концов понял: Иван его морочит, — и бросил расспросы. Он насупился, стал строгим и погнал Ивана на молитву. Сам стал рядом. Долго молились. Потом пошли спать.

Не спалось Ивану на новом месте. Тревожные думы одолевали. Мысленно он все возвращался к тому месту, где спрятал свой клад.

Наконец уснул. Но и во сне тревога не покидала его. Снилось, будто кто-то подбирается к его деньгам, что старая вдова с Марысей, обнявшись, подползают к одинокому кресту, где он зарыл свое богатство, и скрюченными пальцами разгребают мягкую землю. Дрожащими руками вдова развязывает узел, достает новенькие бумажки, злорадно смеется, оскалив два пожелтевших зуба. А Марыся, подбоченясь, танцует вокруг нее, жутко заливается смехом и выкрикивает:

— Наши! Наши! Теперь все наши! Все!..

Иван вскочил. Оглядывается. Холодный пот струйками льется за воротник...

Тяжелый сон снова смыкает веки.

...Вот откуда-то появляется урядник с веревкой в руках. За ним — старшина, сотский, десятник. Они приближаются к Ивану, угрожают, бросаются на него и начинают скручивать ему руки.

— Вот тебе чужие деньги! В Сибирь его! В тюрьму!

Сильная рука урядника хватает Ивана за горло, сжимает так, что дыхание захватывает. Иван напрягается, стараясь вывернуться, и вскрикивает...

Загадочно шелестят деревья в бессарабской ночи. Изредка блеют овцы в овчарне да старый Игнат высвистывает носом.

Иван снова лег. Долго не спалось. Но все же уснул...

...Знакомые улочки родного села Косоуцы близ Сорок. Растянулось село на несколько верст оврагом и по холмам. Вот хата старого Иона, подворье дядьки Семена, а вот и отцовский дом. Иван все узнает. Привычным движением перемахнул через изгородь и остановился посреди двора. Только скрипнул дверью — слышит голос матери:

— Вон уже черт наш пришел. Видно, снова где-то нашкодил. Лучше б уж ты маленьким сдох...

Иван знает, что будет потасовка. Знает, что вчерашняя жалоба тетки Анисьи, у которой он убил поросенка, не пройдет даром, и трусливо пятится назад. И вот отец уже схватил его за чуб, притянул к себе. Он упал и сильно ударился. Удар причинил такую боль, что, истошно крикнув, Иван проснулся. Над ним кто-то стоял.

— Кто тут? — пролепетал Иван, немея от ужаса.

— Я, Игнат. Ты чего кричишь?

— Да так.... приснилось...

Отец Игнат что-то пробурчал и вышел. Иван, немного посидев, снова лег и незаметно уснул...

...И опять село. Вечер. Он — подросток — идет по селу с палкой и стучит по изгородям. Собаки поднимают лай, как на пожаре, а Ивась не боится, идет смело. Вот одна выскакивает со двора — и прямо к нему. Иван нацелился и... трах! Пес визжит и ковыляет назад с перебитой ногой.

— Дракуле! Небунуле!* — кричит старуха, выбегая из хаты. — Ты опять здесь?

Ивась весело хохочет. Ощерил зубы и... хвать старуху палкой по икрам. Баба скрючилась, завизжала, упала на землю. А Ивась спрятался у дядьки в сарайчике. Заскучал, сидя в укрытии. Разыскал какую-то банку и привязал теленку к хвосту. Теленок подпрыгнул, выскочил из сарайчика и — через тын. Но не угадал. Повис на колу и жалобно замычал.

Ивасю весело. Ивась хохочет. А дядька... клянет-проклинает живодера Ивана...

Иван проснулся. В руках у него солома. Больше уже не спалось. Перед глазами как живые проходили картины детства. Вспоминает он и свою юность — сорвиго-

* Черт! Сумасшедший! (*молд.*)

ловы, всегда пьяного, битого, всегда с руганью на устах. Вспоминает, как обходили и старый и малый проклятого «фулигана». И вдруг словно споткнулся о пенек.

«А что там с моими деньгами? — пронзила его мысль. — Нужно пойти перепрятать их...»

* * *

Взошло солнце. Ночные призраки развеялись. Дневные заботы немного успокоили Ивана. Но сердце все же тревожно билось от страха за деньги. Он нетерпеливо подгонял день, злился на бессловесных овец и срывал свою злость на собаках.

Наступил вечер. Иван собрался наведаться к своим деньгам. Но ни в этот раз, ни в другой ему это не удалось. Днем он пас овец, а старый Игнат спал в тени. Ночью старик молился и не спал.

Однажды, когда он решил непременно пойти проверить, цело ли его богатство, и собирался уже упросить отца Игната отпустить его днем на какой-нибудь час, приехал отец Ананий. Поздоровавшись, стал расспрашивать о том о сем, а затем обратился к Ивану:

— А-а, и ты здесь! Ну, как себя чувствуешь?

— Плохо, отче.

— Почему же?

— С овцами не справляюсь. Не умею я быстро бегать, а отец Игнат сердится.

— Это плохо, Иван, плохо! — молвил отец Ананий. — Плохо. — У него, видимо, был какой-то свой план, но он хотел его проверить. Задумался, углубился в свои мысли, и его нос-кнопка быстро-быстро задвигался.

— Вот что... Ты лошадьми умеешь править?

— Умею, отче. Я возле лошадей привык.

— Ну так бросай сегодня же своих овец и приходи на конюшню. Там тебе покажут, что делать.

Иван поклонился.

— Пшел! — крикнул отец Ананий кучеру, и облако пыли скрыло экипаж.

Лето обильно дарами. Плодородные бессарабские сады гнут под тяжестью плодов свои ветви до земли. Степи, покрытые буйными хлебами, как золотым руном, окружают монастырские стены. Днем, когда жжет солнце, пахнет землей, хлебом. А ночью...

Тепла бессарабская ночь. Тепла и мягка. Ночь, наполненная миллионами чарующих звуков, тревожна. Она волнует и манит надеждами.

Полнолицая луна потоками льет лучи из чистого серебра на землю, швыряет их в окна, сыплет на постель, на белую простынь, белье, на смуглое лицо и черные косы. Пеленает точеную фигуру зеленоватой паутиной, обходя, как островки, черные блестящие глаза. Они мигают, как два огонька. Их дразнит ночь, дразнит серебряный месяц.

Ноздри вздрагивают, груди часто, порывисто вздымаются. Они — словно две сочные груши, налитые солнцем. Тесно красавице в постели. Тоскливо ей в могильной тишине кельи рядом со старой сморщенной монашкой.

Соломония приподнялась. Легкая рубашка упала с плеч. Месяц защекотал упругое тело тоненькими иголочками, которые проникли глубоко, к самому сердцу, и оно трепетно забилось. Соломония встала с кровати и порывисто разделась. Рубаха легла на темный ковер белым венчиком. В приоткрытое окно проникал легкий ветерок. Соломония выглянула и прислушалась к шепоту ночи.

Ей казалось, что кто-то неведомый зовет ее, и она вся тянулась к нему, чувствуя на себе его горячую мужественную руку. Порой она словно искала кого-то и, не найдя, со стоном снова бросалась на постель. Распустив тяжелые черные косы, укрывала всю себя ими и в сладких мечтах летела навстречу будущему.

Проходили часы. Соломония блуждала по комнате, пока не блеснул рассвет и первый луч солнца не зарумянил небо.

Уже утро, а сна все нет... Господи, до каких пор это будет? Глянула в зеркало. Боже мой, боже мой! Что за жизнь!..

Отошла от зеркала и села на кровать. Спать не хо-

телось. Тело горело. В комнате было душно. Соломония набросила на себя рубашку, накинула поверх черную рясу и вышла из кельи.

Утренняя прохлада немного освежила ее, и она, словно тень, поплыла садом.

— Доброе утро! — услышала она чей-то грубый голос.

— Доброго и вам! — машинально ответила Соломония.

— Не спится?

Соломония подняла глаза. Перед ней стоял красавец-юноша... В рясе.

— Чего тебе, брат, нужно здесь так рано? — спросила она взволнованно.

Он улыбнулся:

— Давно ли, девушка, чудна́я такая?

Она только теперь заметила, что у колодца, наполовину выходившего на улицу, стояла пара лошадей, запряженных в повозку. У юноши в руках было ведро. Соломония еще больше смутилась. Крепкий, красивый, Иван так и жег ее глазами. Ей казалось, что это и есть тот, кто звал ее, тревожил ночью, волновал кровь. Исчезли и монастырские стены с суровыми правилами, и шестидесятилетняя сухая монашка, мать Анфиса. Она откликнулась на зов крови и запылала, как восход.

Иван видел это и любовался ею. Удивлялся тому, куда делись его грубость, наглость и насмешливая речь. Откуда на него волной нахлынули застенчивость, робость и нежность...

— Из каких мест, сестра? — спросил он робко.

— Из-под Сорок... С Карасёвого хутора.

— Из-под Сорок? И я оттуда...

— Правда?

— Да... И совсем недавно. А ты?

— А я едва помню село. Давно оттуда... Как умер отец, нас осталось двое у матери: мне, старшей, десять лет и младшей сестре четыре года. Мама очень бедствовала, в наймы меня водила, да никто не брал: маленькая была. А тут на хутор к нам пришла какая-то монашка. Увидела бедность, посоветовала отдать меня в монастырь. Да так вот уже десять лет прошло здесь... Еще и за воротами не была. Не знаю, как там и люди живут.

— Бедная девушка,— тихо проговорил Иван.— Десять лет не выходить... Худо.

— Не выходила. Нигде не была ни разу: не пускает мать Анфиса.

— Жаль мне тебя, сестра, но что поделаешь?

Соломония с восхищением смотрела на юношу. У него был искренне сочувствующий вид. Сердце ее защемило от жалости к себе, покатились слезы. То ли оттого, что десять лет просидела за стенами, то ли потому, что осталась сиротой, или от Иванова сочувствия, а может и потому, что где-то далеко отсюда живет мать-вдова с ее младшей сестрой Марысей и не может старая даже увидеть свое дитя, лишь передает ей приветы через людей. Кто его знает... Но только сжалось сердце от жалости к себе, и Соломония заплакала. Она так жаждала тепла, ласки. И вот эта ласка засветилась в Ивановых глазах, зазвучала в его голосе, залучилась на его лице. Он вдруг стал ей каким-то близким, своим...

— Ну, не плачь, сестра, слезы — не утеха. На все воля божья. Вот и я тоже сиротой остался, один как перст, а живу...

— И ты сирота?

— С двенадцати лет, сестричка... Скитался, пока сюда не пришел. А теперь... сама видишь,— врал зачем-то Иван.

— Бедный... и ты...

Солнце тем временем рассыпало миллиарды искр по зеленой траве, разбудило день.

— Ну прощай, сестра. Вон уже встают ваши. А мне у епископа утром быть нужно.

— Прощай...

И стояла. Иван тоже не двинулся.

— Сестра..., Я бы... хотел...

Поняла.

— Хорошо.

— Завтра в это время буду назад возвращаться из города... будешь ждать?

— Хорошо... буду...

Этот день казался Соломонии бесконечно долгим. Медленно тянулись часы, а солнце будто стояло на месте. Но наконец наступил вечер, а за ним — душная ночь.

Соломонии жарко. Она сбрасывает надоевшую одежду и застывает на белой простыне, как тень от луны. Только глаза, эти два блуждающие огонька, выдают в ней жизнь. Вся она — в напряженном ожидании. Вся — надежда, желание. Нежное, бурное, робкое, смелое, жаркое.

На колокольне пробило два. Вскочила с постели. Торопливо оделась и тенью выскользнула из кельи. Тихо прошла темной аллеей к колодцу и спряталась за кустами. Где-то далеко что-то затарахтело.

— Он...

Но снова тихо. То, верно, крестьяне поехали в степь. Соломония снова присела, напрягла слух. Снова грохот, топот копыт. Снова она слилась с оградой, всматриваясь в темноту.

— Теперь он.

Возле колодца остановилась пара лошадей. С повозки соскочил Иван.

— Я здесь...— прошептала Соломония.

Иван перемахнул через колодец и стал возле нее:

— Ждала?

— Ждала, милый...— неожиданно для себя сказала Соломония.

Иван мгновение постоял и обнял ее за талию.

— Я тоже ветром летел. Едва кони живы.

Привлек ее к себе и, расстелив рясу, посадил. Сам опустился рядом.

— Как тебя зовут?

— Соломония. А тебя?

— Иван.

Помолчали. Оба тяжело вздыхали, смущались. Но вдруг Иван страстно обнял Соломонию, прижал к себе. Соломония и сама доверчиво приникла к нему, стала ласкать его руки, буйную шевелюру, счастливо улыбаясь. Но солнце спешило. Вот оно выглянуло из-за горизонта.

— Милая, когда снова увидимся?

— Когда хочешь. Хочешь, хоть завтра ночью, как все улягутся? Приходи.

Страстный поцелуй опалил ее уста.

— Так придешь, милый? Я буду ждать...

— Приду. Прощай, пора уже.

Еще поцелуй... Загремело, загрохотало, поднялась пыль, и Соломония, пошатываясь, пошла к себе.

5

Послушник Василий напряженно думал: «Почему это, когда эконом заходит к отцу Ананию, тот приказывает мне выйти, а потом они запираются в келье и о чем-то совещаются? Что могут значить эти тайные переговоры?»

Сгреб рукой волосы и застыл в задумчивости.

«Здесь что-то есть. Зря эти две лисицы не будут прятаться. Но что в этом кроется? Не было Ивана — не отпускал от себя отец Ананий. По пустякам часами, бывало, сидеть меня заставлял. А теперь... Нет, тут что-то есть».

Снова звонок. Василий поспешил к игумену. Отец Ананий сидел за столом и писал. Послушник стал у двери, и в этот момент в дверь постучали. Василий машинально спрятался за умывальник и замер. И тут решил он любой ценой узнать, в чем дело. Это был рискованный шаг.

В дверь еще раз постучали.

— Василий, открой! — крикнул отец Ананий, не оглядываясь.

Стук повторился.

— Василий! Ах, проклятый парень, уже исчез. Войдите, кто там!

В келью вошел отец эконом:

— Никого?

— Никого. Василий был, но ушел.

— Ну, это к лучшему. Не нравится он мне, присматривается что-то все, нюхает... Не замечает ли чего...

— Ты думаешь?

— Все может быть. Парень он ловкий, к тому же и мы на заговорщиков смахиваем.

— Это правда. Придется его отправить к Игнату на поле. Там он многого не узнает. Ну, а тот как?

— Куда-то исчезает еженощно. Хотел проследить, да...

— Страшновато? — кольнул отец Ананий.

— Да так... старый уж я... А он возвращается в таком настроении, как жених с обручения. Не ходит ли куда к бабе? Он что-то на влюбленного похож.

— О-о-о! Это уже совсем ни к чему.

— У меня такое подозрение. А это может испортить нам план... в случае чего...

— Правда. Деньги же не малые, даже для нас. Но неужели никакого следа, маленького намека?

— А ни-ни. Вроде он всю жизнь кучером был, словно в конюшне родился,— разочарованно и со злостью сказал отец эконом.

— Ну так вот что,— решил отец Ананий,— позовика его ко мне сюда... или лучше пойдем. Вроде будем обходить кельи — и зайдем к нему. Засидимся, пока не увидим, что ему не терпится, а потом уйдем.

— Хорошо, отче, пойдем.

И они вышли из кельи. Василий затаил дыхание в своем убежище. Затем незаметно подкрался к Ивановой келье и залег в кустах. Лежал долго, пока не вышел отец эконом. Он постоял и двинулся в сторону Василия.

«Вот еще черт несет!» — испугался Василий. Но эконом обошел его и спрятался немного дальше. Василий успокоился. Вскоре вышел и отец Ананий. Прокашлялся и, бормоча молитвы, побрел к себе. Василий насторожился. Прошло около часа. Одолевало нетерпение. Но вот скрипнула дверь, и на крыльцо вышел Иван. Он постоял, прислушался и направился в сад. Чуть не наступил на Василия, подходя к забору.

— Ну-ну, голубок, посмотрим, куда ты,— прошептал Василий, подбирая рясу.

Иван нагнулся. Что-то треснуло. Пролез сквозь отверстие в заборе, прикрыл за собой доску и пошел прямо в степь хлебами... по тропинке к женскому монастырю.

— Ага, вот оно что! Ну хорошо, я знаю другой путь.

Василий тихо поднялся, нашел ту же дыру в заборе и проскользнул в нее. Спотыкаясь и тяжело дыша, мчался он знакомой тропинкой, а через час лежал уже в кукурузе в конце дороги. Через четверть часа он услышал шаги и плотнее прижался к земле. Навстречу Ивану вышла женская фигура. Василий никак не ожи-

дал, что место встречи именно здесь. Влюбленные встретились радостно и бурно.

— Любимый мой, как я ждала, как мучилась. Думала, не придешь.

— Нельзя было. За мной следят.

— Кто?

— Потом... А сейчас...

Он привлек ее к себе и крепко обнял. Поднял, как перышко, и понес в кукурузу. Расстелил рясу, посадил рядом с собой. Они слились в поцелуе, долгом, страстном, Иван сжал ее в объятиях.

— Ну, хватит, милый, хватит, а то поздно уже.

— Да, поздно! — выпрямился Иван.— Так вот, слушай, в воскресенье бросишь монастырь и пойдешь в город. Я приеду в понедельник, побудем там день-два, а потом... Заберу деньги и уедем отсюда, от всех этих святых. Слышишь?

— Слышу, радость, слышу. Буду ждать. А ты не забыл, где они лежат?

— Нет, не бойся! — весело крикнул Иван.— Крест не сняли у дороги, а они там, под крестом. Там все. Никому и в голову не придет.

— Хорошо. А сейчас пора. Уже, наверное, и рассвет скоро.

— Ну, иди.

И Иван повел ее к монастырю высокой кукурузой. Василий выждал немного, встал и пошел домой.

«Не спрячешь, Иван. Увидишь ты их, дурень, как свои уши»,— злобно, но с радостью подумал Василий.

Дома Василий не ложился спать, а ждал, пока его позовет отец Ананий. Он ожидал этого спокойно, так как был уверен, что его отсутствие заметили. Наверняка увидел отец эконом, как он возвращался в монастырь, и, конечно, донес отцу Ананию.

Так оно и было. Правда, отец Ананий не удивился, что молодой монах отсутствовал всю ночь. Подобное случалось уже не однажды, и обычно он закрывал на такое глаза. Но теперь это был повод придраться к послушнику. Отец Ананий использовал свою власть. Он позвал Василия к себе.

— Ну, что скажешь, Василий? Где ты был эту ночь и откуда возвращался на рассвете? — нахмурясь, спросил игумен.

Василий молчал.

— Отвечай же, если тебя спрашивает твой духовный пастырь! — крикнул отец Ананий, и нос его зашевелился, как водяной жучок. — Где, с какой потаскухой ты поганил священную одежду инока? Кто подстрекает тебя на такое преступление против бога и заповеди святых отцов, под защитой которых пребывает наша обитель?

Василий облегченно вздохнул. Дело, очевидно, приняло благоприятный оборот. Подозрений об истинной причине его отсутствия не было. Василий притворился смущенным и молча стоял перед отцом Ананием, потупив глаза.

— Виноват, отче, не гневайтесь на меня. Я осквернил одежду инока, не сдержав плоти своей. Карайте, святой отец... Как хотите карайте, потому что даже сюда, в святую обитель, я приводил проституток.

Василий говорил искренне. Отец Ананий разгневался не на шутку.

— Смерд ты паскудный! Скотина никчемная! Так-то ты чтишь святую церковь, святое место, сан и одежду инока?! Вон отсюда! Чтобы и духу твоего не было! Сбрасывай одежду и иди к чертовой матери, прости господи!

Василий поднялся и покорно вышел из кельи. Часа через два он уже переоделся, попрощался с братией и зашел к Ивану.

— Прощай, брат Иван. Ухожу отсюда, иду в другом месте долю искать.

— А далеко ли думаешь странствовать?

— Не знаю... куда. Поищу, где лучше.

— Помогай тебе бог.

— Спасибо.

Они обнялись, и Василий вышел. Перед церковью остановился, помолился, поклонившись до земли, и тихо двинулся со двора.

6

В воскресенье уже с утра Соломония озабоченно ходила по комнате на постоялом дворе. Прислушивалась у двери, нетерпеливо выглядывала в окно, и сердце

сжимала тревога. Вчерашняя баталия с матерью Анфисой, которая набросилась на нее, как сумасшедшая, когда узнала, что Соломония уходит; трудное путешествие с узлом до города, непривычная дорога, неизвестное будущее, неопределенное положение сейчас, когда ежеминутно любой полицейский имел право арестовать ее и отправить этапом на родину, как беспаспортную,— все это волновало ее, лишало самообладания. А Ивана не было. Не было и надежды, что он придет. Мысль, что он обманул ее, приводила в ужас молодую девушку, и она помимо воли продолжала терзать себя, потому что— кто же он, этот Иван? Разве она его знала? Следующего дня она ждала, как осуждения.

Понедельник. Соломония проснулась на рассвете, встала с постели. Сразу же оделась и села у окна. День проходил, и тоска не покидала ее. Уже было за полдень, а его все нет... Соломония чуть дыша вышла на крыльцо.

— Бунэ зиуа!*,— услыхала.

— Буна...

Прямо в лицо широко улыбался он, Иван. В голове помутилось от радости. Пошатнулась от усталости и изнеможения. Иван крепко обнял ее и повел в комнату. Все страхи ушли прочь, и она наконец успокоилась. Иван, ее Иван, пришел, и мир теперь уже совсем ей не страшен.

Но дух практицизма не покинул влюбленных. На следующее утро у них состоялся совет. Неопытная Соломония ничего определенного не могла предложить. Зато Иван знал толк в делах. Его смекалистая голова уже построила несколько планов, и он выкладывал их перед Соломонией:

— Пойми же, что ты уже не бедная вдовья дочка-батрачка или монашка, а богатая хозяйка. На все село, на всю волость... Батрачки будут ухаживать за твоим скотом, батрачки будут тебе кланяться. А ты только следишь за порядком, всем руководишь — голова в доме. Да знаешь ли ты, что с такими деньгами тебе первое место среди женщин? Становой никогда не пройдет мимо твоего дома, и благочинный не посмеет обойти. Да что благочинный! У тебя и епископ будет гостем.

* Добрый день! (*молд.*)

Планам его не было границ. Он видел себя первым богачом в селе: сотня десятин земли, кони, волы, овцы — полон двор. Батраки, батрачки работают на него. А он, пан на всю округу, похаживает по двору, тешится своим состоянием. Все убогие соседи должны ему отработать и просят отсрочить долги. Ивану приятно видеть, как они кланяются ему, радостно сознавать, что одно его слово — и пойдут по дорогам с котомками, слово — и каждый из них готов будет сделать все, что Ивану захочется.

— Эх, Соломония, Соломония! Да тебе и не снилось, какой ты госпожей будешь!

— Да буду ли?

— Будешь, будешь, голубка моя, потому что я господин! У меня сила, потому что у меня деньги. А у тебя сила, потому что ты моя жена. Слышишь?

— Слышу, милый.

— Эх, а теперь выпить!

Иван позвал слугу с постоялого двора и послал его за водкой. Допоздна в комнатах горел свет и раздавался дикий хохот и крики ошалевших монахов. Воля пьянила их, как и вино.

Проснувшись поздно, Иван сразу принялся за дела. Бодро, с увлечением и верой говорил:

— Ну, милая моя, завтра двинемся!

— Куда?

— Туда, куда я говорил. А сегодня шей котомку — и пойдем.

На следующий день Иван нанял подводу и велел приехать к утру. А сам под вечер исчез. Соломония осталась одна.

Иван вышел на знакомую дорогу за городом и направился прямо к кресту. Дорогой он то и дело оглядывался, прислушивался. Шел снова. Вот показался крест. Иван подошел и сел под ним. Сердце стучало. Голова пылала. Посидел немного. Не вставая, начал копать землю руками. Влажная земля поддавалась легко.

Но что это? В том месте, где он положил деньги, земля была рыхлая, будто только вчера насыпанная. А ведь он помнит, как утоптал ее, как пригладил, сравнял с целиной.

Иван похолодел. Снова судорожно копал изранен-

ными руками. Земля вылетала из-под рук. Яма увеличивалась... Денег не было. Он начал рыть у другой стороны — земля была нетронута, с третьей, с четвертой — напрасно: денег не было.

— Украли-и-и! — дико и тоскливо завыл Иван и упал на землю. В глазах потемнело, в груди словно что-то обожгло, зазвенело в ушах. Он бился головой о землю в бессильной злобе и страдании. Наконец утих, онемел и больше не шевелился.

Соломония ждала весь вечер, ждала ночь, высматривала Ивана и на рассвете. Но его не было. Утром пошла искать. Не шла — летела. Подбежала к кресту и — упала.

— Иванушка, голубь мой, что с тобой?

Иван молчал.

— Иван! Иван! — истерически кричала Соломония.

Молчал. Соломония повернула его лицом вверх. В ужасе увидела неподвижные остекленевшие глаза и страшное лицо, перекошенное, землистое, с обвисшими губами и полосками черной запекшейся крови в уголках рта.

* * *

Прошло уже три месяца, как Иван в больнице. Соломония освоилась в городе: несчастье учит людей разуму. Забыты мечты о беззаботной жизни, и уже положение батрачки устраивало ее. Была уж и лишняя копейка на черный день, заработанная, правда, немножко не так, как думалось раньше.

Соломония напевает и собирает на стол господам. Но вдруг:

— Тебя спрашивают, — говорит вошедшая горничная.

— А кто там?

— Да какой-то парень. Такой худой, краше в гроб кладут.

Вышла на кухню.

— Иван?!

Поздоровался. Он был бледен, но спокоен.

— Ну, что ж... Пора сниматься отсюда...

Соломония взяла у господ расчет.

Ночлежка «Затишье» поблескивает сквозь закопченные окна огоньками в темной осенней ночи. Под навесом стоят груженые возы окрестных крестьян, приехавших на базар в Одессу. На возах сверкают из-под зипунов цигарки и слышится тихий сонно-отрывистый разговор мужиков.

— Пройдоха парень. Бедовый.

— Говорят, он в монастырях побывал... И сам из монахов, вроде...

— Да, да...

Высокая фигура мелькнула по двору и юркнула в дверь.

В ночлежке шумно. Огромная комната, освещенная несколькими лампами, полна людей. Толпа сгрудилась вокруг чего-то. Тучи дыма обволакивают головы зрителей. Видны только широкие спины, согнутые в пояснице. Тяжелое дыхание с хрипом вырывается из десятков грудей.

— Господа православные и мужики! Попробуйте, попытайтесь! Узнаете свое счастье. Попка не обманет,— визгливо кричит кто-то.

Но толпа, очевидно, не верит попке. Все переглядываются, топчутся, выжидают охотника.

— А ну ты, чернявый, возьми! Что было и что будет — узнаешь. За три копейки всю свою судьбу как на ладони увидишь. А ну, только не стесняйся, как девка на сватанье. Молдаванка не обманывает. Побей меня бог, всю правду будешь знать.

Чернявый, видно, поддался на уговоры. Еще несколько приглашений — и он растолкал толпу локтями, протиснулся в середину.

В центре стоит шарманка и огромный барабан. На шарманке сидит привязанный за ногу попугай, а перед ним — шкатулка с пакетиками — «счастьем». Около шарманки стоят молодая молдаванка и крепкий высокий молдаванин. Лицо его румяно, глаза так и сверкают. Женщина хороша собой. Ее высокая упругая грудь, полная округлая талия и блестящие глаза — манят, влекут к себе.

Их здесь знали все. Кое-кто называл и по имени. Да и почему бы не знать: крестьяне из-под Одессы часто

навещают одесские базары, а там, между возами, ходит и эта пара с шарманкой и барабаном. Пересыпь, Молдаванка не раз слушали их музыку и песни. Пронзительно визжала шарманка и гремел барабан. Баритон и сопрано лили грустные звуки дойн в затхлый воздух одесских переулков.

— Ну ты, чернявый, бери. Накажи меня бог, наш попугай не врет, молдаванка не обманывает.

Парень подошел к шарманке, взял пакетик и развернул его.

— Э, нет, бери и другой сразу.

Чернявый взял и второй.

— Ну, бери и третий. Бог троицу любит,— улыбаясь, советовала веселая молдаванка. И, будто нечаянно, толкнула его плечом. Тот покачнулся. Она схватила его за руку и, смеясь, притянула к себе.

— Ишь, какой нежный. Небось, когда Степанида толкает, так упираешься.

Юнец побежден. Он решительным движением берет штук пять пакетиков и платит деньги. Его обступили со всех сторон — интересуются, что же написано в том «счастье».

В комнату вошла толпа людей. Один из них—высокий, рыжий, с длинными кудрями — подошел, пошатываясь, к хозяину шарманки. Икнул прямо в лицо. Тот отступил назад. А пьяный все надвигался на него, пока не прижал к стене, где никого не было.

— Ну? — тихо, едва слышно, спросил рыжий. — Клюет?

— Вроде. Сегодня, кажется, караси будут.

— Порядочные?

— Один жирный. На ужин хватит.

— Который же из них?

— Молодой. Вороной масти. Вон, «счастье» читает.

— Молодец... — прошептал рыжий. Разразившись неслыханной матерщиной, он опять стал прижимать Ивана к стене.— Ну, твой магарыч. Ты сегодня торгуешь хорошо. Давай! Давай! А то...

Рыжий замахнулся. Молдаванин дал ему на водку, и тот отошел к своим. Он сейчас же послал кого-то за водкой, крикнув вдогонку:

— Грек, не мешкай, а то душа плачет!

Грек вышел и вскоре вернулся с полной корзинкой,

в которой были три бутылки водки, бессарабское вино, булка и колбаса.

Рыжий сразу откупорил бутылку, достал чарку и сел к столу.

— Благослови, хозяин! — крикнул он Ивану.

— Благословляю, черт вас возьми.

— Аминь! — провозгласил грек.

Рыжий опрокинул в рот чарку и налил греку. Потом снова — себе и опять — греку. Молдаванина, очевидно, забыли. Он отошел к толпе и стал возле юнца, который брал «счастье».

— Видел? — спросил он его.

— А как же! За твое жито тебя же бито, не будь дураком.

Рыжий вдруг окрысился на юнца-крестьянина:

— Ах ты, крючок от плисовой кофты! Как ты сказал, барбос?

— А ты не лайся, рыжий пес, — солидно ответил юноша, оглядываясь на толпу.

Того как ошпарили. Схватил бутылку и бросился на крестьянина. Только успел замахнуться, как от крепкой оплеухи потемнело у него в глазах.

— Ты куда, гад? Босота дьявольская!

Рыжий едва устоял на ногах и вытаращился на юнца:

— Ах, ты так? Ты так?

— А так, как видишь, — отозвался кто-то из толпы.

Толпа была на стороне крестьянина. Рыжий уступил и, усмехаясь, сел:

— Ну, черт с тобой. Давай мириться.

Юнец с видом победителя подошел к столу:

— Давай.

Рыжий налил чарку и подал ему:

— Пей.

— Дай же, боже, чтоб биться и мириться, — проговорил крестьянин и выпил.

— Дай, боже, дай, — ответил рыжий.

На этот раз он налил и молдаванину. Потом уже никто не замечал, что рыжий сам не пьет, а больше угощает. А когда водку выпили, рыжий принялся за вино. Налил крестьянину — тот выпил. Себе, вроде по ошибке, налил из другой бутылки. А дальше — снова

вится, что такой ловкий, как цыган на ярмарке. А ты что, знаешь его?

— Да так... Немного знаю. Любопытная фигура, слово чести... А ты неплохо живешь,— перевел разговор отец Ананий, осматривая пышную обстановку собрата.— Не жалуешься на православную паству?

— Скрывать не стану, почитает народ. Не голоден.

— Вижу. Вот эти коврики, очевидно, из-под Кишинева привезены, здесь нет таких,— сказал он, щупая ковры молдавской ручной работы.— Чудесно сделаны.

— Есть из-под Кишинева, есть и здешние. Хоть и зовут этих дикарей тринадцатой верой, но угодить людям они умеют, да и мастера на все руки, каких среди нашей «хохландии» не встретишь.

— Дары несут?

— Несут... Не сглазить бы... Как говорят у нас в Приднепровье: жаловаться нельзя, чтоб не повредить. Роптать не могу, особенно перед тобой, коллега. Ведь так, дорогой мой Ананий? Мы с тобой с детства коллеги, если можно так выразиться. А?

И отец Амвросий на мгновение заглянул в прошлое, такое яркое, запутанное и бурное, как, впрочем, и у отца Анания. Всплыли в памяти студенческие годы, дочь богатого помещика, ресторан, гулянка, а потом... Потом все покрыл хмельной туман. Тяжелый рассвет, головная боль, полиция, следствие по делу о самоубийстве панны, изнасилованной группой студентов, суд, несколько каторжных приговоров и полная непричастность к делу студента Андрея Семеновича, который только давал показания о других... А дальше... дальше глухая провинция, учительствование в гимназии и опять скандал с ученицей, пощечина на глазах у всего общества и... стены Балтского монастыря, где о его прошлом никто не знал и где он очутился поседевшим, в сане епископа и со страшной болезнью. Все это пронеслось в голове отца Амвросия, и он, посмотрев на своего приятеля, такого же дряхлого, сморщенного, как гриб, тяжело вздохнул:

— Миновало... Теперь... Вот только эта хламида и воспоминания, легкие, как пепел. Да, кстати, чем окончились твои последние приключения и думаешь ли возвратиться когда-нибудь хоть на час на родину?

— Намерение есть, только... Но не буду тебя интри-

говать... Тут дело идет уже о нашем общем интересе.

— А что? — насторожился тот.

— Дело серьезное и важное. Но прежде вели подавать ужин. А за чаркой вина расскажу тебе. Только уговор — дело общее. Согласен?

— Охотно. Говори, в чем дело.

И отец Амвросий приказал нести вино, закуски, а сам приготовился слушать.

— Хорошо, только ты смотри, а то... Извини, но я не верю в перемену характеров.

— Ну и чудак ты, дружище. Присягаю пастырским саном...

— Брось, Андрюша. Я же тебя знаю... Меня пастырским саном не переубедишь. Я с тобой как с другом...

— Ну-ну, хорошо... Даю слово.

— Так, говоришь, того инока Иваном зовут?

— Да.

— А фамилия?

— Левизор.

Отец Ананий кивнул головой.

— Так вот что... этот Левизор несколько лет тому назад был у меня. Но это неважно. Важно, понимаешь, то, что у этого Левизора... что этот Левизор... Ну, как бы тебе сказать... Одним словом, этот самый вахлак имеет тьму-тьмущую денег и не говорит, где они спрятаны.

— Как, как? Деньги? Откуда ты это взял? Он ко мне пришел — смотреть противно, такой оборванный.

— Вот то-то и оно. И ко мне приплелся этот урод в рубище, а потом оказалось, что под этим рубищем десятки тысяч рублей запрятаны.

Отец Ананий рассказал всю историю богатства Ивана, утаив, впрочем, почему Иван ушел из монастыря и как он околпачил отца Анания.

— Так вот, — закончил он, — эти деньги... понимаешь меня? Они ему не нужны.

— Понимаю, — задумчиво ответил отец Амвросий. — Я тебя, Ананий, прекрасно понимаю и... берусь их раздобыть.

— Но как?

— Этого я еще не знаю. Время покажет. И даю сло-

во — обещание выполню! Только тебе нужно сегодня же уехать.

Приятели обсудили план и согласились на том, что отцу Амвросию следует приблизить Ивана к себе, ввести его в свой дом, в свое общество и этой ценой добиться его признания. Можно даже посвятить его в какой-либо сан, а потом уже возврата не будет, и ему придется идти по этому пути. И, безусловно, потом на него можно будет влиять. А церковь для этого располагает достаточными средствами.

Договорившись, приятели приступили к трапезе. Вечером того же дня отец Ананий уехал.

* * *

Монастырь готовился к посту. На первой неделе должна была говеть вся братия Балтского монастыря. В пятницу вечером посланец викарного отца Амвросия сообщил монахам, что его преосвященство выразил желание исповедовать их и прибудет в субботу к вечерне. Братия всполошилась. Ласка владыки никогда не приходила вотще.

В субботу принарядившиеся монахи выстроились в храме в ожидании епископа. Он прибыл поздно и начал исповедь. Все подходили с заранее подготовленными ответами, чтобы не получить нагоняя. Но владыка был мягок, ласков и милосерден, покаяния назначил нетяжелые.

Иван смело подошел к нему.

— Чем грешен, раб божий?

Иван привел множество грехов. Отец Амвросий надеялся, что он и ему, как отцу Ананию, расскажет про тот свой «грех». Но Иван не сказал, хотя и говорил о своем бегстве из Добруджского монастыря, о браке с Соломонией, о блуждании по миру. Закончил тем, что после всех скитаний он все же решил служить богу, на что и просит благословения у святого отца.

— Хорошее у тебя намерение, сын мой, достойное намерение. А чтобы легче тебе было искупить этот грех, возьму я тебя к себе. Через некоторое время, если проявишь себя, возможно, что-нибудь и с твоим будущим решим. Иди.

Иван поцеловал руку и, удивленный, отошел в сторону. Вскоре об этой милости узнала братия и очень позавидовала ему.

А когда обещанное отцом викарием исполнилось — Ивана постригли в иеродиаконы и нарекли Иннокентием,— монастырь затаил против него зло, боясь его шпионства.

— Инокам нужно самим заботиться о достоянии храма, а не бунтовать,— сказал как-то отец Амвросий.

— Правду говорите, отче. Нам нужно расширить монастырь, я так думаю.— Иннокентий пристально и испытующе посмотрел на викария и отчетливо сказал:

— Святого у нас нет, не к кому идти... вот что.

— Ты что, с ума сошел?

— Нет, но ни вы, ни я чудес не можем делать. А без чудес монастырю не житье. Был бы святой — тогда и православные ходили бы, и дары несли б, и вам и нам лучше было бы, — залпом выпалил Иннокентий.

Отец Амвросий от неожиданности вскочил и ошалело посмотрел на молодого монаха.

— В своем ли ты уме, Иннокентий? Где же его возьмешь, святого, если нет его!

— Где? — Иннокентий рискнул продолжить: — А разве мало у нас блаженных отцов церкви, при жизни отмеченных богоугодными делами, достойных увенчать церковь Христову своим именем? Разве отец Феодосий, умерший сто лет назад, не святой и мы не можем провозгласить его мощи нетленными?

— Ты с ума сошел! Да за такие дела мы с тобой знаешь где будем? На каторге.

Иннокентий улыбнулся так, словно перед ним стоял слабый и наивный ребенок.

Отец Амвросий был искренне изумлен. Вытаращенными глазами смотрел он на молодого, «но из ранних» инока, так смело и неудержимо рвавшегося к своей цели.

— Ну-ну... попытайся...— взволнованно пробормотал отец Амвросий.

— Попытаюсь, отче. Только вот в моем сане мало меня будут слушать.

— Хорошо, понимаю... Иди и объяви братии, что в воскресенье я посвящаю тебя в иеромонахи и назначаю в монастыре заместителем.

Тем и закончился этот знаменательный разговор, имевший последствия, которых не ждал не только ограниченный отец Амвросий, но и сам великий бессарабский авантюрист Иннокентий. Последний тотчас ушел к себе и, созвав в келью единомышленников, огласил им постановление викарного. А когда все разошлись, он с двумя давними приятелями — Варлаамом и Гавриилом — заперся от чужих ушей.

— Вот что, иноки,— сказал им Иннокентий,— старая кочерга приняла наш план. Нам теперь ничто не мешает, и нужно делать дело, но только гладко... Подумайте хорошенько, на что идете, чтобы потом не говорили, что я виноват.

— Думали уже,— ответил Гавриил.— Мы с Варлаамом все продумали за это время, пока ты ходил к викарному. Присоединяемся... Выше перекладины не повесят!

— А если так, то вот вам приказ: вы, иноки, должны пойти или поехать к отцу Серафиму в Каменец и известить его обо всем. Пусть он даст разрешение на открытие мощей Феодосия Левицкого, потому что без него нельзя. Он очень влиятелен в синоде... Может и навредить.

— Пойти не трудно,— усмехнулся Варлаам.— Но дело в том... за чем ходить. Понимаешь? За что? Нужно вначале договориться, что кому...

— Дураки же вы, не нашего бога дети! — прикрикнул на них Иннокентий— Ведь не вы у меня, а я у вас в руках, в случае чего. Вы всегда можете на меня сослаться, а тогда вам клобук, а мне — Соловецкий!

— Хорошо, пиши письмо.

— А вы тем временем собирайтесь в дорогу. Пешком ли, или поедете — это уж как вы посчитаете для своего сана более удобным, только поторопитесь.

Час спустя оба инока отправились с письмами в Каменец.

Иннокентий, вздохнув, вернулся в комнату. Постоял у окна, провожая взглядом странников, потом повернулся и налил себе стакан вина.

В дверь постучали.

— Можно,— спрятав бутылку, сказал Иннокентий.

В комнату вошел монах невысокого роста, коренастый и вертлявый.

— Здравствуй, отче! — весело крикнул монах, сбрасывая рясу с плеч.

Перед ним стояла полногрудая русоволосая женщина. Свободная походка, непринужденное поведение говорили, что она здесь не впервые.

Иннокентий восхищенно смотрел на нее.

— А красивая ты, Хима, ей-ей, красивая!

— И ты такой, Ивасик мой чернобровый.— Она обняла его.

— Ну, посидим вместе, голубка. Уж три ночи и три дня не видал тебя, не обнимал твоего прекрасного тела, воспетого еще царем Давидом.

— Нельзя было, муж дома... А ты вроде подался. Все постишь?

— О да! Тело постит — дух возвеличивается! Я готовлюсь открыть мощи святого, и от этого умаялся.

— Какого святого?

— Отца Феодосия. Здесь, в Балте, на Никольском кладбище, давно когда-то похоронили попа Феодосия Левицкого. Вот его мы в святые и возводим.

— Это там, где мы с тобой впервые встретились?

— Там.

— Здорово же ты его почитаешь. Да и святой хорош: на его могиле инок бабу мнет, а он и не хмыкнет. Еще, наверное, и чудотворцем будет? — Хима захохотала.— Хорош святой!

— А ему разве не все равно? Он же знает, что без вашего брата на свете не проживешь, — шутил Иннокентий, раздевая ее.

— Да ты подожди, лакомка мой хороший, ты мне скажи, какую это вы штуку решили отколоть?

Хима была «своя», и Иннокентий не таился...

— Хорошо продумал, голубь мой, будет и мне работа.

— Как так?

— А так! Умен ты, а все ж дурак. Да разве ты не знаешь, что одна баба может языком за сто попов управиться?

— Дело говоришь,— радостно вскричал Иннокентий.— Верно! Ты можешь помочь нам, а там... А там мы с тобой развернем такое... такое...

Иннокентий подошел к ней, порывисто обнял, прижал к себе.

— Любимая моя! Милая, дорогая моя помощница...

Хима жадно ловила его ласку и страстно отвечала на нее. Они забыли о святом и предались греху.

В дверь постучал Юхим.

— Пора,— прошептал Иннокентий.

— Так быстро? Ну, прощай...

Хима вышла, накинув поверх одежды рясу инока.

2

Топкие дороги в Молдавии — Бессарабии. Топкие и вязкие. Земля там липкая, к ногам будто вся приклеиться хочет, хоть через плечо сапоги перебрасывай. А сапожишки у Химы не очень-то... Монашку, которая с богоугодными делами по селам шляется, не нарядишь как помещицу. Не станут верить богобоязненные бабки нарядной монашке, сраму только не оберешься.

С трудом переставляя ноги, идет Хима в Гидеримский приход, и злость сжимает ей сердце. Сердится молодка на дурацкую затею и уж недобрым словом поминает святых отцов, да и себя — за то, что к их делам сдуру пристала. Но вспомнит Иннокентия — встрепенется и пойдет дальше.

Вот уж и Гидерим крышами маячит, а колодезные журавли словно подсматривают за ней: далеко ли идет. Многие села миновала Хима и только к вечеру подошла к Липецкому. Воспоминание об Иннокентии облегчало путь молодке, вчерашний отдых прибавлял сил. Она пошла быстрее и вскоре очутилась в селе.

Куда ж податься?

К зажиточным хозяевам? Но Хима знает — те не приютят. Недаром говорят: «Легче верблюду в игольное ушко пролезть, чем богатому в царство небесное попасть». А у бедного — с голоду опухнешь.

«Черт же его надоумил в святые лезть! — злобно думала Хима, ища выход.— И здесь болит, и тут печет».

Узел со святым писанием тер и резал плечо. Открытки — портреты святого Феодосия Левицкого,— нелегально отпечатанные в типографии Фесенко в Одессе, скользили, высовывались из-под полы и вот-вот могли рассыпаться. Ноги по колено погружались в грязь. Сырой ветер пронизывал насквозь. Хима колебалась.

«Эх, будь что будет. Они там, чертовы сыны, вылеживаются на мягких перинах, а мне здесь и поужинать нельзя? Пойду».

Завернула в первый же двор. Собаки залаяли на нее и опрометью — к икрам.

— Ату, чтоб вы подохли! Хозяев здесь нет, что ли? Э-гей, люди!

— Кто там?

— Пустите, христа ради, в хату. Так, не про вас будь сказано, устала в дороге, что еле ноги волочу. Едва до вашего двора добралась.

— Не знаю, сестрица, что и сказать вам. Нет хозяев, а я... сами знаете, как в чужом доме...

— Ну хоть посижу, пока они придут.

Почти силой ворвалась в дом, не дойдя до лавки, упала на мягкий ковер. Распрямила ноги, потянулась и почувствовала себя лучше. Молодая красивая молдаванка, видно замужняя женщина, смотрела с жалостью на уставшую Химу.

— Издалека?

— Из Балты. По божьим делам. Знаете, чудо такое произошло у нас, мощи святые обрели, вот я и тружусь для бога.

— Какие мощи? Кто их открыл и какого святого?

— Да у нас, говорят, в Балте. Молодой монах, правда,— отец Иннокентий,— но сподобился делам праведным. Сон такой видел, видение.

Пытливо смотрела она на молодую молдаванку, которая как-то горько, одними уголками малиновых губ улыбалась, недоверчиво осматривая Химу, так легко уверовавшую в крестьянскую простоту. Неумело повела Хима дело, и Соломония сразу догадалась.

— Так чудо, говорите? А что же тот монах?

— Издалека он. Скитался по миру в делах божьих и в Почаеве, и в Киеве, и в Одессе.

— В Одессе? Где именно?

— Кто его знает. В миру Иваном звали отца Иннокентия. Только недавно высвятили — Иннокентием нарекли...

Молвила — и с последним словом на устах замерла. Что-то странное случилось с молодицей. Словно воздуха вдруг не хватило ей, словно угорела, и побледневшими губами начала хватать воздух. Не в себе

молодка, а сказать не хочет. Хима, почувствовав неладное, прекратила разговор.

— Так, хозяева, говоришь, придут?

— Придут,— кивнула молодка, опомнившись.— А вы сюда зачем?

— Почитай, если грамотная,— подала она листок с портретом.

Соломония прочла и еще больше утвердилась в своей догадке. Многолетние поиски Ивана кончились, и она вдруг снова увидела перед собой бывшего сотоварища по своим религиозным скитаниям. Будто вновь обращался к ней знакомыми словами, каждой строчкой этого незамысловатого письма автор, которого Соломония так хорошо знала и столько выстрадала из-за него.

— А много ли вас по миру пошло?

— Много, сестрица, много. Потрудиться каждый хочет, пока в состоянии. Во все села и за Днестр пошли. Отец Иннокентий велел возвращаться только после того, как эта котомка опорожнится — все разойдется по людям.

Соломония уже не слушала Химу. В голове ее замелькали догадки, планы и среди них один: «К нему! К нему! Как можно скорее в Балту!»

Тем временем пришла хозяйка и захлопотала возле монашки. Соломония незаметно вышла из дома и вошла в касуцу *. Сердце ее трепетало, в висках стучало до нестерпимой боли.

«Он здесь. Он здесь, моя мука, моя боль. Месть больше не будет сушить мое сердце, разрывать мозг, сон снова вернется ко мне. Он здесь, ирод, душегуб, убийца моих малюток, прижитых с ним по-собачьи, по-собачьи и похороненных — без кропила, без кадила... Он здесь...»

Торопливо собирала вещи, самое необходимое. Ненужное бросала, оставляла на сохранение хозяйке: «Помянет душу, если что...» На утро, как только рассвело, Соломония поднялась. Встала с постели, так и не сомкнув за ночь глаз.

— Ухожу от вас, хозяйка. Прощайте.

С тем и ушла. Проковыляла вдоль села, дорогой на

* Домик, пристройка *(молд.)*.

Гидерим и только возле последнего журавля оглянулась назад:

— Прощай, тихий покой.

А вслед ей летела стоустая молва о славе Иннокентия балтского. Осанну пели Феодосию-чудотворцу. И эта молва, словно кнутом, подстегивала Соломонию, хлестала, как крапивой, по ногам. Без отдыха мчалась вперед. Туда, в Балту, где живет он, отец пособачьи прижитых детей, туда, где сердце перестанет сохнуть от жажды мести, где оно не будет разрываться на части от боли.

Соломония очень торопилась, она не останавливалась ни на минуту.

...Липецкое же всполошилось. Загудело, изголодавшееся по слухам. И долго еще не умолкало; пожалуй, до сего времени говорит оно об этих событиях...

3

Ей едва исполнилось тринадцать, когда неумолимая смерть сомкнула бледные отцовские уста. Мать высохла за год, как картофельная ботва. Постонала и утихла навсегда. Катинка осталась одна. Ох, как жалобно рыдала она по ночам, когда ветер жутко гудел в разбитых окнах, а седой, лохматый мрак выползал из-под немазанной печки и забирался к ней в постель. Припадала к стене и все кричала:

— Мамочка моя родная! Мамочка хорошая, вот он, вот хватает меня!

Стена молчала, а косматые волосы касались потолка. Мрак наседал на маленькую Катинку, держал ее в тисках, выжимал дух, а затем швырял в какую-то пропасть, где она, стукнувшись головой обо что-то твердое, теряла сознание до утра, серого и тоскливого, как и само сиротство крестьянского ребенка.

На зиму Катинка перешла к дяде. Хату он снес на топливо, огород вспахал под озимые, а сироту пристроил в своем бедняцком хозяйстве помощницей у Одарки, покалечившей пальцы панской молотилкой. Здесь Катинка и познала науку, как жить у чужих людей.

Через зиму уже и в батрачки годилась. Ходила на

базар, становилась в ряды наниматься. Днями простаивала, но никто не брал. Даже не спрашивали изнуренную девушку, сколько она возьмет. Так проходили дни, недели. И вот уже начала седеть земля по утрам и мерзлые комья стали колоть ноги, а икры синеть, как китайка. Приближалась холодная, безнадежная зима.

И вдруг — счастье. Какая-то пани проходила по базару и остановилась возле Катинки.

— Что умеешь? — спросила она, рассматривая Катинку через пенсне.

— Да так, что прикажете... воля ваша...

— Сколько же возьмешь?

— Сколько люди, столько и я.

Договорились быстро. Катинке некуда и незачем было возвращаться, а пани — все равно, кто будет таскать корзинку на базар и выносить помои из дома. Назначила пани Катинке три рубля в год и одежду.

Вначале все пугало ее. Катинка отродясь не видела таких громадных комнат, окон и такого блестящего пола, по которому и ходить невозможно — такой скользкий! Катинка часто била господскую посуду и тихо плакала в углу на кухне около Федоры, у которой была в подчинении.

— Не плачь, девонька, черт ей знает счет здесь. Паны недосчитаются, а ты поаккуратней будь. Учись, да не торопись. — И Федора тепло и ласково улыбалась девушке.

Подружились Катинка с Федорой. Старый любит молодость за чистоту и горячность, молодые старых почитают за мягкость и родительскую ласку. Вместе ведали они господской кухней, оберегали покой, тишину и господские достатки. Катинка быстро освоилась. Молодость со всем справляется. Вскоре она уже замещала старую Федору у плиты (когда пани не было дома). А вместе им подчас и тепло бывало в чужом углу. Грели друг дружку любовью и сердечной привязанностью.

А вот с панночкой Верочкой у Катинки что-то не клеится. Разозлится — прямо злющий щенок, даже воет от злобы.

— Катинка, нагнись-ка ко мне.

Как мать, нежно наклоняется она, обнимает руками худенькое тельце, прижимает к себе. И вдруг кричит

истошно. Бесенок крепко впивается в нее ручонками и кусает зубами шею. Извивается, шипит от боли Катинка:

— Пустите... Не шутите, хватит же. Ну будет, не злитесь, а то опять кровь носом пойдет.

Тогда только и отпускала Катинку, а та с кровавой струйкой на шее бежала к старой Федоре выплакаться на ее высохшей груди.

— Не плачь, дочурка. Что же ему и делать, тому чертенку. Еще наплачешься. Сиротская жизнь, что господская нива: за день не обойдешь, за век не переплачешь. Для себя слезы береги. Пригодятся еще.

Берегла, как умела, сиротские слезы. Но они сами лились. А пробыла год — снова осталась. Куда же пойдешь, если нет угла, некуда прислониться. А мир, говорят, большой. Заблудится в нем Катинка, не умеющая даже вывеску прочесть на лавке, в которой Самийло, господский кучер, изредка покупает ей конфеты.

Принесет, бывало, помнет в руках и положит на стол. А сам выйдет покурить вроде (Федора недолюбливала курящих). Катинка видит, знает, что это ей, а не берет. Да будь они неладны, конфеты этого парня. А Федора улыбается лукаво и подталкивает ее в бок:

— Ну, возьми ж, коза, не то разобидится парень. Тебя же, крошка моя, и пожалеть некому. Возьми же да поблагодари ласковенько, по-девичьи. Тебе ведь не двенадцать лет. Вон, глянь, и в пазухе уже кое-что есть. Конфетой не испортишь.

Застыдится, покраснеет, как маков цвет, и соберет в кулачок по одной.

— И вам, бабуся, парочку.

— И-и-и, где уж мне! Зубов нет, нечем есть.

А Самийло тут подвернется, вступит в разговор. Все с Федорой заговаривает.

А Катинка — тоже, вроде и не к нему обращается.

Случалось, вырвутся ненадолго из дома, сядут рядышком да и передохнут от всяких повседневных забот. А то, бывало, и песню заведут, как в селе у них, на улице. А Федора терпит-терпит, выйдет, сядет возле них, подопрется кулаком да и сама подтянет. Поет, а в мыслях свое: «Вот и нашла моя сиротка свою до-

лю. Бог и для нее припас. Самийло же такой парень хороший... Тихий, покорный, ласковый».

Не услышала за песнями, как звала пани:

— Катинка! Катинка-а-а! Оглохла, что ли?

— Что?

Ужас как не хотелось ей откликаться.

— Вот я тебе почтокаю! Иди сюда.

Пошла неохотно, словно чужими ногами.

— Чего вам, пани?

— Мигом готовь мне всё с Федорой. Паныч приезжает, так чтоб ты побыстрее поворачивалась. Беги комнату готовь, ту, что окнами в сад. Да прибери хорошенько, руки приложи.

Катинка, что бы ни делала, как на приданое старалась. Так и теперь. Комнатка выглядела как куколка, постель, взбитая молодыми руками, была что пух.

Утром и гость прибыл. Ну и хлопот же прибавилось после этого проклятого приезда! В доме — как в маслобойке, в кухне — как в аду. Катинка и про Самийла забыла. Зайдет парень, постоит-постоит, о косяк опершись, хмыкнет что-то и уйдет. И шутить не осмеливался.

— А, чтоб тебе! Разве не видишь? До хаханек ли теперь, когда паны, как черти разошлись?! И этот сюда! — гремела Федора, когда Самийло заговаривал с ней.

И он уходил.

* * *

Отпраздновав приезд, их благородие полуротный офицер Николай Витальевич вдруг словно споткнулся о Катинку.

— Девушка!

Оглянулась. Потупившись, искала на полу глазами соринку, слетевшую откуда-то с потолка. Уже и заметила вроде, но она опять куда-то исчезла, а Катинке непременно нужно было ее найти.

— Так ты и с приездом меня не поздравила? А у меня и гостинец есть для знакомства.

Три рубля, как радужное зеленое пятнышко, заиграли перед самыми глазами. Даже свет закрыли — так близко были от глаз (да и деньги немалые!).

— Возьми на ленты или конфеты — чего пожелаешь.

— Спасибо.

— Да помягче стели, сердце мое, а то бока давит ночами.

С того времени как-то изменилась жизнь. Все что-то панычу нужно было. То папирос, то с запиской в лавку за вином, то книжку подать, то еще что.

Федора, ревнуя, гневалась:

— И чего это ты, девонька, так увиваешься возле него? Что у тебя — дела другого нет, как только у паныча на побегушках быть?

— А если зовет?

— Еще кто кого, леший вас знает...

Самийло тоже укорял:

— И не увидишь тебя, загордилась с офицером.

Лишь денщик, Семен Голенищев, усмехался в усы, прихлебывая чай. Известно, хороший солдат знает своего барина, а рассказывать всякому — так зубы-то у Семена Голенищева, чай, свои, не купленные. Двух теперь никто уже не вставит, после того как он невпопад открыл дверь какой-то дамочке, когда они были на постое в Казани. Этого он еще не забыл.

Одна только Катинка знала, что на самом дне сундучка Федора складывала для нее с Самийлом рушники. Осенью должны были они пожениться и уйти от господ. Конечно, Катинка эти рушники сегодня снова пересмотрит, как с делами управится, завтра сделает то же самое. Для Самийла ведь вышивала, тайком от всех.

Когда все засыпали — Катинка обычно перебирала вещи, которые приносил в хату Самийло. И сегодня так увлеклась, замечталась, что и не услышала, как звонила пани, звала к себе. Лишь тогда кинулась, когда звонок зазвенел пронзительно, как оса над ухом. Побежала.

— Ах ты, паскуда! Где ты моду взяла ложиться раньше меня? Если здесь что нужно, хоть лопни, тебя не дозовешься.

— Да я, пани, не спала. Я не слышала.

—С парнями водишься, пакость! Набери вот себе дармоедов и еще работай за них...

Обмолвилась неосторожным словом Катинка — и

пухлая ладонь разгневанной пани пятью бороздами легла на лицо. Взвилась, как вьюн, от глубокой внутренней боли. Слезы сами закапали, и рыданье вырвалось из груди.

Не вытерпела и зарыдала так громко, как когда-то над гробом матери. Вышла из господских покоев и побрела, не видя ничего перед собой. Но тут кто-то ее ласково обнял и взял за руку.

— Чего, Катинка, плачешь? Зачем глазоньки свои выплакиваешь зря?

Подняла голову — то паныч ласково смотрит на нее, а теплая рука его сжимает стан. Пожаловалась ему, сама не зная для чего. Больше, верно, для того, чтобы излить свою боль кому-то.

— Мать? — удивился паныч. — Не может быть!

Решительно направился в комнаты. Через минуту услышала Катинка его резкие упреки матери. И слова те теплом врачевали рану на сердце Катинки. Она прислонилась к стенке, зачарованно слушала и восхищалась панычом.

«Свет не без добрых людей. На сиротскую долю их и среди господ найти можно».

— ...Учти, мама, эти варварские привычки ты должна искоренить в доме, иначе моей ноги здесь больше не будет.

И вышел рассерженный.

Катинка только взглядом поблагодарила. Уже и не удивлялась, что он, как брат, обнял ее за стан и повел к себе в комнату. Там еще раз извинился за мать, и потекла тихая беседа, как ручеек из-под горы. Он расспрашивал, интересовался, как попала в город, к ним в дом. И только поздно вечером отослал ее к себе.

— Иди, а то еще, чего доброго, разговоры начнутся. А ты девчонка молодая и беззащитная. Всякому обидеть легко.

— Спасибо за ласку, век не забуду.

* * *

Самийло уж и не знает, что делать. Не видит Катинку — и все тут. Совершенно изменилась девка. Все как-то хмуро на него смотрит.

— Да что с тобой, Катинка? Или язык одеревенел, что и слова не скажешь?

— Да-а-а, некогда... Всё за работой.

Ночью никто ее не допытывал. Ночами Катинка только с сердцем препиралась. Оно ей — одно, а Катинка ему — в десять раз больше. Никак не переубедить. Уж и бабе Федоре намеревалась сказать, да как про это скажешь? А тут, как на грех, и спать перевели в какой-то закуток, отдельно от бабы. Стенам не расскажешь, а про то, что в сердце Катинки творится,— только закрывшись с головой, ночью, рассказать можно, чтобы со стыда не сгореть.

Не устояла. Сердце взяло верх. И уже приятно было слышать мягкий звонок, который дважды нажимал Николай Витальевич у себя в комнате. Образ Самийла как-то растворился в потоке новых чувств. Все дольше и дольше засиживалась она с молодым паном. И вдруг...

Вот этого уже и не помнит Катинка, не помнит, как случилось, что солнце бросило свой луч прямо ей на грудь, высвободившуюся из-под белого одеяла, а рука Николая, отражая перстнем солнце, играла у нее на груди. Провела рукой перед глазами, смахнула сон с век. Да, это она с ним, с мужем...

Утро разбудило воспоминания о вчерашнем, день уже будоражил мечтами о будущем, а Катинка все лежала, прислушиваясь, как рука Николая касалась ее тела, а уста шептали ласковые слова, за которыми где-то, чудилось ей, пригнувшись как воровка, стерегла ее печаль.

К себе проскользнула незаметно.

День прошел как в тумане. Ночью повторится вчерашнее, и Катинка не чаяла, когда все улягутся спать. Федора смотрела на нее и хмурилась:

— Что это ты, девонька, смотришь невесело? В твои годы такие глаза — знак недобрый. Не случилось ли чего в сердце твоем?

— Ничего, бабуся. Так что-то. Пройдет...

Федора эти «штуки» знает. Видела в господских покоях разное... Поэтому она, как только управилась, сразу и легла. А когда Катинка вышла, Федора поднялась — и следом за ней. В ужасе попятилась она к себе и застыла каменным изваянием.

— Господи, такая ж еще молодая...

— Баба, где Катинка,— спросил вошедший Самийло.— Где?

— Ой, куда ж смотрели мои глаза? Чего ж они не вылезли, чтобы я и света не видела, как не увидела я Катинкиного сиротского горя. Бог же меня покарает за нее, несчастную сироту...

Самийло понял все. Только зубами скрипнул и вышел.

Так прошел месяц. Катинка привыкла к своему положению — жены Николая. И как-то, не постучавшись, открыла дверь и тихо вошла в его комнату. Тишина. Катинка оглянулась вокруг.

На диване в одном белье сидел Николай Витальевич, а на коленях у него, почти голая — та самая невзрачная панна, о которой он и вспоминать не мог без смеха. Ему советовали жениться на ней ради денег. Панна развлекала его. Оба смеялись.

Сердце сжала невыносимая боль. Раздался вопль, словно выстрел. Катинка грохнулась на пол.

— Семен! — взревел паныч.— Вынеси эту паскуду. Да стой! Собирай вещи. Сегодня едем.

* * *

День прошел неведомо как. Следующий походил на предыдущий. Неделю и другую Катинка не понимала, где была. На третью пришла в себя, а еще через неделю сбросила больничный халат, вышла из больницы и подалась к господам за расчетом.

Взяла деньги, паспорт и пошла, свесив голову, к бабе Федоре.

Вошла... и остановилась пораженная. Старая Федора в присутствии попа составляла завещание Самийлу и Катинке.

А еще через два дня Катинка с Самийлом тихо шли за телегой, отвозившей их верного друга на кладбище. Гроб тихо опустили в яму и начали засыпать землей. Катинка искренне позавидовала Федоре. Она зарыдала, тоскливо выкрикивая что-то, и, как подкошенная, упала на могилу.

— Катинка, хватит. Я никогда не вспомню, что ты была... Пойдем в село, там не знают, а я не напомню...

Грустно посмотрела ему в глаза:

— Самийло... Дорожку мою к тебе засыпало порошей, не найду я ее, не расчищай дорожек для моих ножек, не понесут они в дом мужа мой срам.

Брела тихо, не оглядываясь. Пошла вдоль дороги, вьющейся из города в степь, и исчезла в переулке — кривом, как сиротская батрацкая доля.

Самийло долго глядел ей вслед. Потом, видимо, что-то надумав, решительно пошел домой.

4

Таких дней Балта уже не узнает. Ворота всюду — настежь, в каждом дворе — бесплатный отель для божьего люда, юродивых во Христе и калик перехожих. Сам Христос удостоился неслыханной славы: с утра до вечера и поздней ночи у всех на устах хвала господу.

Балта тревожно шумела. С горы от вокзала посмотришь — пенится бурное море людей. Площадь перед монастырскими воротами заставлена лошадьми, телегами. Дышла торчат вверх, как свечи, а на дышлах растянуты шатры. В шатрах — вконец запылившиеся в дороге люди; со всей Бессарабии съехались сюда сегодня молдаване и другие народности за благодатью. Скученность — трудно дышать. Волы не привыкли быть среди людей и неистово ревут, вытянув шеи; кони нетерпеливо переступают с ноги на ногу, ржанием создавая тревогу. Дети капризничают, плачут, на них прикрикивают старшие. Слышны голоса торговок, разные соблазнительные запахи щекочут ноздри, а непрерывный тоскливый звон в церкви обухом бьет по голове, разрывает на части сердце.

Что-то страшное нависло сегодня над городом. Вот-вот упадет оно и придавит всех, уничтожит до последнего, сравняет с дорожной пылью. Даже пригибается народ. Вот уже низко, уже краешком своей смертоносной мантии цепляет оно за головы и жжет их огнем своего гнева. Речь набожная, возвышенная, отрывистая. Легким разговорам нет места. Даже мол-

давская молодежь, веселая и балованная дома, здесь взрослела: покрывались морщинами лица и седели курчавые копны под смушковыми шапками. Сегодня, как меньший старшему, как мать больному ребенку, угождает один другому, в глазах — свет любви и согласия. Исчезло куда-то зло, стерлись границы перед лицом этого устрашающего «чего-то». Каждый превратился в пылинку, такую крохотную, что и измерить ее невозможно. Люди словно первобытные дикари, жмутся друг к другу перед лютой, всесокрушающей силой.

Говорили все. Тяжелым вздохам не было конца. Раскаяние и жалобы на судьбу раздирали темную крестьянскую душу. Припоминали давно забытые греховные истории, за которые приближается теперь час расплаты. Этот страшный час вот-вот наступит. Слова молитв холодят кожу, рыдания сжимают сердце, натягивают нервы, как струны на скрипке, мутят разум.

Черноризцы сновали по площади и усугубляли ужас зловещим нашептыванием:

— Берите, берите, православные. Вот живая вода из источника, где пил Христос, сын божий, вот кусочки животворного креста, на котором распяли его нечестивые, а вот образы его святых угодников — Феодосия балтского и Иннокентия — инока. Близится бо писанное святым евангелием, близится пророками сказанное, приходит час всемирной расплаты за грехи наши, и каждому воздастся по заслугам его. Спасется тот, кто будет иметь при себе эти священные предметы.

Православные с искренним упоением читали воззвания, написанные на молдавском языке,— так, как говорят в селе. И таким досягаемым казалось спасение рядом с замученным Христом и его избранниками Феодосием и Иннокентием! Устрашали затуманенный разум неграмотного крестьянина рассказы об ужасах божьей кары.

И вдруг — нечеловеческие стенания, вой, проклятия. То в судорогах забился эпилептик, не выдержавший напряжения. С пеной у рта он выл, стонал, умолял и слал проклятия тому богу, от которого ожидал исцеления. Кощунственная ругань слышалась отовсюду. Лица присутствующих зеленели. Ужас потрясал толпу, она все больше трепетала перед тем «нечто», по

чьей воле бились в судорогах несчастные жертвы. Это было торжество обмана.

Накануне не спал никто, ибо со сна не подобает являться перед лицом таинства божьего. Солнце застало людей, какими оставило вечером,— коленопреклоненными. Все ожидали сигнала от вестников, лентой опоясывавших гору и дорогу к вокзалу, и посматривали на духовенство, выстроившееся возле церкви.

Наконец поднялся пук соломы, словно чья-то взлохмаченная голова, и тихо склонился. Взревели колокола, взвилось к небу пение «спаси, господи», его подхватил хор, и ветер понес эту песню навстречу серым в яблоках лошадям, вынесшим из облака пыли отца Серафима, епископа каменец-подольского. Это за его разрешением ходили посланцы Иннокентия — Варлаам и Гавриил. С его благословения открыли мощи, которые он должен был сопровождать с кладбища, а затем ходатайствовать перед синодом о санкции.

Толпа вскрикнула и затихла перед преосвященным архиепископом Серафимом, набожно целовавшим крест у отца Амвросия, викарного епископа Балты.

Отец Серафим понимал, что к чему. Привычно делают руки, что требуется, послушно склоняется голова, а тысячи глаз нетерпеливо ожидают конца облачения. Старичок Серафим знал толпу. Поспешность в божьем деле не к лицу — это понимал опытный в делах церкви психолог. Поэтому он и томил толпу облачением. И лишь когда все было готово, вплоть до мельчайших завязок, воздел руки и благословил людей.

«Достойно»— воодушевило толпу. Духовенство, сверкая золотыми ризами на солнце майского дня, дружно двинулось к Никольскому кладбищу. Во главе — отец Серафим. За ним младшая братия бело- и черноризцев несла знамение божье, а следом плотной массой шевелилась, ползла гигантским страшилищем наэлектризованная толпа. Словно море разлилось и выплеснуло массу воды, словно горы сдвинулись с места и расползлись широкой лавиной по земле. Непроглядное облако пыли поднимали постолы молдавских крестьян и богомольцев из дальних сел Украины.

Вдыхали ядовитую пыль и дым церковного ладана, задыхались, но шли и шли упрямо вперед.

Слабые, хилые не выдерживали удушья. Падали, не

дойдя до цели, и горько упрекали себя за греховность. Сильные пробирались вперед, а калеки ныли, умоляя пропустить их, чтобы скорее встать возле источника божьей милости.

Внезапно толпа остановилась, как судно, наскочившее на мель. Кладбище не вмещало всех. Многие остались за оградой, задрав головы,— прислушивались, о чем говорили святые отцы. Богослужения не было слышно задним, но им передавалась напряженность стоявших впереди, а вздохи, волнами перекатывавшиеся по толпе, усиливали возбуждение. Плач, помимо воли, охватил обессиленных людей, и слезы катились по лицам, покрытым пылью. Рыдания становились все громче и вскоре стоном взмыли в небо и поплыли, покатились долиной над Кодымой, поднимаясь вверх, опускаясь и разносясь над степью. И притихло все вокруг перед горем тысяч людей. Стих ветер, замер воздух — тоскливый стон заполнил все.

Это плачет село, изливая в слезах свою нужду. Выплакивают вековую горькую судьбу пахари, замкнутые в кругу мертвящей беспомощности. Плачет весь порабощенный, эксплуатируемый край. Не слышала еще такого плача Бессарабия, как не слыхал его богохранимый престол, князья церкви, небеса, к которым взывала рыдающая толпа темных людей.

— Гроб, гроб подняли! Гроб достали! — зашумели вокруг.

Напряжение усилилось. Толпа замерла, вперив очи в новенький гроб, поднятый высоко над головами.

— Братья и сестры! Всемогущий бог явил, наконец, нам свою милость. Бог ниспослал благодать многострадальному краю и во спасение послал этого святого, мощи которого вот здесь, перед вами. Пусть содрогнутся сердца ваши перед могуществом бога, а неверующих пусть убедит это чудо. Мы стояли на краю гибели и спаслись. Мы были грешными, и господь простил нас. Мы — подлые рабы его, противные ему в своей мерзости, а он желает взять нас под свою опеку. Пусть же не будет среди нас неверующих! Да погибнет плоть наша недостойная! Отречемся от земных благ, отречемся от своего добра, ибо недалек тот час, когда кара господня падет на нас, и никакие благие дела уже не спасут грешников. Сейчас мы можем умилостивить гос-

пода жертвами на его храм, молитвами у гроба, избранного им. Падем же челом к земле пред славными мощами, пред знаком милости божьей и простим друг другу, простим сильному, обнимем слабого и в мире и покое отпустим грехи.

Грозный посланец неумолимого бога, Иннокентий впивался взглядом в толпу. Он словно искал самого грешного в ней, чтобы испепелить его в доказательство всемогущества бога. Его яркая и красочная речь метко попадала в сердце и мозг и причиняла нестерпимую боль. А понятный толпе молдавский язык, впервые услышанный бессарабскими крестьянами из уст духовного отца, производил неизгладимое впечатление, прокладывал глубокие борозды в сознании и переполнял сердца ужасом, верой и покорностью.

— Поручаем тебе души наши и жизнь нашу грешную! Молись за нас, отче! — ревела толпа.

Иннокентия захватила драматичность момента. В нем жил незаурядный актер, чуткий, смышленый, увлекающий.

— О порождения ехидны! Злые и мерзкие рабы господа нашего! Кайтесь, ибо гнев его громом падет на головы ваши и раздавит вас, как муравьев сапог пахаря. Кара господня приближается. Вот она! Идет...

— О-о-о, пустите! Пустите меня к нему! — вырвался из толпы мучительный крик. — Пустите, православные!

Неистово вытаращив глаза, расталкивая всех, пробиралась женщина. Люди расступились, как перед сумасшедшей. Она выбежала на середину и, задыхаясь, в судорогах упала перед Иннокентием.

Иннокентий удовлетворенно смотрел на Соломонию: ему приятно было сознавать свою власть над ней. Он простер руки над ее головой и торжественно произнес:

— Боже, боже, сотвори чудо! Отец Феодосий, яви милость свою к ней, прославь имя господне чудом над болящей.

Толпа жадно ждала. Ловила каждое движение, каждое дыхание рослого инока с выразительным лицом. Соломония билась перед ним в судорогах и дико выла.

— Встань, женщина, и иди. Вознеси дома молитву богу и твоему избраннику святому Феодосию.

Он взял больную за руку и повел. Та поднялась, почувствовав сильное пожатие руки Иннокентия. Оглядывалась недоуменно, словно не понимала, где находится. Тихо отошла в сторону и в молитвенном экстазе воздела руки.

— Братья и сестры! Это первый знак милости божьей, и продлить его — ваша забота. Кайтесь, ибо недалек уже час расплаты за грехи,— провозгласил Иннокентий.

И снова к ней:

— Не ты ли, блудная жена, жила в разврате, невенчанной, перед лицом господа? Не ты ли шлялась по миру с хахалем, принесла ребенка, а где он? Где плод незаконного сожительства? Перед какими воротами жалобно плакал он розовыми устами, проклиная мать? Ты, прóклятая, недостойная раба господа, угонула в грехах. И вот бог простил твои грехи и исцелил тело твое, отныне принадлежащее только ему. Ты должна искупить этот грех.

Голос его как арапником стегал лицо грешницы, вздрагивавшей после каждого слова. Соломония уже всерьез принимала эти обвинения. Грань между игрой и действительностью стерлась, и прошлая жизнь ее встала перед ней жутким призраком. Она уже по-настоящему тряслась в лихорадке и склонялась под тяжестью своей вины, в которой главным виновником был сам Иннокентий. Но сейчас она забыла об этом. Жизнь ее встала перед ней, обнаженная им же, и она рассматривала ее, словно какую-то страшную язву на теле.

Нервы не выдержали, и она свалилась в настоящем горе перед своим владыкой, нечеловечески завыла, прося прощения, забывая, что решила играть.

— О-о, правда, отче, правда твоя! Без меры я грешна, и нет мне искупления. Я погубила своего младенца, погубила своей дикой, беспутной жизнью...

Она не могла больше говорить. Залилась истерическим плачем, забилась головой о землю, затряслась всем телом, как в лихорадке.

— Встань! Отец небесный пусть простит тебя.

Соломония поднялась и, пьяно пошатываясь, пошла сквозь толпу, расступившуюся перед ней. Иннокентий стоял как победитель, с гордо закинутой головой. Его эта сцена также утомила, но сознание одержанной по-

беды бодрило ослабевшее тело. Он ясно сознавал, что отныне ему нет преград. Отсюда начиналось то, о чем он только мечтал тайком, о чем и слова никому не говорил. С этого начиналась власть.

Отец Амвросий и отец Серафим стояли оглушенные, с недоумением на лицах. Выступление Иннокентия показало им, что инок не глупого десятка и многое может сделать. Архиепископ Серафим кусал губы и торопился со службой. А отец Амвросий словно сквозь туман смотрел и слушал богослужение, как ненужный, надоедливый рассказ близкого, но обидчивого товарища.

Хам победил. Это было для всех очевидно. Князья церкви вынуждены были сие признать и покориться. Негодование кипело в сердцах, и хотелось смять этого вахлака в кулак, смять и раздавить.

На прощание князья церкви только пристально посмотрели в глаза друг другу и разошлись злые.

5

Семен Бостанику — богач. Семена Бостанику уже третий раз избирают старостой. Семена Бостанику почитает все село, а хутор его посещает сам становой.

Семена проклинает вся волость. Не один суд он выиграл, тряхнув мошной. Там, где и не прав был,— чистым выходил. Усмехался себе в длинный черный ус, гладил бороду и тихо напевал. Почти вся волость ходит на отработки к Семену. Одним словом — богач. Жали за десятый сноп. Знали: паук не отпустит, пока не высосет.

— Уже новую межу ирод прокладывает, — говорили сельчане весной или осенью, когда ехали в поле.

Семен никогда не пахал по старой меже. Хоть вершок, да прихватит к прошлогоднему.

Волнения 1905 года взбудоражили Бессарабию. Кое-где полыхало небо господскими скирдами. Поглядывали и на Бостанику.

— С живых не слезу,— похвалялся он.— Пусть только сожгут. Всем селом будут отрабатывать.

Боялось его село. Знало — сжечь не штука, а потом...

— За него-то заступятся, а нам...

— Случись беда, куда пойдешь? Семен ближе всех.

Поклонишься, попросишь — обдерет, но даст. А тогда сдохнешь — не даст.

Семен знал об этом и усмехался:

— Побоятся, лиходеи!

А сам похаживал по двору, осматривал имущество. Все у него есть. Одно слово — изобильное хозяйство. А нищий зайдет — Семен ткнет ему сухарь:

— На, и уходи отсюда. Пройти из-за вас нельзя. Из рук рвете.

Одолжить кто придет — тройной вексель вручает:

— Дашь на дольше — отдашь быстрее.

И отдавали. Да и что ж ты ему сделаешь, если вся волость — словно его колония. Повертится, помнется человек да и влипнет: берет 50 — на 200 залог приносит. А там гляди: два-три дня просрочил — вексель в суд на всю сумму пошел. А Семен только усмехается:

— Ходишь, клянчишь теперь, а тогда нос задирал, стервец?

В доме патриархально-набожный лад. Так уж заведено. Икон—от порога и до порога, а в красном углу образ спаса во весь рост, как чабан с посохом, стоит. Перед ним вечерами мигает лампадка и вся семья бьет поклоны. Отец читает по часослову, домашние вторят. И только когда все улягутся, Семен покидает бога. Открывает крышку кованого сундука и, перегнувшись, осматривает людские залоги. Это для него — самое большое развлечение.

— Нравится тебе, жена, эта нитка кораллов? Старая Карасиха вчера за рожь дала. Божилась, что после свадьбы только трижды и надевала.

И Семен молодцевато толкает жену в бок:

— Разодену тебя, Настя, как под венец. Вот кольцо, большое, как на бочку. Скаматариха Анна при похоронах принесла. А до спаса разве выкупит? Да никогда в жизни! Носи на здоровье — и все.

Настя красовалась в ожерелье. Примеряла кольца, которые скоро оденет как свои, и радостно говорила:

— Да у тебя ж генеральская голова! Разве ты не придумаешь?

До глубокой ночи звенят ключи от кладовой, от сундуков, где спрятаны залоги.

И так каждый вечер.

Но сегодня что-то не тянет Семена к сундукам. В

село просочились дурные вести. Он задумался. Как держать себя, когда придет старая София? Ведь без суда не обойдется, а как судиться...

— Черт же его батька знает, чего человек добиться может. Смотри, достигнет чего, как люди гутарят, а там и беда застукает. А если не достигнет? Тогда пиши пропало...

Думы морщат лоб, скребут, как мыши, на сердце. А тут отворилась дверь, и на пороге появилась София.

— Бунэ сара, домнуле*.

— Мулцэмим**.

София, как велит обычай, прикрыла дверь, перекрестилась и низко поклонилась в красный угол.

— Что скажете? Садитесь.

— Да и говорить нечего, не про вас будь сказано. Все о том же... Как оно будет, пришла спросить. По-хорошему или пред судом станем?

Подобрала губы Левизориха и дерзко в глаза смотрит, словно это не она пришла к Семену, а он к ней.

— Да так и будет... деньги отдадите — ожерелье возьмете. Мне чужого не нужно, дай бог свое прожить во здравии. А кроме того, я еще и сам не знаю, будут ли гроши. Мне же не с неба падает. Заработать нужно. Была нужда, вот я и заложил.

Насмешливая улыбка Софии как ножом полоснула Семена.

— Эй, баба, берегись! Еще лежат у меня векселя твоих сыновей — одного и другого. Я не забыл о них. Не пришлось бы, смотри, потом еще плакать.

— А ты не пугай. Не боюсь я твоих угроз! Наплачешься еще и ты, черт долговязый. Вот это тебе не защекочет в носу?

Бумажка, измятая от долгого лежания у Софии за пазухой, перешла в руки Семена. Он встревожился:

— Гриша, иди-ка сюда. Читай.

Гриша уже третью зиму ходит в русскую школу. Он — грамотей и всегда рад услужить отцу. Развернул на столе бумажку, стал читать:

«Дорогая моя мама. Я, слава богу, жив и здоров и тебе желаю от нашего бога всего доброго. А еще поклон моим братьям Семену и Григорию».

---

* Добрый вечер, господин! (*молд.*).

** Благодарствуем (*молд.*).

— Ну, ну, а что ж дальше?

— «...да скажи тому скряге Бостанику, что если что случится, то я с ним буду разговаривать по-другому. Не сам за него возьмусь, а знающие люди вступятся. Тогда уж в любой тюрьме ему место уготовано.

Твой сын Иван, теперь во господе иеромонах Иннокентий».

Такой конец и не снился Семену. Его лицо искривилось в нарочито приветливой улыбке. Слава Иннокентия уже широко распространилась, и Семен тоже слышал кое-что от людей, хотя и не доверял людским россказням. Только теперь поверил, потому что сам убедился.

— Ваше счастье, что так. Только ради сыновнего сана уважение сделаю. Пусть будет так, отдам. Но вот... ожерелья того уже нет, оно в Балту продано. Нужно поехать забрать. Да и векселя в Балте, в банке. Поеду — заберу.

— Вот и поезжайте, если так.

— Добро.

София пошла. Уже во дворе хмыкнула что-то неопределенное.

Семен как сидел, так и прилип к скамье. А погодя — вихрем вылетел в дверь.

— Сидор! Сидор! Ты и кукушки не услышишь! Сидо-о-р!

Сонный Сидор между тем хлопал глазами, чесал затылок и ждал приказа, уже стоя в хате.

— Овса засыпь чалому и вороному. На рассвете едем.

— Куда ж ты, Семенушка? — жалобно откликнулась жена.

— А ты что — оглохла, не слышала, о чем с Левизорихой разговор шел?

— Да то, может, еще и враки. Чего ни наговорят люди. Рак вовсе не такой страшный, только у него глаза не там торчат.

— А тебя кто спрашивает?

— Но все же, ни с того ни с сего...

Семен нетерпелив, и слезы жены его мало трогают.

— Эй, Настя, не зли меня! Не твоей гнилой тыквы это дело, без твоего ума наведу порядок. Неужто у тебя совета спрашивать буду?

— Да побойся бога, Семен, я разве что...

— Ах ты, сука горластая, шлюха бендерская, мне еще выбирать для тебя слова!

Как была, простоволосая, опрометью бросилась Настя к двери. Одеяло попало под ноги, опутало. Буря злости вдруг налетела на нее, обухом ударила по голове. Упала животом на скамеечку. Вскрикнула и замерла на полу. Беременная была, уже на восьмом месяце. Семен вышел из хаты и до утра больше не заходил. А утром, не попрощавшись, подался. Загремели откормленные лошади по дороге в город.

Наутро все село говорило:

— Вот палач этот Семен. Искалечил жену навеки, родила мертвенького, а теперь мучается, страдает, несчастная.

В тот же вечер Григорий Левизор выехал поездом в Балту предупредить Ивана, что Бостанику векселя не возвратил и будет в Балте сам. В селе даже не знали, что Григорий куда-то ездил, — вернулся он быстро.

6

Эта женщина, по-видимому, из села. На поблекшем лице печать крестьянского горя. Она безразлична ко всему на свете. Изредка зевнет или тяжело вздохнет, склонится в сторону, глянет на закрытую дверь и опять повесит голову. Думает, вздыхает и ждет. Не шевелится часами. Неподвижно сидит, охватив руками голову. Присутствие жизни выдает только стон, порой вырывающийся из груди. Иногда искра сознания осветит мертвенно-бледное лицо. Тогда она оглянется на прошлое, закружится над ним чайкой, заглянет себе в душу, прислушается там к чему-то, и, видно, становится больно. Кривятся губы, собираются морщины на лбу, катится слеза. И она снова застывает. Замрет, окаменеет и опустит завесу над своим горем.

Долго сидела она так. Четвертый раз засыпает уже глухонемой монах у двери отца Иннокентия, тоже ожидающий приема. Вставал, ходил и снова сидит неподвижно. Так и застал их Семен Бостанику, когда вошел в приемную.

— День добрый, люди божьи. Отец Иннокентий у себя?

— Отец Иннокентий? Не знаю...

— Зачем же ты сидишь тут, если не знаешь?

— Зачем?

Словно в темную ночь смотрела она из светлой хаты. Прямо в глаза.

Семен присматривался и припоминал:

— А ну подожди, молодка... Чем-то ты мне знакома. Не служила ли ты у господ Грабских, в Сороках?

— Была... Три года... Есть что вспомнить перед смертью.

— А что? Плохие такие?

— Да нет... Добрые да хорошие...

Слеза выкатилась словно из самого сердца. От долгого тоскливого ожидания хотелось как можно скорее сбросить тяжелый камень с сердца. Урывками, коротко простонала Катинка свою нехитрую историю незнакомому человеку.

— Так вот и появился ребенок. Куда денешься? По наймам слонялась, не усмотрела... уронила в колодец. А выплакав горе, другому в руки попала. Опять ребенок, но надорвалась и сбросила. После того отлежалась в больнице и вот...— показала на дверь. — Спросить хочу, как жить мне.

Горе прорвалось потоком слез, и, кусая пальцы, Катинка упала на пол у двери и жалобно завыла. Бостанику смутился, а монах выскользнул из комнаты, прикрыв за собой дверь. Семен не знал, что делать с больной, искал глазами монаха. Тот вскоре вошел и неподвижно встал над Катинкой.

— Отче, спасать нужно, — проговорил Семен.

Бормотание глухонемого совсем его обескуражило.

— Бери, — показал Семен Бостанику.

Монах вдруг будто припомнил что-то, усмехнулся, резко схватил за голову больную, корчившуюся в муках, и сделал знак Семену, чтобы и тот подошел. Взяли — монах первым шагнул вперед, а за ним, поддерживая больную, — Семен. Остановились перед каким-то большим домом. Монах постучал. Вышла женщина и, ни слова не говоря, повела их за собой в комнату. Бостанику рад был избавиться от ноши и понес ее в покои. Только одно удивляло его: почему никто не спросил, что случилось, где они взяли эту женщину.

Ряд кроватей вдоль стен и посреди комнаты, с де-

сятками сидевших и лежавших на них людей, напоминал больницу. Семену не терпелось поскорее вырваться из этого заведения. Но уйти ни с чем тоже не хотелось. Он стоял, не зная, с какой стороны подступить с расспросами.

— А тебе чего, человек добрый, нужно? — спросила его наконец монашка.

— Да так... К отцу Иннокентию мне, да не знаю...

— К отцу Иннокентию, говоришь? Иди-ка в церковь, если так, как раз богослужение начинается. Коль сподобит господь — увидишь.

Семен быстро направился к церкви. А когда стал приближаться, увидел, как из толпы вышел вдруг статный монах с черной пушистой бородой и жестом остановил его.

— Раб лукавый, зачем идешь в храм божий, словно к себе в конюшню? Плод диаволу, зверь жестокий, что несешь ты к алтарю господнему в сердце своем? Как встанешь перед лицом его с руками, омытыми слезами жены и кровью младенца, родившегося мертвым после твоего отъезда?

Семен остолбенел. Мысли его путались. Трудно было даже сдвинуться с места.

«Откуда он узнал? — думалось. — Кто мог сказать?» Ничего не понимал. Вспомнились слухи о всезнайстве молодого монаха. Не верил, чтобы так быстро могли сообщить письмом. Ведь он мчался, не жалея лошадей, и за полтора дня был в Балте.

Монах не унимался.

— Раб лукавый Семен, поди прочь от храма божьего, не ступай на порог даже, пока не смоешь грехов своих покаянием. Не стану осквернять уст своих разговором с тобой, ибо проклятье тяготеет над головой твоей нечестивой. Прочь отсюда! Бог не приемлет лицемеров, не приемлет их даров.

Махнув рукой, он с презрением отвернулся и стал спиной. Семен не в состоянии был вымолвить ни слова. Сознание как бы покинуло его. Он не мог опомниться от внезапного удара. Холод пронизывал тело, по спине мороз подирал, волосы вставали дыбом. А ноги дрожали, будто кто-то тряс колени. Страшно стало ему. Он тихо пошел за ворота, глубоко потрясенный чудом провидения инока Иннокентия.

Как прошла ночь, Бостанику не знал. Она словно растаяла как снег в горячей воде. Поднималось сизым туманом над Кодымой свежее утро. Вынырнуло оно будто из речных камышей, засветилось на улицах. Не умывшись, Семен снова пошел к монастырю по сонным еще улицам Балты. Не видел ничего, пока не дошел до ворот. Только у самого входа заметил, что за ним следил взглядом полицейский в белой одежде.

Семен снял соломенную шляпу, поклонился и, согнувшись, исчез в воротах обители.

7

Тоненький лучик солнца, желтый, как золото, уколол Катинкино лицо. Проник под кожу и вызвал на щеках румянец. Дрогнули веки, поднялись и снова упали, будто оловянные. Иголочки лучей все чаще кололи ее, и Катинка, отмахнувшись от них рукой, вынуждена была подняться. Но сразу же снова смежила веки: слабая память изменяла ей. Катинка никак не могла вспомнить, где она очутилась после того, как сидела в приемной, и сколько ей пришлось там быть. Очевидно, она куда-то забрела. Но куда?

Она открыла глаза и осмотрелась. Вон в углу какой-то гадкий урод, с провалившимся носом и изрытым оспой лицом, разматывает окровавленные лоскуты ветхой тряпки на своих скрюченных ногах. Он так углубился в это занятие, что даже не замечает мух, которые роем облепили кроваво-красные раны и копошатся там, как в падали. Слюна стекает у него по подбородку, а он злится, сопит и бормочет молитвы.

Вблизи него на полу, подогнув ноги, сидит древняя старушка. Она, словно кукла, ежесекундно вертит головой, обтянутой высохшей желтой кожей, и тихо шепчет: «Где ты, моя доченька, где ты, моя крошечка?» А потом остановится на минутку, как бы прислушиваясь, не идет ли она, и опять за свое. Космы седых волос выбились у нее из-под очипка*, сам очипок перекосился набок, но старуха не замечает этого. Знай свое твердит.

---

* Головной убор замужних женщин на Украине.

И снова провалилась в пропасть Катинка и чувствует, что вот-вот задохнется там среди скользких чудовищ с зияющими пастями. Они шевелятся, ползают, обвивают тело и замораживают ее своим прикосновением.

И снова смотрит она на всё остекленевшими глазами. Перед ней опять калеки, слепые, кривые, немые, собранные словно со всего света. А самый противный среди них — вон тот дед-великан с глазами, вывернутыми, как куски мяса, и свисающими ему на щеки. Он то встает и дергает одной ногой, то вновь садится и поднимает другую, будто проверяет, прочно ли они у него приделаны. И тогда так страшно выкатываются его глаза, что кажется, вот-вот упадут и покатятся, как два уродца, под ноги.

Толпа шевелится, как куча червей. Впрочем, здесь не обращают внимания друг на друга, каждый занят своим. Воняет старой одеждой и немытым телом, струпьями и солеными крестьянскими слезами.

В углу кто-то выл. Воет-воет, а потом просит, умоляет кого-то, затихнет, а потом — снова. И все чего-то ждали. Шепотом спрашивали о чем-то друг друга и, удовлетворенные ответом, отворачивались, продолжали каждый свое. А то вдруг обнимутся двое и целуются, как во время великого поста перед причастием.

Катинка все больше холодела. Нервы ее напрягались, кровь стыла в жилах. Начинало болеть темя, в него словно долотом кто-то долбил.

— Кто он, кого вы ждете? Кто придет? — крикнула она, чтоб не сойти с ума или не упасть в ту яму, куда она каждый раз проваливалась, когда не хватало сил сдержать боль души.

— Кто это, кто, да помилует господь! Ты когда родилась, девонька? — отозвалась старушка, сидевшая рядом. — Или не знаешь, где ты?

— Кто придет? Кого вы ждете?

Катинка теряла сознание. Слова старухи уже не доходили до нее, и она боролась с собой, чтобы не упасть в эту проклятую глубокую яму, готовую вот-вот ее поглотить.

— Во господе собрались, раба божья, мы здесь. За милостью его святой пришли.

Возле стоял старик со страшными дырами вместо

глаз и смотрел на нее. Глаза свисали вниз. Ужас встряхнул Катинку и не дал ей упасть в яму.

Старик продолжал:

— Во господе, слышишь? Придет его святой пророк, дух божий, сын человеческий, и кто достоин спасется от муки.

У страшного деда мягкие слова. Они знакомы Катинке. Напомнили вчерашнее: приемная и высокий стройный молдаванин, что ее расспрашивал. Но течение воспоминаний вдруг прервал страшный рев толпы.

— Осанна! Осанна, гряди во имя господне. Господи, спаси и помилуй нас! Спаси и помилуй нас, господи, яко мы рабы твои.

Толпа, словно поваленная вихрем, упала на колени. Только одна Катинка стояла, сверкая глазами из-под ниспадавших темных волос. Оглядывалась, как затравленная, и вдруг пристально стала смотреть на дверь.

Черная ряса Иннокентия, шитая по росту и фигуре, обличала крепкого мужчину. Глаза светились, искрились из-под густого кружева ресниц. Длинные волосы обрамляли смуглое красивое лицо. Он осмотрел свою паству и остановился взглядом на Катинке. Подошел к ней и ласково взял за руку:

— Дитя господне! Знаю твое горе тяжкое, знаю неправду, причиненную тебе злыми людьми, знаю тернистую тропу, по которой прошла ты к дому сему. Тот офицер, что погубил цветок этот, не будет иметь счастья вовек, а господину Дубову, который переполнил чашу твоего горя своим издевательством, не пойдет больше богатство впрок, и погибнет весь род его. Смерть твоего младенца, которого ты бросила в колодец, — не на тебе, дочь моя, а на тех, кто довел тебя до этого. Только покайся и не твори больше грехов.

Ничего чудеснее и удивительнее в своей жизни Катинка не слышала. Как тихий ветерок, вырвался вздох со дна души, измученной горем, которое теперь, однако, уже не так ее терзало.

— ...Не вздыхай, раба божья Катря, господь знает твои добрые помыслы. Не рань свое сердце, молись.

С этими словами он поднял руку и будто в тумане поплыл куда-то, как магнитом притягивая за собой Катинку. Она ступала по мягкому ковру, плыла по

пушистой поверхности голубого тумана, текла, как течет тихий ручеек с пологой горы, таяла, как тает колыбельная песня над засыпающим ребенком.

И куда-то далеко отодвинулись калеки, исчезла пропасть, в которой ползали омерзительные чудовища, и теплом повеяло на нее.

— Спаситель мой! Господь мой! Возьми меня с собой. Буду последней служанкой тебе, буду целовать ноги твои, мыть их и пить воду ту, — шептала она, протискиваясь за ним сквозь толпу.

Перед ней расступались, давая дорогу. А потом снова смыкалась толпа и ползла за Иннокентием на утреннюю исцеляющую молитву.

А Катинка все шептала:

— Возьми, возьми меня с собой.

И капали тихие слезы на грудь.

— ...Раба божья, перестань плакать, молись, умоляй его, ибо еще много грехов на тебе непрощенных. А вы, порождения ехидны, молились ли вы как следует господу? Горит ли в вашей душе желание очиститься, пламенеет ли вера во всемогущего господа, в то, что его дух святой вошел в меня в образе голубя? У кого есть эта вера, тот спасется, тому я дарую здоровье и силу, тому отпущу я грехи его, — гремели, как гром, слова Иннокентия над склоненными головами, сверкали его обжигающие глаза и тихо усмехались полные розовые губы.

— ...Кто же лицемерит, кто обманывает господа и уповает на молитву, живя праздно, тот испытает еще большие несчастья. Война и голод охватят край, мор и смерть сотрут с лица земли страну грешников, раны и струпья — доля неверных, среди которых вы будете первыми, потому что дурачили господа. Кайтесь же на пороге славы его, падите ниц перед лицом могущества его.

Двери в другую комнату медленно приоткрылись, и белый голубь опустился с потолка. Страшный крик вырвался в это мгновение из десятков грудей и потряс помещение. Начались судороги у эпилептиков, раздались нечеловеческий вой, визг и проклятия. Иннокентий стоял как изваяние и осматривал покорную толпу: она билась у его ног в невыразимом горе. Именно такой власти он хотел и достиг ее.

Когда толпа утихла, Иннокентий махнул рукой куда-

то к двери, и оттуда вышли два здоровенных монаха с бочонком, залитым смолой. Затем он воздел руки, вперил взгляд в потолок и зашевелил в молитве губами, похожими на две раздавленные вишни.

— Милостив господь ваш к вам, непрощенные грешники! Отведайте крови его благочестивой и вознесите хвалу ему, — бросил он в толпу.

В кружку полилась красная жидкость. Вино заискрилась на солнце, и десятки жадных ртов потянулись к нему, десятки больных людей, в гноящихся вокруг губ ранах, стали пить эту жидкость. Кружка пошла по рукам. Бочонок опустел, и очередь закончилась. Последним подошел Семен Бостанику. Он уже протиснулся в толпу, но не осмелился подойти и выжидал. На него поднял свои черные, как терн, очи Иннокентий:

— Пойдешь сначала в церковь, раб божий Семен. Там ждет господь твоего раскаяния. Сейчас тебе нет места среди детей божьих.

Иннокентий повернулся и не спеша пошел в соседнюю комнату. За ним поползла и вся толпа. Катинка, шедшая впереди, наступила на что-то мягкое и опустила взгляд на пол. Взгляд скользнул по дорогому ковру и задержался на блестящей поверхности бассейна, искрящегося под солнечными лучами. Искры передвигались то в одну, то в другую сторону, колеблемые ветром, качавшим за окном дерево. Катинке казалось, что сама вода — живая и шевелится.

Остановились. Аналой закурился дымом ладана, засветился свечами, и понеслась песнь богу от стоустой измученной, жаждавшей милости толпы. Пели все. Но что это было за пение? Из каких мелодий соткан тот неосознанный поток звуков, рвавшийся из гортаней преданных и темных рабов? Они плакали, изливали невысказанную тоску и долго сдерживаемую жалобу на судьбу. Сколько затаенного отчаяния в этом пении десятков обездоленных, заброшенных, никого не интересующих людей — темных крестьян!

Но тоска не доходила до слуха Иннокентия, горе не трогало его, он словно купался в этом неудержимом потоке рыданий. Молча руководил хором мироносиц-женщин, прислуживавших во время богослужения. Но вот долгая изнуряющая служба окончилась. Он благословил хрустальную воду в бассейне и подошел к ней.

— Отче небесный, пошли благость свою на меня.

С этими словами он снял клобук и отдал мироносице. Затем подошли к нему другие женщины. В одно мгновение он, раздетый, пожимая плечами и поеживаясь, опустился в воду и трижды нырнул. Ныряя, трижды призывал благословение отца небесного на воду и, трижды показываясь над водой, сплевывал, изгонял из нее беса. Весь красный вышел он из бассейна. Три мироносицы вытирали его крепкое тело, три умащивали миром, три возносили молитвы, одним им ведомые. И только тогда обратился Иннокентий к толпе:

— Дети мои! Станьте перед господом нагие во плоти своей, как родила вас мать ваша. Перед лицом бога нет стыда, как не было у прародителей наших Адама и Евы. Войдите в воду эту святую и примите благословение мое на себя. Кто достоин будет, тот исцелится от недугов своих. Не стыдитесь, ибо нет ничего постыдного, если в грехах нагими появитесь перед господом.

Зашуршали вокруг него, засуетились. Катинка, раздетая мироносицами, стала на краю бассейна, готовая взмутить своим точеным телом спокойствие водной поверхности. На нее напирали задние, толкали в воду. Иннокентий придержал ее за обнаженные плечи:

— Дочь моя, не время тебе еще испытывать здесь благость мою. Войди сначала в дом мой и покайся наедине.

Сильные руки его отвели Катинку от края бассейна. Он передал ее мироносицам.

— Оденьте эту новопреставленную невесту Христову, дайте ей место среди вас.

Семен Бостанику стоял здесь же. Он, словно прирученная собака, покорно смотрел Иннокентию в глаза и, содрогаясь всем телом, беззвучно умолял о чем-то взглядом.

— Ты тоже зайдешь ко мне. У меня и к тебе слово есть, грешник.

Бостанику покорно отошел в сторону и, ужасаясь, смотрел на все происходящее, перебегая глазами с одного на другого. Казалось, он искал какого-то ответа и вот уже нашел. Его хитрые глаза заблестели, вздох облегчения вырвался из груди.

Грешники тем временем омывались в бассейне. Они не осознавали происходящего, не замечали друг друга, а

увлеченные каждый собой, как бы и в самом деле отдирали толщу грехов и бросали их в воду. Каждый глубоко верил, что выйдет чистым, здоровым, и старался подольше и поглубже погрузиться в воду. Некоторые вымаливали, просили у бога здоровья, кто выкрикивал славу ему, а кто проклинал себя безнадежными тоскливыми проклятиями — дескать, нет ему все равно спасения, и умолял Иннокентия помолиться за него.

И чудо происходило. Безграничная вера, прочувствованная молитва творили чудеса. Больные выходили из бассейна обновленными, почти исцеленными, они не ощущали уже боли в своем теле: она уходила под натиском слепой веры и, побежденная ею, утихала. Люди славили имя Иннокентия, падали ниц, покоренные верой в него. Долго слышались сумасшедшие крики радости, отчаянная горестная мольба еще не уверовавших в исцеление людей, дикие выкрики молитв одуревших. В конце концов все стихло. Толпа перешла в церковь, где проходило уже обычное богослужение, как каждое воскресенье.

Долго еще лились потоки сокрушающих слов, и они били, трепали лихорадкой напряженную толпу. Они сковывали уста, леденили сердца, туманили мозг, окончательно лишая людей рассудка. И где-то тихо, приглушенно сорвалось слово — короткое, пугающее, ужасное:

— Кара приближается!

— Боже, боже, помилуй нас! Боже праведный, будь милостив к нам, грешным!

Из океана звуков резко вырывались пронзительные завывания эпилептиков. Сначала один крик, за ним второй, третий, а вот уже и плач здоровых людей, потерявших равновесие, влился в общий поток тоскливого рыдания. Иннокентий, словно привидение, стоял в черной блестящей рясе и метал молнии очами.

— Кайтесь! Кайтесь! Кайтесь!

Воздел руки и благословил толпу. Благословил — и будто поплыл в волнах людских стенаний, как мощный корабль по белогривым волнам бушующего моря. За ним поползла серая покорная толпа. А в конце потока — Семен Бостанику и оглушенная Катинка. У двери еще раз остановились. Иннокентий окинул быстрым взглядом толпу, поманил к себе Семена и, указав мироносицам на Катинку, юркнул в дверь. Толпа застыла на минуту,

зашевелилась вновь, заволновалась и, словно прорвав плотину, полилась серой массой за ворота обители.

Семен и Катинка вошли в приемную святого духа.

8

Герасим Мардарь недавно осел на земле. До этого владел ею отец. Перед смертью он разделил землю. Герасиму досталось 50 десятин. С землей получил Герасим и другое имущество и укрепился в хозяйстве. Не собьет его голытьба, которая по нужде лезет к нему из села Липецкого. А захочет Герасим — всегда припашет. Многие к нему долгами привязаны. Виноградник, сад завел — такой, что и во сне не приснится. Из-за Днестра привозил саженцы. Выхолил хозяйство, было чем похвастаться. Одно плохо — компании нет. Липецкие богачи не гостили у него, потому что он из-под самого носа рвал у них. Бедноту же собаки на усадьбу не пускали. Так один и жил на отшибе. Да и не любили его. Не погостишь у скупого. А иной раз очень нужен Герасиму рядом человек: винца бы выпить, погутарить с ним, развлечься немного... Но больно уж убыточным оказывается все это.

С недавних пор появился сосед Синика — молодой бессарабец с женой, — он мог бы составить хорошую компанию. Только с парой лошадей пришел, но за год поставил хутор чуть ли не лучший, чем у Герасима, которому на это понадобились многие годы. Сразу, будто из воды, росло все у Синики.

Этот хозяин пришелся по вкусу крепкому Мардарю. Целый день Синика ковыряется и хлопочет, а в гости не идет. Год прошел, а они только на поле и здоровались. Даже жены не заходили друг к другу. И хотел, и боялся пригласить его в гости Герасим. В селе говорили, что Синика пасет на его земле. С тревогой слушал Герасим эти разговоры и со страхом смотрел на безмолвное жилище Синики, таившее в себе угрозу. Так миновал год в молчаливом ожидании. А на следующий — Мардарь первым зашел к Синике.

— Здравствуйте, пан-хозяин! Год миновал и другой уже кончается, как поселились, а вот только первый раз к вам в дом вхожу. А вам бы первому полагалось на но-

восельe звать. Ну да бог с вами, сам знаю, некогда нашему брату за хлопотами.

— Ваша правда. Но хлопоты хлопотами, а хлеба-соли прошу отведать. Соседи ж мы,—приветствовал Мардаря Синика, не желавший первым заводить знакомство, хотя и жаждавший его на отдаленном хуторе.

Знакомство понравилось обоим. Нашлись общие разговоры, близкие и понятные стремления. А простора вокруг — не помешаешь друг другу. По соседству бедное крестьянство. Да и не захватишь все один, не подомнешь всех нищих под себя... Это поняли оба богатея и успокоились.

За первым посещением — второе, а затем и Синика побывал в хозяйстве у Герасима и даже подсказал ему кое-какие новшества. Он давно повел свое хозяйство как настоящий помещик и обогнал Мардаря. Охотно учился у него Герасим, перенимал опыт.

Соберутся, бывало, усядутся, свесят головы молча, а станут говорить—словно об одном думали. Один начнет, а другой уж его мысль заканчивает. Усмехнутся, запыхтят трубками — и поплывет беседа, как утка по воде. Только иногда замутится плавное течение мыслей, но быстро успокоится.

— Спросить я вас хочу, сосед... — начал как-то Мардарь.

— Пожалуйста.

— Откуда вы, извините, приехали? Так вы мне этого и не сказали. Вижу — свой человек, а откуда — не знаю.

Поднял Синика глаза на Мардаря:

— Вот что, сосед... Хотите принимать меня в своем доме и сами у меня хлеб-соль по-соседски отведывать— чур, не расспрашивать.

— Нешто и так! Пусть будет. Я и не очень интересуюсь. Как это говорят, в пост с поросенком не прутся, — согласился Мардарь.

На том и сошлись. Да и подружились еще больше, чем вначале. Оба были одинаково жадные до хозяйства, и оба — молчаливые. В селе редко бывали, все больше в доме или по полю прохаживались и, словно коршуны с высоты, осматривали соседние поля. В город редко ездили. Разве что на базар в Бирзулу за хозяйственными

покупками... А возвратясь, снова залегали по своим берлогам как два зверя, нацелившись на одну добычу.

Впрочем, жили каждый своим. У Мардаря — обширное хозяйство и уже дети пасли отару. А у Синики — только он да жена. В доме веяло запустением. И ходил Синика нахмуренный, словно туча.

Да и то сказать, неизвестно, почему человеку не везет: что ни роды — то похороны. Молодая жена, будто заколдованная злой ворожеей, рожала все мертвеньких. До седьмого месяца вроде шевелится, а там и затихнет. До восьмого доходит — родит мертвого.

И что ни похороны — все молчаливей становился красавец Синика. Как грозовая туча на небе, было его мраморное лицо. Промеж глаз, словно змея, извивалась глубокая морщина, а брови, как стреха с перекосившейся хаты, надвинулись на горящие глаза. И чем больше думал, тем крепче брала за сердце тоска.

Потому и приходил к соседу. Хоть на Мардаревых детишек посмотрит, коль своих не довелось иметь. Садился у края стола, тяжело опирался головой на пятерню да и застывал весь, как огонь в вишневой его трубке. А потом, будто со сна, откуда-то издалека обращался к Мардарю:

— Беда, сосед... Ох, беда мне. Некому будет и хозяйство оставить.

— Ай-я! Почему это?

— Опять мертвенькое.

— Ну?

— Пропащая душа! — безнадежно ронял Синика запекшимися губами.

И затягивал дойну. Тоскливо-щемящая мелодия переливается сначала будто где-то глубоко в груди, а потом выплывает, трепещет только на губах, вырывается непонятными словами. Голос его то стонет тихой, глубокой припрятанной тоской, то доходит до крика, будто от нестерпимой боли, то звенит умоляющими нотками, то взмывает в отчаянном протесте. Синика то съеживается, уходит в себя, то уносится затуманенным взором куда-то ввысь вместе с жалобно-плачущими звуками «Чобанаша». Забывал подчас, где он — перед ним страшным призраком вставало его несчастье, заслоняя Герасима Мардаря. Вперив в него очи, изливает Синика поток своей боли, свое горе, свои невысказанные жалобы.

Это жалобы ущемленного собственника, в них — суетность забот о своем богатстве. Некому его оставить Синике после смерти, а в могилу с собой землю не возьмешь. Не прожить ему денег, волов, коров, виноградника!

Нет, все богатство его не приносило счастья, оно доставляло только жестокую муку зависти и отчаяния. И это мука, боль, зависть и отчаяние передавались теперь в песне.

...Мардарь понимал своего соседа. Его грубый голос присоединялся к горестной песне, разворачивал длинный свиток кручины. Оба словно прирастали к месту. Только тоска отражалась в глазах. А затем опьяневший Синика вскакивал и, хватаясь в отчаянии за голову, кричал:

— Мэй, Гераська, душа плачет! Плачет она у меня, тужит, а горя своего не выплачет. А если и выплачет, мэй, то еще больше потом болит.

— Вижу, Василий. Все вижу, да только помочь не в силах. Против бога что поделаешь?

— Да так! Все на бога сваливай — дурной голове легче.

Да с этим и выходил из хаты.

А пройдет день-другой — снова сидят друзья, в песне каждый свое изливает. И снова льются звуки в открытое окно, летят в темную степь, зовут, и плачут, и несут кому-то свои жалобы.

...Вот так и нынче. Сидит Синика за столом, глаза к потолку поднял и тужит. А Мардарь вслушивается в заунывный голос соседа.

— Мэй, Василий, о чем плачет теперь твоя песня?

— Эх, Герасим, Герасим! Не облегчить тебе своей заботой моего горя, тоски моей песни. Она плачет о детях, плачет и жалуется. Семь недель миновало, как похоронил я третьего ребенка. Уже молодая моя жена снова приласкала меня теплом страстной ночи, сладостью своей любви... А там... опять... опять...

— Ох-хо!

— Снова похороны. И нет спасения.

— Что поделаешь, коли так уж пошло?

— Что делать? Разве я знаю? Уже звал всяких бабок, не одну сотню дал за нашептывания, всяких их

лекарств давал, а что? Что, я спрашиваю? Ничто не помогает, и некому будет хозяйство оставить...

— Мэй, а может в церкви какой отслужить, молитвы там какие почитать... А то бы в монастырь...

— В монастырь? Глупости это, Герасим, поверь мне. На наш кошель глаза зарят, а поможет, как твоей кобыле ладан.

Брезгливо скривил губы, словно дотронулся до какой-то гадости. Герасим хотел было возразить, но тут на дворе залаяли собаки.

— Кто бы мог быть?

Зверь и в логове дрожит за свою шкуру. Поэтому, прежде чем выйти, Герасим снял ружье и осмотрел его. А Синика не тронулся с места, не пошевелился даже и тогда, когда в хату вошел Герасим в сопровождении рослого, крепкого, бородатого человека в смушковой высокой шапке. Только глазами повел на него.

— Гость вот у меня,— сказал Герасим Синике.

— Вот и хорошо... А я, наверное, пойду,— уныло ответил тот, нисколько не удивляясь, что у Мардаря, да еще в такое время, вдруг гость.

— Чего так рано? Может, гость какую новость расскажет, он из Балты. А там, говорят, много новостей.

— Ну и какие ж? — уже с порога спросил безразлично Синика.

— Новости, человече, большие и чудные. Чудные, говорю, новости.

— А что?

— Да в церкви новость.

— Что же там такое?

— Чудеса. Да, да, чудеса, непостижимые для разума человеческого. Не иначе как господь-бог наслал их.

И Семен рассказал про свое путешествие в Балту и про свидание с тем, кого народ называет «преотул чел маре» *.

— Я тоже не верил. Без поста, без молитвы жил. А теперь... Суета это все, братья. Продал вот коней, фургон и отдал все богу. Сам пешком иду домой, попрощаюсь с женой, с детьми да и пойду, куда повелит мне дух божий Иннокентий.

— Ай-я! — вскрикнули оба.

---

* Великий пастырь (*молд.*)

— А зачем мне теперь все, если я познал бога?

— Что правда то правда, — заметил Мардарь.— Как-то раньше все бога забывали.

— Все мы такие, брат. Все дьяволу прямо в пасть лезем, а вот есть люди, что и о нас заботятся перед господом. Бог и сподобил их силы великой, неслыханной.

Семен еще раз пересказал виденные чудеса. Получалось что-то вроде длинной истории, в которой сказочные события переплелись в невероятных ситуациях. Сверхъестественной, преувеличенно большой казалась фигура чудотворца темному уму неграмотного Герасима.

— Мэй, Герасим,— как-то загадочно и сурово сказал вдруг Синика,— я, наверное, пойду. Прощайте.

Герасим остался с гостем. Долго еще светились у него окна.

Дома Синика никак не мог заснуть. Со дна наболевшей души поднималась надежда.

«А что если в самом деле он сможет помочь? А что если четвертый родится живым? Поверить и поехать к святому?»

Тесно кажется в хате Василию. Тесно и душно ему в мягкой постели. Словно тяжелый камень давит грудь рука жены, сжимает его шею словно петля. Зажег трубку и вышел вроде лошадей посмотреть, да и замешкался. Не опомнилась жена, как посветлело на дворе.

Наутро, только рассвело, запряг Синика коней, смазал фургон, набил торбу кормом для лошадей и поставил все это за поветью, а сам стал ждать, когда от Мардаря выйдет Семен. В голове его родился план, и он должен был его обязательно осуществить.

Наконец Бостанику вышел со двора Герасима. Синика догнал его на повозке.

— Бунэ диминяца! * — поздоровался он.

— Буна.

— Куда путь лежит?

— В Косоуцы.

— Далеко. Может, подвезу? Мне по дороге.

Семен Бостанику согласился, и они выехали на гору и понеслись вдоль дороги. Герасим провожал их вопросительным взглядом, пока они не исчезли в облаке пыли

---

* Доброе утро! (*молд.*)

С десяток верст отмахали они и не заметили. А как только жилье скрылось с глаз, Синика придержал коней и повернулся к Бостанику:

— Мэй, а скажи мне, ты умеешь слушать?

— Ай-я! Все, что говорят, ухо само слышит.

— Все или только то, что сверху?

— Все, что нужно. А что?

Синика помолчал, а потом сказал:

— Вот ты говорил, что сам чудеса видел... с той молодкой...

— Да, видел, сам тому свидетель.

— А кто творил те чудеса?

— Да святой же Иннокентий.

— Так... А Феодосий как же?

Семен Бостанику не понял намека Синики и снова рассказал все, что и накануне. А Синика слушал и, казалось, отыскивал во всем этом какой-то одному ему известный смысл. Но в рассказе Семена, пристрастном и длинном, он не находил подтверждения, зато убеждался в чем-то противоположном, и тут сама собой родилась мысль — это он. Он — и никто другой. Он, с кем Синика так неохотно встретился бы и при лучших обстоятельствах, не то что сейчас. Это убеждение росло в нем помимо воли и вызывало тревогу. Он стал осторожно, намеками расспрашивать об особе инока, и после каждого ответа его уверенность крепла. Он!

Семен почувствовал заинтересованность Синики и отвечал осторожнее, а когда Синика прямо задал вопрос — как это случилось, что он отдал лошадей,— Бостанику решительно умолк. Дальше расспрашивать было бесполезно. Увидев впереди село, Синика придержал лошадей.

— Вот и конец моей поездки,— сказал он Семену.— Дальше уж, наверное, пешком пойдешь один.

Когда въехали в село, Синика завернул к постоялому двору.

Село это, как и все молдавские села, располагалось в долине. Посреди села находилось волостное правление, а рядом с ним — заезжий двор низенького плюгавого дедка-корчмаря, осевшего здесь давным-давно. Возле корчмы всегда останавливались проезжие, в корчме собирались крестьяне. Здесь пили магарыч за про-

данный скот; здесь сдавали землю в аренду, вершили общественные дела; здесь и дочку выдавали или женили сына.

Синика выпряг коней, дал им свободу, а сам вошел в переполненную людьми корчму. Кто сидел за столом, кто пристроился в углу, а кто просто стоял посреди корчмы. Корчма гудела, как улей.

— А-а, пан Синика, здравия вам. Давненько уже о вас не слышно. Как жена, дети, как сами поживать изволите? — затараторил старый дедок-корчмарь.

— Ты вот что, старый, не тарахти, а слушай лучше.

— Если будет что, послушаю.

— Будет. Чего это люди здесь собрались в субботу? Что за сборище?

Корчмарь посмотрел на Синику так, будто тот спрашивал, почему светло, когда солнце светит.

— Что за люди здесь? Почему они не на поле, когда там через край работы? Что случилось в селе? — снова спросил Синика.

— Что случилось? Да разве я знаю, что у вас случилось? Я турок, мусульманин, должен знать, что случается у ваших попов?

Корчмарь Ибрагим — известный человек. Он-то лучше других все знает: кто волов должен продать и за сколько, у кого дочка на выданье и кто думает свататься, что в волости делают и думают, когда становой приедет собирать подушное, что поп будет говорить в следующее воскресенье в церкви. Весь он словно переполнен сведениями и всегда наготове, как какой-то приемный аппарат. В любое время у него можно узнать всякую новость. Нет того, чего бы он не знал, не сумел купить что-либо, если это кому-то нужно. Но и не было, кажется, во всей Бессарабии человека, который бы не знал Ибрагима, принявшего иудейство ради красавицы-жены Рейзи. Чего только не знал старый Ибрагим, но все его сообщения были так или иначе платные. Поэтому он хитро посмотрел на Синику и, усмехаясь, протянул:

— Пан Синика, очевидно, спрашивают, почему мужики сидят здесь, когда у них работы по горло?

— Да, Ибрагим. Дам тебе заработать, только не хитри. Ведь и сам говоришь, что в поле работа плачет?

— А разве нет? Конечно, плачет. Только и то, что

случилось в Балте, не часто бывает. Поле теперь может подождать.

— Что ж там, в Балте?

— Да что вы, пан Синика, никак с того света свалились! Да об этом вся Бессарабия знает. Там же объявился святой или пророк, вот и бесятся. Здесь дороги уже не видно — так идет народ в Балту. Гонят скот, везут добро, тянут за собой малышей, словно позади них огонь горит. Тут сейчас такое делается, такое делается, что, сколько живу, не видел еще.

— Что же тут делается?

— Как это что? Сбесился народ, я вам говорю. Потому у меня и в ристоранте полно ежедневно, как вот сейчас. Не ристорант, а ярмарка. И не выгонишь, не вытолкаешь... Так и сидят. Вы только послушайте, что они говорят.

— А что говорят?

— Что? А то, что теперь уже ничего никому не нужно. Сидит-сидит хозяин дома, а подговорит кто — пошел в Балту. Походил там день-два, вернулся — уже не тот. Ничто его больше не интересует, и все его хозяйство идет за бесценок. (Мне покоя нет от всяких предложений. Были б деньги, купил бы село.) Потом, продав все, детей разгоняет, одевает постолы* и странствует в Балту. Там отдает деньги и тогда уже ходит, побирается. А есть и такие, что в землю зарываются, как кроты, и поют там молитвы будто волки ночью воют, аж страшно.

— Но кто он — этот святой?

— Вы и этого не знаете? Чудак же вы!

В корчму вошел старый дед.

— Вот посмотрите-ка на этого дедка Мирона. Хозяин был работящий, честный, хороший, а теперь — нищий.

Дед стоял, задумавшись, и смотрел в землю. Он не слышал и не видел никого, а будто ушел в себя и прислушивался там к чему-то очень важному.

В корчме затихли.

— Послушайте сами,— шепнул Ибрагим Синике.

— Мирон, а чего ты стоишь? Может, рюмку глотнешь? — окликнул он дедка.

— Что-о? Кто сказал это? У кого язык повернулся

* Лапти из сыромятной кожи (*обл.*).

осквернить слово божье? Кто не видит знамения божьего и осмеливается сегодня пить? И так нас уже наказывает господь, а вы все-таки не каетесь? О-о-о, придет, придет на вас кара господня. Упадет огонь и пожрет всех вас до единого. Кайтесь! Кайтесь! Разуйтесь и идите босые за ним!..

Он повысил голос до крика.

— Эй, вы, дети диавола! Преотул чел маре, пэринцел* Иннокентий послал меня к вам с вестью о рае и спасении. Отрекайтесь от грехов и идите к нему. Бросайте дом, ибо он вам не нужен, бросайте жену, ибо она стелет вам путь к диаволу, бросайте детей, ибо дети — забота для головы и погибель для сердца. Готовьтесь к встрече с богом! — Он потряс в воздухе руками и упал на пол. И, уже лежа и вздрагивая всем телом, неистово выкрикивал какие-то дикие слова мольбы и проклятия.

Синика молча оглядывал толпу. Люди уныло смотрели на Мирона.

— Вот так всегда,— сказал корчмарь.— Как заведет — и пошло. Упадет и кричит. Но это еще ничего. Что в церкви делается — страшно сказать.

Аппетит пропал. Посиневшее лицо Мирона врезалось в сознание и неотступно стояло перед глазами Синики. Он с усилием спросил корчмаря:

— Но кто же он, этот святой?

— Да кто же — Иннокентий. Мужик из Косоуц, Иваном Левизором назывался. Говорят, в Одессе с шарманкой ходил...

Синика вскочил и опрометью бросился к лошадям. Корчмарь придержал его.

— Советую, пан Синика, сходить посмотреть на село. За лошадей не бойтесь, не украдут — некому.

— А что там?

— Там такое делается, что сколько моей седой голове лет — этакого не видел. Мироносицы ходят по улицам с чудотворной иконой.

Страх охватил Синику. Но он чувствовал, что должен до конца выяснить то, что леденило его сердце страшной догадкой — он или все же не он? Синика пошел в церковь.

Из-за угла слышался какой-то гул. Выглянув, Синика

* Великий пастырь, отец (*молд.*)

увидел тысячную толпу, запрудившую тесную улицу так плотно, что валились ограды. Люди были празднично одеты: на женщинах яркие вышитые одежды, на мужчинах черные свитки. Туча пыли стояла над головами. Первые шесть женщин несли образ богоматери, украшенный цветами и перевитыми полотенцами. Носилки застланы были дорогими коврами. Шесть других женщин шли с букетами цветов. На головах у них чернели запыленные платки. За ними следовали три растрепанные, взлохмаченные женщины, прикованные безумным взглядом к иконе. Впереди всех шли двенадцать девочек в возрасте до десяти лет. В руках у каждой были уборы к иконе. За ними — двенадцать мальчиков с пучками свечек в руках. А затем уже двигалась толпа крестьян, с выражением тупой покорности и ужаса в остекленевших глазах. Толпа остановилась у церкви. Испарения пота от скучившихся тел, казалось, туманили небо. Дышать было нечем.

— Слушайте, слушайте, слушайте все! — начала одна мироносица.— Сегодня ночью, когда я спала, снилось мне... снилось мне, что сама матерь божья заплакала... и я проснулась. А потом опять уснула и снова вижу...

Толпа уже не слушает. Она зашевелилась, как море перед грозной бурей. Эту сказку каждый знает уже наизусть. Никто не слушает ее, но только опять что-то сжимает горло и становится трудно глотать густую слюну. Одна мысль об участии к их судьбе божьей матери наполняет крестьянское темное сердце умилением, жжет острой тоской и болью; глаза зудят и мигают, а в горле жжет, перекатывается расплавленная масса. Грудь вздымается и... раздается дикое, страшное, неутешное рыдание.

Толпа еще плотнее сбивается вокруг чудотворной иконы. Задние нажимают. Волна вздымается и вдруг... прорвалось. Передние не устояли. Задние повалились на них, и перед белой церковью с острыми шпилями образовалась куча тел. Куча шевелилась, извивалась, ревела, металась, вскрикивая страшным, нечеловеческим воплем раздавленных людей. Воплем, которого сама смерть испугалась бы и убежала, потому что из той кучи вылезали окровавленные и изуродованные фигуры и метались по площади, вслепую бросаясь в разные стороны.

На колокольне взревел колокол. Взревел, как на пожар. Ударил в сердца ошалевших людей и завершил безумство. Толпа упала на колени и замерла. Старенький попик вышел что-то сказать, но его никто не слушал. Тысячная толпа ползала вокруг разбитой вдребезги иконы, подбирая кусочки, и дико, горестно, в отчаянии выла.

Ужас охватил Синику. Он стал серым от пыли и страха. Шапка сама свалилась с головы, и он словно прирос к земле.

А толпа гудела:

— Преотул чел маре! Ту ешть мынтуиторул ностру!*

И, едва переставляя ноги, Синика пошел к корчме.

Приближался вечер.

Кони вынесли Синику уже на гору. Он еще раз окинул взором место страшной драмы темного бессарабского села. И долго стоял, наблюдая ужасающее зрелище: многочисленная толпа громадным спрутом расползлась по площади и застыла. Замерло село. Только колокол неистово лизал языком медные края и бил, бил, бил удручающе-размеренно, подчиняя своей воле людскую стихию. Из его горла словно вылетали проклятия. Медные звуки неслись туда, за ограду, где засело страшное привидение, вспугнувшее этих мирных пахарей и виноделов, таких веселых, беззаботных и трудолюбивых.

Толпа молчала, а колокол все гудел. Гудел и наполнял страхом сердце. Глухо, протяжно выли собаки. Василий стоял и смотрел, пока сумерки не накрыли все это жуткое зрелище.

Грозовая молния вдруг алым языком огня опоясала одну хату. Где-то ударило, как из пушки, и загудело над землей страшным гулом. Запылала, как свеча, хата, полил дождь. Еще раз сверкнуло в небе, и Василий увидел, как спрут выпрямился, зашевелил гигантскими лапами. Вспыхнул второй дом, за ним еще. Целое море огня осветило дикую орду. Она отступала перед ним сюда, на гору, где стоял Василий. Он упал в телегу и стегнул лошадей...

Серые рванули на знакомую дорогу и помчались вихрем. А сзади, как морской прибой, рычал, горланил и гудел тысячелапый спрут из человеческих тел, на всё готовых во имя господа-бога.

---

* Великий пастырь! Ты наш спаситель! (*молд.*)

Удивлялась Настя, чего это вдруг старая Левизориха днюет и ночует у нее да ласковой притворяется.

«Ой, не надумала ли чего? Не подбирается ли ко мне с какой другой стороны, чтобы ужалить?»

И она принимала ласку старой Левизорихи, как горькое лекарство. А ту беспокоили свои заботы.

«Не подал ли сукин сын в суд по тем векселям? Чин чином, а судом может взять, проклятый».

Поджидала Бостанику из Балты, даже на дорогу выходила. А Насте угождала, как дочке. И мертвого ребенка приняла, когда уехал Семен, и о похоронах позаботилась, и даже два раза апельсины привозила из Сорок. Будто специально за ними ездила, а на самом деле — к «аблакату», все выспрашивала, можно ли от этого суда избавиться. А повыспросив, возвращалась еще более озабоченной.

Страшно старой. Из-за какого-то скопидома снова придется в долги лезть.

Между тем Бессарабия не умолкала. На всех дорогах и перекрестках слышен был людской гул. Имя Ивана не сходило с уст. Кто говорил, что он родился от девы непорочной, как Иисус, другие клялись, что сам батюшка, крестивший его, утверждал, будто светозарный ребенок этот еще на материнской груди слова молитвы произносил. А кто-то из стариков рассказал целую историю: двадцатилетний юноша Иннокентий пас скот вблизи монастыря. Вдруг ударил гром, и его обволокло светлое, лучезарное облако. А из облака того вышел дух божий и осиял его. С того времени и пошло. Кое-кто божился, что когда пэринцел Иннокентий выходил из балтской церкви, перед ним, не зримый для других, появился Иисус Христос и сказал:

— Иди за мной — и я прославлю тебя больше всех пророков.

А старый Коврига говорил, что в образе Иннокентия сошел на землю Илья-пророк, принявший вид молдаванина, чтобы спасти многострадальный молдавский люд.

Бурно росла его слава. Росло и умножалось число почитателей, все больше прославляя Левизоров род. Двери старой, еще дедовской, хаты не закрывались, а

калачам София не знала счета. Даже расцвела вся. Но дело с проклятым Бостанику угнетало ее.

— Через него и пропасть можно. Потащит в суд, ирод.

— Ноги он скорее протянет, чем нас в суд потянет,— грозно сверкал глазами Марк, четвертый сын Софии.— Сначала ребра переломаю.

— Тю на тебя, полоумный! Не слышишь разве, что меня богородицей величают, а ты людям ребра ломать собираешься да по острогам сидеть!

Левизориха даже губы облизала. Какие хлопоты с этим балбесом! А тут что ни день — больше посетителей. Зайдет бабуся, хлопнется лбом об пол да и:

— Радуйся, богородица, господь с тобой! Сподобил бог и меня, грешную, зреть пресветлое лицо твое, не осуди за смелость. Возьми, что бог дал, да вознеси к престолу божьему о душе моей молитву.

И так все село. Вся Бессарабия, по пути из Балты или по дороге туда, приходила вознести ей молитву.

Так гнула спину молдавская темнота и шапкой мела перед ней пол. Могла ли она допустить, чтобы все это погибло?

Однажды утром Марк пришел веселый.

— Семен возвратился, Бостанику. Говорят, босой пришел и лошадей в Балте оставил,— известил он.

Не выдержала София, накинула на плечи платок — и к дому Бостанику. Прилипла к стеклу. Смотрит: вахлак Семен перед кроватью больной жены ползает. Приложила ухо к окну, прислушалась.

— Ну что с тобой, Семенушка, голубь мой,— стонала Настя на кровати.— Где же это видано, чтобы такое хозяйство бросать...

— Прости меня, женушка верная. Слепой я был, а ныне прозрел. Глухой я был, а ныне услышал слово истины. Прости.

— Да бог свят с тобой! Я же не сержусь... Не ты первый с женой такое делаешь, все вы одинаковые, у всех кулаки пудовые. Мне слово доброе скажи — я и выздоровею.— И заплакала.

Семен, стоя на коленях, успокаивал ее. А как утихла немного, начал рассказывать про Балту. Левизориха слышала все. Видела, как расширялись глаза Насти, как ужас выползал откуда-то из-под накрытой коврами

скамьи и хватал своими когтями Настю за горло, сжимал его. И она тяжело-тяжело дышала. Вместе с дыханием вырвалось испуганное:

— Да что это ты, Семенушка? Кто же нас хозяевами назовет, если мы такое добро бросим! Ты же о детях забыл!

— Дети? Не наши это дети — божьи! Нет у меня детей. О них бог позаботится, так сказал пэринцел Иннокентий.

Больная Настя, не в силах более бороться с мужем, поставила на колени всю детвору — умолять отца не оставлять их без крова. Хор тоненьких голосов завыл в безграничной тоске, перепуганный словами матери, угрюмо-хищным видом отца. Крик поднялся в хате Семена. Рыдания детишек разбудили соседей. Даже Карпусь-калека, изуродованный в шахте, превозмог свою ненависть к Семену и вошел в хату.

— Ты что, бородатый, надумал? Не детей ли по миру пустить? Коли сам пойдешь — туда тебе и дорога. А детей пожалей,— угрюмо сказал он.

Семен не ощерился, как обычно, на нелюбимого соседа, а тихо ответил:

— Брат! Настал час суда божьего...

— Врешь, он только настанет скоро.

— Пришло время суда — и ни дом, ни жена, ни дети мне не нужны.

— А нужны тебе курвы монастырские, хлеб дармовой поповский, вот что тебе нужно! Ты эту ерунду брось!

И снова Семен не разгневался, как прежде, а только зло посмотрел на него и тихо сказал:

— Хватит. Иди, брат, домой.

Пораженные соседи слушали. А Семен говорил им:

— Пэринцел Иннокентий так сказал. Он наш — и обманывать не станет. Он дух божий, а не человек.

В хате уже дышать нечем. Люди молча слушали и тяжело клонили головы.

— Ох-хо-хо! Грехи наши тяжкие. Такое время! Такое время! Оно и взаправду, не по своему разуму человек поступает, что-то здесь не так... То обеими к себе греб, а вот теперь...

— К тому же мы маловеры... А сейчас во всех селах такое. Со всех щелей лезут, как муравьи.

— Вот и у нас Корик продал все, жену бросил на произвол судьбы и ушел. Говорят, уже в монастыре душу спасает.

— Да и не один Корик. Николу Дадула знали? Последнее понес. Все со двора вымел, только пепелище осталось.

Десятки людей, близких, далеких, ежедневно виденных... Все они уже ушли из села в город, где пэринцел Иннокентий лечит души. Много хозяйств превратилось в пустырь или перешло в руки богачей.

София тоже вошла в комнату и, сложив руки, поздоровалась:

— Добрый вечер, Семен!

— Радуйся, богородица, господь с тобой! — упав на колени, простонал Семен. — Прости, пресветлая, что обидел тебя. Теперь только дал свет моим глазам сын твой, и видят они. Прости и прими дар от меня, что имею.

Семен достал из сундука коралловое ожерелье, которым «трижды вокруг шеи обвить можно», и одел его ей. Левизориха сладенько бросила:

— Бог простит, сын мой. Прости и меня и прими ласково долг наш.

— Не нужен мне, матушка, долг, не о долгах голова моя думает. А если хочешь возвратить, то обрати его на дела божьи, а векселя твои — вот.

Белые бумажные бабочки посыпались на пол. Левизориха даже губу прикусила, чтобы не вскрикнуть от радости. Эта сцена всколыхнула толпу.

— Да говори, что там? Или тебе уже свет не мил, что прощаешься со всеми?

Семен выпрямился.

— Братья, выйдем во двор, чтобы больше людей меня услышало. О том, что я видел там, нужно рассказать всему свету, по всем околицам, ибо это есть свет божий, его святой голос.

И вот уже Семен Бостанику рассказывает про Иннокентия и славит его имя.

Впереди толпы сидит на корточках Кондрат Малагуша. Он обхватил обеими руками посошок, опустил между рук кудлатую голову и немо, неподвижно сидит против Семена. Он — весь внимание, весь слух и чуткость к словам Семена.

Всем своим сердцем, всеми помыслами, костистым худощавым телом пьет Кондрат терпкие слова Семена, в которых видит единственный выход, спасение.

«Спасение! Спасение! Спасение!» — кричало, ликовало все в Кондрате. Каждая клеточка его утомленного, отяжелевшего мозга повторяла: спасение! Спасение дает пэринцел Иннокентий. Он освобождает от жестокого и ненасытного урядника, от непосильного труда на истощенном каменистом лоскутке поля, где и кукуруза — единственная пища Кондрата — вырастает рахитичным, бесплодным стеблем.

Кондрат щупает огромный отвисший зоб и тяжело ворочает мыслями. Он пытается откопать в пережитом хотя бы одно утешительное воспоминание. Но тщетно. Перед ним желтым выгоревшим пустырем простерлась его несуразная жизнь.

Подростком пас скот у Гицеску. Старый помещик сам объезжал свои отары, стегал арапником за каждую заболевшую овцу, а за каждую сдохшую удерживал из заработка чабанов. С трудом вспоминает его теперь Кондрат. Помнит только страшные усы, громовой голос и сизый нос.

Юность не ярче детства. Она как в тумане проплывает перед ним и теряется где-то между копнами чужого хлеба и табунами чужого скота. Только один эпизод прошлого запомнился ему навсегда — страшное издевательство в императорских казармах. Он видит это издевательство как сейчас — от насмешливого хохота в приемной комиссии воинского начальника, жестокого фельдфебеля 167-го Острожского полка, где Кондрат отбывал службу, вплоть до унизительного пребывания в дисциплинарном батальоне за то, что не выполнил приказа командира полка, так как... не понимал его языка. Освоил его лишь здесь, в дисциплинарном батальоне, под кулаком наглого унтера. Он и до сих пор не знает ни того, за что терпел пять лет пытки, ни того, почему избавился от них в какой-то большой праздник. Помнит только, как читали в тот день какую-то царскую бумагу — манифест — и сказали, что в той бумаге ымпэрат* повелел его освободить.

Кондрат вздыхает, щупает зоб и медленно плетется

* Царь (*молд.*)

дальше пустырем воспоминаний. На мгновение задерживается на приятном: свадьбе с Марикой. Ей дали в приданое полторы десятины поля, корову и пару ягнят. Она была единственной у своего отца. Но благоденствие продолжалось недолго: его нарушил сельский примарь, когда тесть оформлял приданое. Он напомнил Кондрату о казарме и жестко сказал:

— Ты, Кондрат, земли иметь не можешь, ибо ты лишен прав. Ты перед ымпэратом провинился.

Примарь не переписал землю, и она осталась за женой. И корова, и ягнята, и полуразрушенная хата — все это наследство Марики.

Годы бежали, как дождевая вода. Кондрат отмечал их только праздниками — рождеством и пасхой. Пройдут эти праздники, значит год пролетел. Он любил свои полторы десятины, свою коровенку, пару ягнят. От рождества до пасхи и от пасхи до рождества он ими жил. И вместе с ними любил он свою работящую жену Марику, детей.

Мысли о них захлестнули Кондрата. Его Марика...

Но что он знает о ней? Только то, как работала она на земле, возле скотины, возле детей. Нет, не знал он своей Марики! Он узнал ее только тогда, когда она топором размозжила голову уряднику, уводившему корову за неуплаченные налоги. Этот урядник пришел, прочитал какую-то бумажку и сказал, что ымпэрат велел забрать у них корову.

Марика плакала, как по отцу. Она умоляла передать ымпэрату, что отработает ему: глины наносит хату мазать, или перекопает виноградник, или маслом отдаст, когда корова отелится. Но урядник только хохотал, как сумасшедший. А потом накинул веревку и увел корову. Тогда Марика прокляла ымпэрата и ударила урядника изо всей силы топором по голове. Она бы и ымпэрата так стукнула, да только кто знает — где он есть.

Это было в прошлом году. Забрали Марику. Забрали и корову с овцами. Оставили только детей да старую хату, бабкино наследство. И теперь...

Но что может сказать Кондрат о теперешней своей жизни? Что он может сказать, если за год не сумел заработать кукурузы для себя и своих детей и даже не знал, где похоронили Марику?

Кондрат ничего не может сказать. Он знает только: нет ему дальше дороги, перед ним пустыня, еще более черная и безнадежная, чем позади. Не переживет он эту зиму, протянет ноги где-то под забором.

И Кондрат хочет одного — спасения. Спасения и выхода из этого мрака, из этой безнадежности.

Кондрат слушает Семена Бостанику. Он уловил в его рассказе главное — есть выход. Уловил и прислушивается, как растет в нем отвага, решимость.

«Пойду к нему. Он молдаванин, из мужиков. Он сильный и знает, что мне делать».

Медленно встал и не торопясь пошел к своей хате. Накинул веревку-повод на единственную в хозяйстве телочку, разбудил детей, взял меньшого на руки и снова поплелся к толпе. Протискался к Семену и бросил ему конец веревки:

— На, отдашь в жертву. Сам не доведу...

Повернулся и тихо пошел с детьми. Потом остановился, обернулся и чужим голосом бросил:

— Люди добрые, хатой распорядитесь, как хотите. Я поищу хаты у бога... Я спрошу его, где и как жить молдаванину. Пойду к пэринцелу Иннокентию.

Повернулся и скрылся в темноте. Толпа уныло смотрела ему вслед.

— Кондрат узрел бога,— торжественно сказал Семен и перекрестился. За ним перекрестились все остальные и, движимые какой-то неведомой силой, разбрелись по домам.

А немного спустя у Левизоров во дворе зашумела толпа, заревел скот, загремели возы. Со всех концов, по примеру Кондрата, двинулись богомольцы, сносили дары богу в его новый Вифлеем — старой Левизорихе.

Под вечер большая группа крестьян, ведомая братом Иннокентия Семеном, двинулась с молитвами в Балту к обители «добра и покоя». Туча повисла над табором людей, навеки покидавших свои насиженные гнезда в поисках обетованного рая.

Так было тогда во всех селах Бессарабии, задыхавшейся в тисках эксплуатации и гнета. Так искал себе хоть какую-нибудь отдушину молдавский бедняк, у которого уже не было сил жить под властью страшного самодержца. Так начиналось массовое паломничество

молдаван, бегство из Бессарабии, из ада в «рай», в лоно религиозного дурмана.

Опустели поля, виноградники. Затужили сады по хозяевам, нищета паутиной оплела тысячи жилищ, а в сотнях других хат веселились пауки-богачи, набившие свою мошну за счет «переселившихся к богу».

11

Куда уехал Синика, никто не знал. Такой уж порядок завел он у себя в доме: если что задумал — только он один и ведал. Даже Домаха, его кареокая жена, не должна знать. Так и теперь. Нежно, но молча поцеловал ее и вышел. А поцелуй долгий, теплый, мягкий. Видать, что-то важное задумал. Вышел и больше не возвращался. Слышала, как затарахтела коляска по двору, заржали кони. А куда, зачем полетел ее Василек, того не знала.

Поглядела в окно — пыль закрыла дорогу. Но что это: пыль или туман застлал ей глаза? Защекотало в горле, и горячие слезы полились по румяным ее щекам. Долго в слезах стояла Домаха, до тех пор пока не вошла Варвара-батрачка.

— Что вы, хозяйка, плачете? Не за смертью же поехал. Только сердце сушите, он ведь у вас — дай бог каждой женщине. А что по натуре такой молчаливый, это ничего. У таких сердце больше говорит.

— Эх, Варвара, не всегда услышишь сердце, если уста льдом скованы. Когда молчит с тобой твой друг, а тебе побаловаться, повеселиться так хочется, что аж земля под тобой ходором ходит, когда знаешь, что мало радости выпало тебе в молодости,— то сердце и не услышишь, бывает. А впрочем... Сходи-ка ты к Мардарю да позови его ко мне. Скажи, что срочно нужен.

Снова прильнула к окну. Всмотрелась в синий день, шаловливо игравший травой и хлебом. Ветерок то тихо гладил зеленую шевелюру степи, то вихрил ее, лохматил, то опять любовно разглаживал и причесывал. День все более и более становился хмурым. Откуда-то из оврагов поднялись туманы и заволокли, затянули степь серой пеленой. Домаха села на лавку, задумалась.

— Добрый день, соседка! Иль беда какая стряслась, что так срочно понадобился? — сказал, входя, Герасим.

— Не знаю, сосед. Кажется, беда, как кот к мыши, подкралась ко мне. Сердце чего-то болит. Да что ж я... Садитесь.

Герасим сел, а самому не терпелось узнать, куда умчался Синика.

Домаха молчит, только нижняя губа никак почему-то не сходится с верхней. Словно что-то ее отодвигает мелкими, частыми толчками.

Мардарь молча смотрел на Домаху.

Она тихо пожаловалась:

— Горе-беда...

— Ай-я! Что ж такое, помилуй нас господь? Или случилось что в доме?

— Пропал Василий. Уехал, а куда — только он один знает. Ни слова не сказал... уехал.

— Куда же это так срочно?

— Так не знаю, сосед, вас же хотела спросить об этом. Вы ж там вчера беседовали, может, вам сказал, если жене не удосужился...

— Неужели так ничего и не сказал?

— Эх, сосед, не только, видно, мне, но и самому господу не сказал бы, если б он его спросил. Вот уже четыре года живем, а я до сих пор не знаю, где он был раньше, откуда пришел... И грустит, все грустит и хмурится, как осенний день.

— Дети вам нужны, моя хорошая, вот что. Будут дети — все переменится. Детей нужно тебе...

Герасим привык иметь дело с землей, с батраками и скотом. Откуда же ему знать, как обращаться с человеческим сердцем, которое точит неугомонный червь? А он точит, не унимаясь, ни на минуту не переставая. И, видно, источил уже сердце до конца, только оболочка осталась. Разве знает Герасим, как подступиться к нему, как обращаться с ним, чтобы не поранить? Нет, не знает этого Герасим, потому и сразил неосторожным словом больное сердце Домахи. Кольнуло, словно иголкой, его при одном слове — «дети».

— Где же, сосед, взять детей? Где взять, если бог не дает? За четыре года трое родилось... и мертвые все. Да если б я только могла...

Герасим привык иметь дело с землей, с батраками и скотом. Герасим управляется с ними, как настоящий хозяин. Никто в селе так не управится. Но откуда ж Герасиму знать, как подойти к женскому горю, к больному, израненному сердцу? Не научил его отец, когда умирал. Все передал ему: землю, батраков, скот. Только не дал умения обращаться с людским сердцем. Поэтому и сидит Герасим, беспомощно моргает глазами и губами шевелит. Да та́к, будто у него что-то горькое во рту. Даже сам себе удивляется. И вместо того, чтобы утешить молодку, рассказал вдруг ей, как приходил к нему Василий и жаловался на свою судьбу. Рассказал и про последнюю беседу, и про то, с кем уехал Василий.

Только поздно вечером ушел Герасим. Дома поведал жене про беду молодой соседки. А у самого глаза, как два светлых пятна на заросшем лице, искрились глубокой удовлетворенностью.

— Нас, слава богу, не обошла судьба. Есть кому и хозяйство оставить, есть и утеха.

Прошел день, за ним — второй, прошла и неделя, а Василия все нет. Две недели смотрела Домаха в окно на дорогу — нет и не слышно. И оправилась уж совсем, и по хозяйству хлопотала, а Василий не возвращался. Без него и жатву начали, и в копны сложили... Дивилась околица: что это произошло с богачом Синикой, что на произвол судьбы бросил поле? Уже и жатва на исходе — а его нет. Сама жена со всем управляется. Три недели прошло, а он словно в воду канул. Домаха без него свезла снопы, начала молотить.

Три недели прошло. На четвертую изнемогла молодка, затужила не на шутку. Ни ночью, ни днем не становилось ей легче, все сердце ныло. Сядет у стола, на носок ботинка уставится и не моргнет часами. Такой и застал ее Герасим, когда зашел поговорить о молотильщиках.

— Пора бы вам утешиться. Ведь не в могилу идете. А с мужем еще нарадуетесь. Еще успеете.

«Успеете». И он, Герасим, может это говорить, когда ноги горят огнем, палящим жаром, а внутри холодно. Разве может Герасим знать, как холодно Домахе в жаркую летнюю ночь? Откуда-то со дна сердца подступали рыдания.

Герасим сел рядом с ней и взял за руку.

Он умеет обращаться с лошадьми, батраками и землею. Его руки остановят самых резвых коней из любой конюшни. Но разве может знать Герасим, что делается с руками одинокой женщины, когда они почувствовали жар мужской крови в напряженных, крепких, как бич, жилах? Разве Герасим учился угадывать, что происходит в душе молодой женщины, которая всем сердцем, всем существом ощутила брожение горячей крови, твердость стальных мускулов и радость ночей? Герасим привык иметь дело с лошадьми, волами и батраками... И потому он поднялся и пошел к порогу.

— Идете, сосед?

Герасим остановился.

— Иду. Дети нужны вам, Домаха, вот что...— Он словно нашел вдруг что-то. Подошел к ней и радостно сказал:

— А почему бы не пойти вам к нему в Балту? Может, и вымолит он вам ребенка?

— Василий не пустит, не любит он их.

— А вы уговорите. Я помогу, жена. Так сообща и уломаем. А? А там, бог даст, и поможет.

Герасим говорил это торопливо и сам удивлялся скованности своего голоса. Что-то будила в нем Домаха, но он не поддавался этому и бежал от себя. Даже не попрощавшись, вышел из хаты и, широко ступая, заспешил к своей Липе. Домаха тоскливо вздохнула и упала на постель. Ее больно ранили слова Герасима о детях, которых она с Василием не может иметь. А еще ранила его нечуткость. И, рыдая, Домаха думала обо всем этом. Думала и постепенно убеждалась, что она пойдет, пойдет наперекор воле Василия. Он и не должен об этом знать.

12

Давно уже спит Балта. Спит и обитель святого Феодосия. Только в крайней от сада келье мигает огонек. То отец Кондрат беседует с отцом Устимом. Разговор неприятный, резкий, но неизбежный, и отец Кондрат должен довести его до конца.

Отец Кондрат пристально смотрит в подслеповатые глаза отца Устима, словно хочет отгадать какую-то за-

таенную его мысль, скрытое намерение. Он будто пронизывает его своим взглядом, желая проникнуть в самое сердце и обследовать все его уголки; не спрятал ли там отец Устим чего в самых дальних тайниках, не держит ли чего-нибудь в секрете даже от него, давнего приятеля еще по дисциплинарному батальону, где они вместе отбывали наказание.

Отцу Кондрату трудно разговаривать с давним приятелем, гнетет душу стыд и жалость, досада на то, что он должен тайком допрашивать своего побратима. Но он хорошо помнит приказ — следить за врагами святой обители отца Иннокентия, обещавшего установить рай на земле молдавской, свергнуть жестокую власть страшного ымпэрата и облегчить страдания замученной молдавской бедноты. А этого всем сердцем, всеми помыслами жаждет и Кондрат. Он хотел бы хоть раз вздохнуть свободно, во всю грудь, хоть раз твердо пройтись по земле широко, уверенно ступая и открыто посмотреть в глаза каждому, даже своему примарю.* Этого давно хочет отец Кондрат, и желание его непреклонно, неугасимо. Ради него он и пришел сюда из Косоуц, бросив дом, оставив без крова детей, которых привел с собой; ради этого стал послушником у пэринцела Иннокентия. Не шутки ради пошел он, о нет! Об этом свидетельствуют бессонные ночи в его келье. Отец Кондрат глубоко, всем сердцем, всеми помыслами поверил в него, в его святые дела, в ласковые слова, в чистоту и искренность его намерений.

Как мог не поверить ему Кондрат Малагуша, если впервые в жизни почувствовал ласку и участие к своей несчастной судьбе — впервые в жизни, да, впервые!

Потому и усмиряет отец Кондрат в себе жалость и стыд за притворство перед приятелем Устимом, потому и стремится вызвать в сердце своем злобу и ненависть за его неверие в Иннокентия. И вот сейчас ему уже не жаль Устима, который должен дорого заплатить за свое безбожие. Отец Кондрат испытывает страстное желание докопаться до самой глубины его намерений и зло, жестоко отомстить за них. Ибо его неверие отец Кондрат рассматривает как покушение на себя, в нем видит он презрение к себе; чудятся ему в Устиме при-

* Сельский староста (*молд.*)

марь и урядник, все ненавистные порядки ымпэрата, которые так донимали его еще в селе. Он готов броситься на Устима, схватить за горло и перегрызть, выпустив из него кровь, как вино из этого бочонка.

Отец Кондрат с силой ставит на стол щербатый кувшин и испепеляющим взглядом смотрит на Устима. Он вдруг решает попытаться еще раз обратить друга на праведный путь, чтобы пойти с ним, со старым товарищем по каторге дисциплинарного батальона, по пути спасения таких же, как они. И он снова ласково и приветливо говорит:

— Отче Устим, друг мой, ты бы подумал об этом своей головой, а не чужой...

— Нечего думать. Босякам, шарманщикам пятки лизать не буду.

— А я тебе говорю — нужно. Нужно, ибо он в силу входит, а мы — возле него. Слышишь? С ним дружит наш викарный, начальство всякое. А когда он с высшим начальством поладит, а мы за ним встанем, тогда...

Отец Кондрат ласково поглаживает колено Устима, он всем существом своим желает, чтобы тот понял его искреннее расположение и был с ним. Но Устим не слушает.

— Эх, сто чертей его матери! С начальством драться, а не мириться нужно, потому что ворон ворону глаз не выклюет. Не будет этого. Я до синода дойду, но такое ему устрою, что и небо в овчинку покажется. Этот-то похуже других.

Отец Кондрат поднял брови, и из-под них глянули два горячих уголька. Засопел тяжело, голова, как чугун на колу, закачалась в обе стороны. Жалость и одновременно злоба терзали его сердце. Внушительно, с ударением ответил Устиму:

— А я говорю тебе, глупое ты чучело, что он нам добра желает. Нас спасает, нашу с тобой нищету. Праведный человек вступился за нас перед богом и ымпэратом, а мы, как овцы, от него во все стороны. А нам бы слушать да покоряться своему человеку, подчиняться ему.

— А... к черту! Завтра же пойду к стражнику, и закуют его, голубчика, да в Сибирь, в Сибирь... к чертовой матери!

Устим осушил одним духом кувшин вина и так

стукнул им по столу, что он треснул. Кондрат, тяжело глядя на него, чувствовал, как со дна души поднимаются злоба и ярость и побеждают сочувствие.

— Глупый старый болван! Кого ты в Сибирь пошлешь? Иннокентия? Его, да? А ты видел, какая сила народа за ним стоит? Видел, как весь наш край молится на него, ибо он добро творит? Видел? Ты думаешь, что ты самый умный? На это святое дело нужно всем идти, всем...

Ему не хватало слов высказать, как сильно он желает, чтобы вот сейчас все — старые, молодые, малые — пошли за Иннокентием против ненавистных порядков ымпэрата. Кондрат злобно ерзал по скамье, не в силах выразить, что думал. А Устим холодно смотрел на него, и усмешка кривила его губы.

— Эх ты, старый друг! И ты, и я, и все мы — мужичье неумное. Если б умными были, не допустили бы такого. Ты спрашиваешь меня, видел ли я его силу? Видел. А знаешь ли ты, откуда она? Нет, не знаешь. Так слушай, я скажу тебе. Его сила от нашего бессилия, от нашей темноты, от нашего ничтожества. Ты погляди вокруг себя, дурак! Соломония — раз. Ты думаешь, где это она ходит месяцами, а потом возвращается к нему на ночевку. Да она же всю Бессарабию обошла, целыми мешками его святой лик разносила да благость его святого духа возвещала по селам. Это что — божье? Нет! Выходит, это не его сила, а наша. А преподобная Хима не дразнила в селах собак, собирая на храм Иннокентия? Да она вон уже целые села поднимает в этот твой рай, и все за то, что он с ней спит хорошо. Всю ночь напролет мнет. И это божье? А Лукерия та, Орочаева, что пришла причаститься святого духа у него в келье, разве не трясет задницей по всей Подолии да не рассказывает, что на землю сошел святой дух в образе Иннокентия, и она первая, изведавшая чудо, встала с постели от тяжелой болезни в один день? А разве она болела? А Килина, что в селе Незавертайловке ребенка с кем-то прижила и в колодец бросила! Не потому ли Иннокентий от тюрьмы ее спас, чтобы она о нем благовестила? А Степанида Шпилева — та, что недавно только на святой его алтарь подол свой принесла из Липецкого,— вот уже тысячами деньги ему носит. И это божье? А ты здесь сидишь, как в собачий колтун

сбитый, и рычишь на всех. Да что там! И это ж только мироносицы, каждая из которых трех чертей стоит. А ты видал, что творилось, когда его мать, богородица София, сюда приехала с его братьями? Видал, какой кабак и торжище в церкви устроили? А то, что у них бывает исправник и викарный епископ Амвросий ей первой в церкви просфору подает, не жене исправника или пристава, а матери Софии... Это все не божье, это деньги — те, что на храм собирают. Понимаешь? В чем же тогда сила его без нас?

Отец Кондрат, зеленея, слушал. А Устим не унимался.

— Так смотри же, пока у тебя глаза не вылезли, да не прись с дурной головой в советчики, потому что достанется она чертям на студень.

Отец Кондрат не спеша налил себе в кувшин, а Устим продолжал:

— Так что молчи, дурак, да пей, пока дают, а не учи. Я это все вижу и понимаю. Смотрю — и болит у меня вот здесь,— показал он на грудь,— ведь кровь нашу пьют. Ею богатеют. И там, в миру, и здесь, в монастыре, и, видно, там, на небе.

Отец Устим будто достал откуда-то большое полотно и развернул его. Перед его подслеповатыми глазами блеснул первый мазок ужасных красок. Заблестел богато, пестро, но жутко. А он все разворачивал и разворачивал полотно с диковинными рисунками.

— Ты вот смотри: мы сидим здесь, и нам ничего не видно. А ты обратил внимание, что целые вереницы движутся в наш монастырь? Ты поспрошай, откуда те люди, что с утра и до вечера подходят и подъезжают. Из-под Оргеева, Сорок, Аккермана, Измаила, из-под Кишинева, Бендер, Галаца, даже с Прута, Дуная, Буга, Днепра. Идут, и идут, и идут... Старые, малые, калеки, здоровые... И каждый из них — как смерть, как с креста снятый, потому что сотни верст пешком прошел, чтобы увидеть его, святого духа. И продают все, продают, браток. Продают хаты, лошадей, волов, виноградники. Покидают жен, мужей, детей, жилища, бросают хозяйство, свои гнезда, родительские могилы, и все к нему несут. Ты видел, как целые горы золота, серебра вырастают перед иконами, как нищенка кладет последний выпрошенный грош на его святое дело, как убогий

несет свою котомку святому духу Иннокентию, на могилу Феодосия святого? Ты заметил, что казначей наш уже новую кладовую строит, а у преосвященного Амвросия новая карета и четверки серых и вороных на станции стоят? Ты все это видел, спрашиваю? Не видел? Так пойди посмотри. Выйди на дорогу, стань и послушай. Пройдись селами, где только горе со времен дедовских проходило, да посмотри, какой пустырь простерся, как рушатся хозяйства, расползаются, как гнилая тыква у вола под копытом. И все это он. Его именем все разрушается и гибнет, чтобы поднимался он, Иннокентий, да так высоко, что у нас с тобой и клобук свалится, если мы посмотрим! И это божье? Божье, я тебя спрашиваю? Отче, клобук свалится, если мы посмотрим!

Он даже побледнел от этой страшной, им самим нарисованной картины.

— О-о-о, что только делается! Что делается!!! Бедные, бедные, наши люди! Ищут рая, живя в аду, но только не знают, где его найти. И ползут, текут, как вода, по течению. А рай тот не здесь. Я уже понял, друг мой Кондрат, понял... Рай не здесь.

Он даже забегал по келье.

— Да какой рай? — крикнул вдруг отец Кондрат.

Устим остановился.

— Рай? Небесного рая ищут от земного лиха. Молдаване его ищут, вся Бессарабия.

— Отче Устим, на стражу зовет Гапон, — крикнул кто-то под дверью.

Устим поднялся.

— Ну, старый, подумай об этом. О себе подумай.

Тяжелой полупьяной поступью направился к порогу. Щеколда легко подалась, и черная пасть двери поглотила Устима. Что-то черное сразу упало ему на голову и схватило за горло. Зубы зажали какую-то ткань, и дюжий Устим провалился в пропасть.

Отец Кондрат хищно облизнулся. Он чувствовал в сердце только ненависть к Устиму, ставшему ему на пути к спасению.

Свет мигнул и погас. В опустевшей келье отца Кондрата остался один выщербленный кувшин с недопитым вином. А окна жутко глядели на дорогу своими черными дырами.

13

Станислав Эдуардович Масловский сегодня нервничает. Не сидится ему в мягком кресле. То присядет, вроде ноги вдруг заболят, то опять вскочит и меряет шагами просторный кабинет. Преосвященный архипастырь иронически усмехается и следит за ним глазами.

— Не мешало б вам сесть, Станислав Эдуардович. Вы так много ходите, что у меня даже в глазах рябит. Если б шли все время прямо, то, наверное, уже на Сахалине были б. И не понимаю, зачем вам нужно так истязать себя? Ей-ей, дело не стоит того. К тому же речь идет о церкви, а администрация...

— Отец Амвросий, кажется, я засвидетельствовал вам свое уважение, и оно больше не требует доказательств. Вы и сами не станете этого отрицать, уважаемый отец. Однако... нужно меру знать. Это же черт знает что, а не святость. Вы только посмотрите: за какие-нибудь год-два ваша обитель разрослась в целое местечко. Народ шляется, как на ярмарке, всегда полно лошадей, волов, телег и всякой нечисти, так что и пройти невозможно. Но и это бы еще ничего. Ну, ездят молиться — пусть ездят. Но в капище храм нельзя превращать! Вы простите меня, но у вас не монастырь, а притон! Извините за откровенность, ваш святой инок чуть ли не со всей Бессарабией живет, не говоря уже о его персональном гареме, о его свите одалисок, которые иногда выскакивают на улицу почти голые. Здесь уж, отец, моя обязанность общественный порядок поддерживать. Понимаете? А то так, чего доброго, можно дойти и до красного фонаря на воротах вместо иконы святого Феодосия.

Отец Амвросий поморщился.

— Ну, это уж слишком, Станислав Эдуардович, слишком. Вы чересчур суровы в приговоре. Ну, я согласен, что кое-кого нужно утихомирить, но... красный фонарь — это уже личное оскорбление. Слово чести, я не заслуживаю подобного, как хотите.

— Дело не в словах. Или возьмите вы ваш странноприимный. Да это же самое страшное, что когда-либо случалось видеть человечеству. Я уж не говорю о том беззастенчивом жульничестве, которое позволяет

себе этот тип. Но сами методы, формы «лечения» — чего они стоят! От такой бесстыдной, такой преступно-авантюристической карьеры отрекся бы последний головорез с каторги.

— Вы, дорогой мой, склонны преувеличивать. Ничего там страшного нет, в этом странноприимном доме. Дом, как и во всех монастырях дома. Только несколько... оригинальнее, что ли. И все.

— Отче, не в жмурки ли мы играем? Или вы меня шутом считаете? — раздраженно проговорил Станислав Эдуардович, почувствовав иронию в словах викарного.

Вскочил резко и... даже сам застыдился: получалось несколько невежливо.

— Простите, отче, меня за горячность. Но это уже переходит все границы. Вы только посмотрите: сотни темных, забитых людей сбывают последнее, идут к нему. Ну, я согласен, что нужно жить. Нужно. Но и меру же надо знать! А то, вы только взгляните: сумасшедшие, сифилитики, чесоточные, эпилептики, калеки, слепые, кривые, косоглазые — все так и прутся к нему. А он гонит весь этот скот голышом в одну купель, поит из одной кружки, кладет спать всех вместе... и, простите, но это неслыханное преступление — ведь он распространяет все эти болезни, передавая сотням здоровых людей сифилис, чесотку да и саму эпилепсию. Ведь массовый психоз — это результат... рез...

— Не трудитесь, знаю. Знаю, что говорят, нашептывают враги церкви: «Там и здоровый с ума сойти может, там и вполне нормальные становятся эпилептиками». Но, милый мой Станислав Эдуардович, позвольте вас заверить, что все это преувеличено. Ну ходят, ну едут, ну ползут. Так что же? Что делать прикажете с высоты своего административного поста? Не пускать?

— Не пускать — поздно....

— Поздно? Да. Поздно, дорогой мой администратор. Этот проклятый мужлан если и авантюрист, то авантюрист высшего сорта, и нам вмешиваться в это дело не следует, пока нас не заставят. Мы тогда как-нибудь вывернемся... потому что мы же сами и допустили. Да, да, и вы, и я, и все мы. Разве не так? На наших же глазах все это начиналось, а мы носили букеты дамам в салоны. Так ведь? Так. А теперь, скажем откровенно, мужик сел нам на голову, а мы и пикнуть не смеем,

ибо у него все козыри. Поэтому шумиха здесь не нужна, любезный мой Станислав Эдуардович. Будемте умнее и давайте несколько рассудительнее относиться ко всему. Так лучше для здоровья... Кстати, как оно у вас? Как чувствует себя уважаемая Мария Карловна? Как детишки?

— Ничего, благодарю...

— Не жалеете вы себя, нервничаете, все рвение проявляете. Это хорошо. Но и о себе позаботиться нужно...

Отец Амвросий помолчал и любезно спросил:

— А серьезно, Станислав Эдуардович, почему бы вам не подлечить нервы в Крыму? А? Кстати, у меня там вилла есть, над самым морем. Серьезно. А я этим летом туда не еду, рад был бы услужить вам. Здесь, если случится что, я уж досмотрю... вызову вас, если что...

— А что может произойти?

Отец Амвросий загадочно улыбнулся.

— Все может быть... Комиссия какая или из синода кто-нибудь... Знаете, над нами ведь тоже есть старшие... Но, заверяю вас, беспокоиться вам не придется. Езжайте, дорогой мой, отдохните, поживите без хлопот. А? И Марии Карловне, и деткам приятное сделаете.

— Я бы не прочь... Вы правы, отдохнуть нужно.

— Вот то-то же,— улыбнулся князь церкви. И нажал на звонок.

— Мавра, принесите нам холодненького винца. От жары изнываю. А вы как? Не откажетесь?

— Охотно, буду рад выпить в компании с вами.

14

Подступиться к Иннокентию невозможно. Не принимает святой отец. Говорят, наложил на себя вериги и молится, вымаливает на убогую Молдавию благость господню. Говорят, не ест уже сороковой день и все слезы льет за свой народ, так сильно согрешивший перед богом. Говорят, что даже матери своей отказывает в свидании, и грустит богородица София. Грустная, но милостивая, раздает она слезы его святые, пролитые перед богом во спасение грешников. А он по-прежнему

не выходит. Только самые приближенные могут пройти через все десять комнат, предшествующих его покоям.

Закрыты покои святого. Лишь пресвятым мироносицам дозволено переступать порог, готовить к молитвам его пречистое тело. Да и тем указан вход с другой стороны, из помещения, где они спят, уповая после молитв на его благость. А без разрешения только дежурная входит.

Загрустил и сам святой муж. Тоскливо ему: земными грехами душа томится. И тихо, словно четки, перебирает тяжелые косы Соломонии, накручивает их на палец.

— И все ж, Соломония, без тебя как-то скучно мне. Хоть и много вас здесь, а нет тебя — и душа неспокойна.

— Неспокойна? А чего ж это Катинка тебе так часто купель готовит и миром тело умащивает? И Хима — та чаще меня ходит. Разве я не знаю?

— Ты, Соломония, не понимаешь великой заповеди господа, которую я соблюдаю. Ведь усмирять плоть людскую — дело трудное. А каждая невеста Христова — как со мной переспит — принимает дух мой на себя и от грехов избавляется.

— Мэй, Ваня! Расскажи кому другому. Я-то уж твой «дух» знаю. Знаю, чем и как отпускаешь грехи «грешницам». Да разве так святой поступает, как ты? Где еще увидишь среди святых такого лакомку, как ты? И разве у святых в кельях нарисована такая гадость, как у тебя? А к лицу ли святым входить голым в купель перед женщинами и чтобы они его тело миром мазали? В этом, мэй, твоя святость? Ты, Ваня, брось эти штуки, говори со мной как раньше, когда мы с тобой хорошо жили. Да вспомни, как ходили мы этими ногами, отцом данными, пути-дороги топтали. Как пара голубей, как дети: что один, то и другой. А теперь сидишь, как боров в загородке, и только ждешь ласк бабьих.

— Э-э, вспомнила! Что было — не вернется,— недовольно пробормотал он. Неприятно ему вспоминать прошлое.— Все уплыло, как с водой. Не вернется больше. Теперь я не тот Иван. Не к лицу мне, Соломония, так просто жить, как жил, потому что народ, верующий в меня, привык уж на роскошь снизу смотреть. Да и

чего ради должен я бросать все это здесь и опять искать нищету?

— Мало ты о себе думаешь, мэй! Что будет, если поймаешься?

— Дуреха ты, Соломония. Теперь мне ничего не страшно. Я уж знаю, что делаю...

Рука привычно накручивает черную, как вороново крыло, косу и гладит румяные щеки мироносицы. А глаза светятся довольством.

— Поймаешься... Да ты знаешь, что пламени этого не погасить никому? Пусть не будет меня здесь, но толпа уже не отойдет от нашего монастыря. Их только раздразнят этим больше. Глупости ты говоришь, Соломония. Я не боюсь, потому что сейчас и сам царь ничего не сделает. И ты, Соломония, не бойся ничего. Нам с тобой не ходить больше по миру — ты это знай. Хочешь быть со мной — будь, нет — иди куда хочешь. Я не отпущу тебя с пустыми руками, будут у тебя деньги на прожитие. А моя дорога выше стелется. Бог на другое меня предназначил и путь мне указал. Ничего я, Соломония, не боюсь, пусть болтают. Так и знай. Это я тебе давно хотел сказать и... еще хотел сказать: не вмешивайся в такие дела, ибо добра тебе от этого не будет. Любить тебя я буду, как и любил, но только не одну тебя... Потому что сан мой не разрешает мне брачной жизни. Да и не нужно мне этого.

Будто пригвоздил ее глазами к полу, покрытому коврами. А рука крепко обняла за шею и слегка прижала к себе.

— А теперь иди и прикажи готовить ужин. Да скажи Катинке, что сегодня она готовит купель и ужинает со мной.

Соломония встала и согбенная пошла из комнаты. Последняя нить, связывавшая ее с Иннокентием, обрывалась. Ей казалось, что она летит куда-то в пропасть. То шагнет вперед, то снова отступит. И чувствует она, как жгучие глаза уперлись в спину ей горячими лучами. Только не те уж это глаза, что когда-то пронизывали страстным желанием. Нет.

— Не нужно, Соломония, плакать, лучше подумай над тем, что я сказал. Найдешь себе кого, жить будешь, деток иметь, а я... тебя не забуду.

Повернулась. Быстро, как от выстрела над ухом, метнулась назад всем телом.

— Ты...

...Ничего больше не сказала. Вышла из кельи тихо. За порогом покачнулась, как пьяная, и рухнула на ковер. В голове все спуталось. Обескровленные губы что-то шептали... Брань? Проклятия? Молитву?

Катинка этого не знает. Она лежит в глубоком кресле и любуется собой: разве не пополнела она с тех пор, как вступила в тихую обитель? Разве не прилила снова к ее щекам кровь, высосанная горем, не разнежилось тело ее, выпестованное в роскоши, вымытое в купели? Всему этому Катинка знает цену. Ни на кого и не посмотрит, очарованная им одним,— ему одному верна, только его знает.

А он? Одна ли она у него, как того желает сердце Катинки? Но об этом ей не хочется думать. Зачем сушить сердце вопросами, которые ее мало трогают? Разве мало? Катинка не желает думать. Ей так уютно сидеть здесь в кресле и ждать его, властелина ее сердца, ее ночных дум... Такого сильного, крепкого и такого...

Святой или нет?

Зачем спрашивать? Столько народа верит в него, и только она одна, Катинка, сомневается? Разве не он угадал всю ее жизнь, вплоть до ворот обители? Не он ли первый сказал ей ласковое слово, согрел им ее израненное сердце и вылечил его? Не он ли вернул щекам ее румянец, а губам мягкость улыбки? Не он ли придал груди ее полноту и округлость, а крови скорость движения? Все это Катинка хорошо понимает. Знает, что все это — дело его рук.

И она уже не сомневается. Даже Соломонии готова простить ее частые укоры. Привязалась и та сердцем к Ивану, но не оторвать его от Катинки. Катинка не хочет уступать. Зачем ей так делать? Чтобы снова где-то бродить с израненной душой?

Нет, не хочет она этого и преданно ждет его в дорогом кисейном убранстве здесь, у кельи. Любовно будет она сегодня умащивать тело его миром и омывать теплой водой. Она будет целовать каждый кусочек этого сильного розового тела и своим бархатным телом согреет его. Она будет пить воду из его купели и свои-

ми длинными косами вытирать ему ноги. Она пойдет за ним... милым... дорогим...

— Дорогой... хороший мой... Мой желанный...

— Ха-ха-ха! Твой, Катинка, твой! Сегодня тоже твой, потому что приказал тебе готовить купель. Твой, пока еще не прогнал тебя, как суку со двора.

Соломония злобно выплевывала слова презрения. Катинка горела от стыда.

— Дорогой, говоришь? А спроси каждую из нас, не такой ли он и ей. Только для тебя, думаешь?

— Соломония, перестань... Перестань, говорю, ты потому злишься, что больше ему не нужна... А мне... он дорог...

— Кто это дорог нашей милой мироносице? — спросила Лукерья. Прокравшись сюда, она обернулась и махнула рукой. За ней протиснулись остальные, ожидавшие ужина.

— Неужели кто-то за монастырскими стенами? — иронически спросила Хима.

— Тот, что у исправника в наймах. Видали, как в воскресенье смотрел на нее, когда свечи ставила?

Килина цинично смеялась прямо в лицо Катинке. Глубокой болью ранил ее этот смех. А от боли той возникла ненависть к мироносицам, отнимавшим его. Катинка поднялась и гордо выпрямилась. В ней родилось то, чего так давно она не знала: хищная злоба самки, увидевшей соперниц на пути к своему желанному...

— Замолчите, вы, шлюхи! Не вашим завидущим змеиным пастям рассусоливать о нем, потому что вы и на след его недостойны ступить... Он отец... моего ребенка.

— Ай-я! — крикнула Соломония. — Смотри ты! Да ты, никак, думаешь, что ты одна мать его ребенка? Ты думаешь, шлюха бендерская, что я не имела от него? У тебя только будет, а у меня... у меня были... живые были... Ты, шкура барабанная, слышишь? Живые были.

— Мэй, поглядите, какая царица! — кричала Хима. — Да знаешь ли ты, паршивая овца, что он был моим, когда тобой здесь еще и не пахло? Знаешь ли ты, что он целовал меня уже тогда, когда ты еще где-то шлялась с хахалями да детей в колодце топила?

Грозно шагнула к ним Катинка. Соломония не отступила.

— Шлюха? А ты кто? Да знаешь ли ты, что он не знал еще, как с бабой спать,— я первая была у него? Мэй, я первая жена его и перед богом, и перед людьми. Вы знаете, что с вами он прелюбодействовал, а мне был мужем?— гремела Соломония.

Пена брызгала с осатаневших уст. Глаза метали молнии, слова хлестали Катинку.

— Эх ты, шлюха одесская! Чего распустила губы?— крикнула Лукерья.— Поди ж ты, «первая». «Меня первую он тискал». «Я первая»...— донимала она Соломонию.

— Да замолчите вы,— тихо заговорила и вдруг рассмеялась Анна.

Хохот оглушал «тихую» Лукерью, хлестал по лицу Соломонию, которую ненавидели все мироносицы.

— Хохочете? Чего?— окрысилась вдруг Лукерья.— Вы думаете, если со мной он меньше, чем с другими, спит, так я ничего не знаю? Было и мое время... Да не об этом я хочу сказать. А о том, что эта шлюха зря кричит: первая! А видела ли ты свою старую мать? Спросила ли ты ее, от кого твоя младшая сестра ребенка привела? Спросила ли ты, кто ее изнасиловал и до смерти довел? Нет? Так знай же ты, п-е-е-рвая! Это Иван твой. Этот самый Иван.

Гром обрушился на Соломонию. Ударил и опалил ее всю с головы до ног, лишил остатка сознания.

— Что ты сказала? Что ты сказала?

— А то, «первая», что слышишь.

— Ну? А дальше? Что дальше?

— А дальше... Марыся не могла родить да и умерла от натуги. Иван дал денег матери, и утихло все. А мать твоя потом дочку ему заменила и сама с ним спала. Вот тебе и пе-е-рвая-я! Всех вас купил.

Перед глазами Катинки возникла пропасть. Та самая пропасть, в которую так часто проваливалась она раньше еще, до монастыря. Дыхание захватило, в груди что-то сжало, из глаз посыпались горячие искры. Скрючились пальцы, дернулось тело, едкий крик разрезал тишину, и она тяжело рухнула на пол.

Крики. Визг. Страшные муки согнули и Соломонию. Кто-то толкнул ее, и она упала. Упала и забилась ря-

дом с Катинкой. Это был сигнал. Припадок охватил всех. Только Хима, сложив руки, с ненавистью обвела взглядом «черноболезных». Злорадно засмеялась и выскользнула из комнаты.

15

Кто скажет, какая сила вложена в эти острые, как пики, глаза, в слова меткие, как стрелы, в эти брови, взметнувшиеся черными лентами, в глубокие морщины, сошедшиеся на высоком лбу Иннокентия? Кто скажет, где кроется та сила, что толкает его навстречу опасности?

— О-о-о, я пойду еще дальше! Меня не остановит слюнявый старец Амвросий, не остановит мозгляк Серафим кишиневский!

Иннокентий стукнул кулаком по столу.

— Ничто не остановит меня. Сила моя в том темном народе, в той глубокой вере, какой пылает люд. И я не уступлю. Я им покажу, что может сделать Иннокентий, дух божий.

Он вспомнил свои прошлые намерения и замыслы, мечту стать первым богачом в селе, иметь землю, отару овец, стадо коров, свиней, коней, верховодить на селе. О, как давно это было! Как давно и наивно, и мелко, как у каждого из этих тысяч, что прутся к нему, чтобы лизнуть кончик его сапога или черной рясы, что приносят щедрые дары и почитают за счастье отдать ему последний грош. О, как давно, наивно и мелко! Что власть первого богача в селе по сравнению с неограниченной властью над целым краем! Да и богач-то владеет селом только в тяжелые времена, а вообще его ненавидят, проклинают. Здесь же власть поддерживается верой, любовью подвластных, неиссякаемой готовностью к самопожертвованию. Это власть над телом и душами. Власть над сердцем и помыслами. Власть всеобъемлющая, неограниченная, непоколебимая власть над краем!

Да только ли над краем? Что представляет собой забитый бедняк-молдаванин? Какую утеху, какую радость даст такая власть? Удовлетворит ли она требования великого духа святого Иннокентия?

Нет. Темный молдаванин в подчинении — это еще полвласти для него. Это несколько ступеней вверх к настоящей власти, к настоящей утехе, которая так манит и соблазняет святого мужа. Но эти ступеньки — широкие и прочные. С них не упадет, не свалится иеромонах Иннокентий, ибо опираются они на спины темного люда целого края. Волы, овцы, коровы — это ничтожно. Они не ведут в широкий свет, они привязывают к черной, грязной земле, к низенькой хате в глуши. И иеромонах Иннокентий отбрасывает мысли об этом с брезгливой гримасой на сочных губах.

— Нет! Сундуки золота! Сундуки золота и кули бумажек, сильных, как смерть. Сундуки золота и кули бумаг государственного казначейства российского ымпэрата. Они, только они дают власть... Всеобъемлющую, непоколебимую власть, какой...

Блаженный инок мысленно уносится вперед; чутко всматриваясь в будущее, измеряет путь к нему, упивается далекими, но уже видимыми перспективами.

Золото! Великая Епархия! Петербург! Синод! Двор ымпэрата.

Это — пять вех, которые должен пройти он на пути к цели. И тогда сила Иннокентия несокрушима. Могучая сила. Сила его пастырского слова. Нет, ради этого стоит бороться, можно и головой рискнуть. Стоит...

Но зачем же головой? Кто пожнет тогда плоды борьбы?

Нет... он будет осторожным и предусмотрительным. Он до последнего момента не станет пренебрегать защитой и союзничеством отца Амвросия балтского и отца Серафима каменец-подольского. Он до последней минуты будет делиться с ними, как и до сих пор. Нет, даже увеличит их долю от себя, чтобы с их помощью увереннее въехать в блестящее будущее. А там... от пятой вехи Иннокентий повернет назад, в Бессарабию. Вернется сюда, чтобы стать князем церкви целого края, архиепископом кишиневским. Вот тогда власть! Тогда простор! От Прута до Буга, от Дуная до Днепра! Тогда его воля! Простор. Тогда...

А если поскользнется? А что если исправник балтский думает не так, как викарий, и вмешается в дело? А что если отец Серафим кишиневский, авторитет которого подрывает балтская обитель, ударит по нему

своим архиепископским оружием раньше, нежели он дойдет до пятой вехи? Ведь он в синоде, наисвятейшем синоде. Что тогда?

Кто скажет, какая сила заложена в этом тайном неведомом страхе? Кто скажет, откуда берутся невидимые колючие мурашки, бегающие под кожей, когда остаешься с глазу на глаз с опасностью? Кто скажет, куда девается решимость, когда невидимым жучком заползает в сознание, в щели сердца маленький серенький ужас? Кто скажет, какие новые глубокие морщины проложит он на мраморном челе, какими судорогами сведет дуги бровей, как погасит пламенные черные глаза, быстрые, как стрелы, лишит силы сло́ва, острые, как копья, и поразит сердце трусливым испугом?

Иннокентий снова стукнул кулаком по столу.

— Да нет же, не успеет! Я опережу его!.. А если нет?..

Холодный пот каплями выступил на лбу. Глаза замутили желтые круги, а правая нога мелко задрожала.

Тогда Сибирь...

В голове пронеслись обрывки мыслей. Одна задержалась и развернула перед глазами картины.

Мироносицы... Да, они, и раньше всех — Соломония. Опасные свидетели, лишние языки. Соломония — прежде всего.

Ряса стала вдруг просторной, как сшитая не по росту. Кровь прилила к щекам.

— Да нет же, нет! Не она первая начнет копать. Соломония не страшна. Побесится — и бросит...

Но маленький, серенький ужас продолжал колоть иголками мозг, сердце, просачивался в кровь и замораживал ее.

Соломония знает больше других. Упрятать ее куда-либо уже нелегко. Заметно будет, если первая мироносица вдруг исчезнет. Тогда другие в руки возьмут...

— Отец Иннокентий, Иван, беда.

— Что там? Чего ворвалась сюда, каким тебя вихрем занесло? Я же говорил не входить, пока не позову к себе!

— Мэй, не до того мне. Не о себе забочусь, а о тебе. Там Лукерья такого натворила, что только ахнешь. Все твои дела в косоуцких хуторах разболтала: и про Марысю, и про мать...

Кто видел, как заползает страх в человеческое сердце? Хима видела это.

«Ага! И тебя, святой, напугать можно?»— подумала она и добавила:— Беги, отче, усмиряй их, а то беда будет.

Вышла вслед за ним. Видела, как на гривастом затылке страх шевелил, задирал волосы. Даже в походке угадывался тот ужас, что тряс колени Иннокентия.

А потом он пропал вдруг, тот страх. Дюжая рука Иннокентия схватила его за горло и прижала. И дернув последний раз ножками, он скрючился и утих. И величие, сила, мощь блеснули в глазах.

— Эй, вы, дети диавола! Чего крик подняли в месте святом? Встаньте и делайте свое дело. Бог жаждет жертвы и молитвы, и мы вознесем ему вместе эти дары. Встаньте, говорю!

Кто скажет, как слова переплавляются внезапно в металл и поражают, словно выстрелы, больных, издерганных рабов? Кто скажет, как просачиваются они в больное сознание, падают тяжелыми камнями и придавливают к земле даже наиболее решительных? Да и объяснишь ли это Катинке, Лукерье, Анне, Соломонии?

— Раба божья Лукерья! Пошто язык твой смущает души праведных, стоящих на пути к богу? Разве ведомо тебе, какими путями нисходит благодать господня на людей его? Да знаешь ли ты, что Маринка, сестра Соломонии, сподобилась наивысшей благости и зачала от духа святого? Знаешь ли ты, что вместе с плотью своей я передаю каждой из вас частицу самого бога, частицу духа святого, которого я поглотил в образе голубя? Раба лукавая! Раба, проклятая богом! Покайся, не то грехи твои поднимутся выше шеи твоей и затопят тебя скоро.

Стремительный водоворот, водоворот ужаса закружил Лукерью, Соломонию, Катинку, Анну, Оксану, Килину — Иннокентиевых мироносиц. Он возник где-то в глубине их душ, закачал, закружил их мутью, взорвался ревом отчаяния.

— Пусть бог вам простит грехи ваши, как я прощаю.

Вознеслись ввысь благословляющие руки, и поплыла божественная фигура. За ней потянулись мироносицы, придавленные ужасом. Хор надтреснутых, тоскливых

голосов пел осанну, а Катинкины руки старательно втирали дорогое миро в блестящее тело Иннокентия. Горячая купель источала ароматы и дурманила. А он стоял в ней и произносил божьи слова, тонувшие на дне темных их душ, как тонет камень в болоте.

Катинкино тело двигалось около него и слегка дразнило. Аромат обволакивал туманом, и сладко мечталось. А на жертвеннике все курился сизый дымок и разносил тонкой струйкой благовония. И ниспадали сверху те ароматы прямо на склоненные головы мироносиц, стоявших вокруг купели и слитых воедино в страстном порыве служения богу, который давал здесь покой и смирение встревоженным душам. Сегодня одна Катинка имеет право на полную меру благости, и поэтому ничьи глаза не смеют глядеть на его тело, касаться руки, ничьи уста не смеют припасть к нему, хотя поет и стонет все существо, изнемогающее от ароматов и его близости. Никто не смеет смотреть на жертвенник, где Катинка умащивает его сегодня ароматными мазями, а после купели будет натирать мускусом и убаюкивать после молитвы. Все должны только стоять и наблюдать, как сойдет сегодня на смирную Катинку господня благость от духа святого Иннокентия.

Когда Иннокентий, закутанный в тонкую прозрачную ткань, сошел с ложа, отдохнув с Катинкой после купели, хор мироносиц, поющий славу господу, перешел к накрытому для трапезы столу.

— Пейте кровь мою, которую я вам дарую, ешьте тело мое, что карается за вас на том свете.

Анна подала первый бокал искристой «крови», которая пахла пóтом крестьян-виноградарей.

— Пейте кровь мою в благости и смирении души.

Бокал обошел стол. За первым пошли следующие, полные исцеляющей «крови», она будоражила нервы, горячила оглушенный мозг, наливала сердца горячим соком. Бокал обходил стол и возвращался к Иннокентию. И он подавал его вновь и вновь своим мироносицам.

— Все пейте из этой чарки, освященной благостью господа. Пейте из нее вечную жизнь, что дарует вам господь за терпение и молитвы ваши.

И снова пошел бокал. Загорелись глаза жизнью. Танцевали столы, танцевал пол, покачиваясь, кружился

потолок и люстра вертелась веретеном над головами. И из бороды Иннокентия выглядывало чудовище. Страшное, приятное, желанное, отвратительное, манящее...

— Ха-ха-ха, отче-хахаль! Сколько женщин переночевало в твоей святой постели? А?

Соломония встала на стул, качаясь, как ивовая ветка.

— Сколько, спрашиваю, переночевало у тебя, в благости утопая? Скольких искалечил ты, святой хахаль, за свою жизнь?

Дикий вопль. Страшный нечеловеческий визг.

— Маринка! Маринка-а, мама-а! — Что-то кольнуло Катинку в самое сердце. В помутневшем уме вышитый, как по канве, появился молодой красавец-офицер, покачался немного, улыбнулся бритым лицом и застыл.

— Пустите меня! О-о-о, пустите меня к нему. Я к нему хочу, хочу перегрызть ему горло, выпить его кровь! Пустите!

Офицер застыл. Он вдруг странно заморгал глазами завертел головой и стал обрастать. И уже это не офицер, а он, Иннокентий. Стоит и приветливо так улыбается, а на руках держит ребенка. И подает Катинке в руки. А он, маленький, ручонками шевелит, протягивает их к ней. Тоненькие губки шевелятся — не то улыбаются, не то плачут... И слышит она:

— Мама! Мамуся! Возьми меня к себе. Папка давит меня.

Опрометью бросилась к младенцу, выхватила его и припала поцелуем. Страстным, засасывающим. И чувствует на языке соленое.

Неужели кровь?

И так больно-больно обожгло ее это слово.

Посмотрела на руки — кровь. Тронула губы — кровь. Алая кровь на подбородке, жжет лицо. Посмотрела — и у Иннокентия течет по шее струйка крови. И Катинка прижалась к дорогой, милой, любимой шее, укушенной ею в истерическом припадке.

А вокруг вихрь веселых звуков. Водопадом они обрушиваются на нее, кружат в дивной, знакомой мелодии болгаряски. Правда, доходят они к ней, словно из тумана, неясными, расплывчатыми сочетаниями многих звуков. Провалилась Катинка куда-то в пропасть, за-

круженная чьими-то сильными руками, убаюканная чьими-то крепкими объятиями. Понеслась в пенистых волнах куда-то прямо и прямо, порой опускаясь в яму, так что дух захватывало, порой возносясь на белый гребень буруна. Снова провалилась Катинка. Провалилась, упала в обморок, подплывая кровью, струившейся из ее измученного тела. Оборвалось сознание.

Что-то кололо Катинку. Там, внутри, где шевелился ребенок Иннокентия. Она тихо стонала.

— Что с тобой, голубка моя? — склонилось над ней лицо мироносицы Оксаны.

— Болит, сестра. Вот здесь болит, — указала она на живот.

— Болит?

— Болит... сил нет...

Страдание исказило лицо немолодой уже Оксаны. Боль выступила у нее на лбу крупными каплями пота.

— Ребенка скинешь...

16

Выскочив из села на ровную дорогу, Василий остановил коней, достал брезентовый дождевик и накинул его на себя. Вытащил из узла бутылку вина и выпил прямо из горлышка. Только после этого оглянулся опять на село. Оно пылало где-то в долине. Зарево занимало почти полнеба. Кверху взлетали снопы желтого огня. Василия трясло, руки не держали хлеб, которым он заедал кислое домашнее вино.

«Куда же теперь?»

Густой дождь шумел вокруг, и мрак завладел степью и окутал одинокого Синику. Из степного шелеста, из дождевого шума родился страх. Василий отгонял его. Вывел лошадей на дорогу, сел в телегу и, отвернувшись от встречных потоков дождя, двинулся. Лошади шли не торопясь, хлюпая по лужам, а вконец разбитый Синика прислушивался к ночи, к себе, к мольбам, которые родились в нем там, в селе, перед толпой людей самоотверженной веры.

«Что это такое? Что гонит их к нему? Кто он? Неужели тот самый Иван?»

Дождь так же внезапно утих, как и начался. Полная

луна выкатилась из-за туч, упала с размаху на дорогу и поплыла впереди лошадей по лужам. На перекрестке дорог Василий круто повернул на ту, что вела влево.

«К нему! Сам увижу, кто он и что там делается. На все сам посмотрю. К нему!»

Подстегнул лошадей, чтоб догнать серебряный месяц, плывущий по лужам дождевой воды. Глубоко задумавшись, Василий и не заметил, как въехал в село. Только когда залаяли собаки, Синика очнулся и придержал коней. Подъехал ближе к церкви, выпряг лошадей, приковал их железными путами к колесам и лег в телеге. Тяжелый сон вмиг смежил веки. И вдруг:

— Бам! Бам! — тяжело застучал в виски церковный звон. — Бам! Бам! Бам! — тревожно загудело в сердце.

«Что? Что такое?»

Протер испуганно глаза, оглянулся вокруг, и вчерашний ужас пронизал его снова.

Село проснулось. Из хат выбегали заспанные люди. Они с шумом и гиканьем неслись вперегонки туда, за село. Выли и лаяли собаки. Отара, еще невыгнанная на поле, шарахнулась врассыпную по улицам и с диким ревом понеслась, сбрасывая с копыт комья грязи. А люди бежали...

— Бам! Бам! Бам! — выхаркивает колокол из широкого горла тоскливо-тревожный зов. Он бросает его в степь, в лес, пугает тишину. — Бам! Бам! Бам! — кличет он и сзывает.

Люди бегут. Толпятся вокруг церкви, плачут, стонут. Бегут по одному, по двое, группами, толпами, скопищем выплывают из узеньких улочек через огороды и сады... Трещат плетни, заборы, падают каменные и глиняные ограды.

— Бам! Бам! Бам!

Люди бегут. Толпятся вокруг церкви, плачут, стонут.

— Спаси, господи, люди твоя...

Высокий поп останавливается перед толпой и машет руками; толпа трогается вслед за ним; вот она с ревом и шумом, как широкий поток в узкое ложе реки, врывается в улочку.

Дрожащими руками снимает Синика железные путы с лошадей, запрягает их, но не трогается с места. Взбирается на телегу и смотрит в ту сторону, куда двинулась толпа.

На бугре, за селом, что-то замаячило. Увеличилось. Одна, вторая группа, толпы потоком полились вниз с горы, к селу. С ревом и стоном катилась ослепленная масса навстречу другому скопищу людей.

Синика стоит на телеге и внимательно следит за движением огромного полчища, которое тяжело шевелится, ползет. Начало его уже за селом, а конец еще не вошел и в первую улочку.

И только когда задние вышли уже за село, Василий тронулся за толпой. Пустынные улицы. Пустые хаты.

Синика задумчиво сидит на телеге.

«Куда? Что гонит их? Кто он?»

И встает перед ним его горе, постоянная тоска.

— Поеду.

Ударил по лошадям и вскоре обогнал толпу. Выехал вперед и еще раз глянул на людей. Впереди всех шел Мирон. Его глаза смотрели прямо перед собой. Голова была высоко поднята, ноги шагали, как деревянные. За ним — разбитая икона божьей матери. Синика прикрикнул на лошадей и заторопился в Балту, ставшей для него последней надеждой.

В Балте он оставил лошадей в знакомом дворе и, расспросив про Иннокентия, утром пошел в церковь. Терпеливо выстоял до начала службы. Как мог напрягал глаза, чтобы разглядеть на расстоянии... Он вложил в тот взгляд всю силу и глубину надежд. И вдруг:

— Назад! Обман! Ужасный обман! Это он! Он! — вот-вот готово было вырваться из груди.

Рухнула надежда и покатилась с грустным звоном вниз, от сердца.

— Он — босяк, шарманщик, вор и душегуб — чудотворит! Он!

Резко повернулся и побежал к лошадям. Запряг и впервые сильно, безжалостно ударил буланых кнутовищем.

— Эгей! Эй! Домой! Нет правды, нет надежды у меня, нет! Эгей, черти, несите меня не по земле, а по воздуху! К жене!

Ветром пролетел двенадцать верст до Гидерима. Остановился напоить лошадей. Сел на телегу и злобно, с остервенением потянул из бутылки водку.

«Один у меня выход — жить для себя. Себя удовлет-

ворять, жену... Приумножить добро, продать хутор — и в город, как пан».

Другая мысль взвилась протестом:

«Хутор? Землю? Виноградники? Нет. Он их не бросит, он, Синика, вырвал их у судьбы и не оставит никому. Нет, он еще улучшит, расширит хозяйство, он съест, без соли и хлеба съест Герасима, вырвет у него его земли и один сядет на Липецкой равнине, сколотит богатство и проживет счастливо, славно. Нет, он не продаст, а, наоборот, увеличит имение».

Синика доедает завтрак и соскакивает с телеги, чтобы напоить лошадей. К телеге подходит старичок со слезящимися глазами. Дедок мнет шапку и медленно, неуверенно спрашивает Синику, не купит ли он у него пару волов. Хороших, молодых пару волов, за которых дед возьмет недорого. Совсем недорого. Это последнее и единственное его имущество, больше у деда ничего нет. За эти деньги он хочет купить душе вечный покой там, в раю, возле пэринцела Иннокентия.

— Сколько же ты хочешь, дед?

— Двадцать рублей...— шепчет тот со страхом.

Он пугается названной цифры. Он бы и не просил столько, но очень уж хочется бóльший дар дать на церковь, чтобы большей благодати сподобиться. Но если проезжий пан не может за столько купить, он немного уступит. Бог видит: меньше он не должен брать.

— Пять рублей,— насмешливо бросает Синика.— Пять, дед, больше не дам.

— Мало, домнуле... Волы больно хороши.

— Пять, дед, больше — ни копейки.

Дед разводит руками. Он искренне сожалеет, что не может больше принести богу, и протягивает жилистую руку Василию.

— Давай, домнуле... бог с тобой. Мне волы не нужны. Я душу свою спасаю.

— Веди, дед, волов...— озадаченно говорит Синика, сам не понимая, что произошло.

Через четверть часа дед их привел. Пару хороших, рослых, темно-серых волов. Дед останавливает их возле телеги Синики и привязывает. Он даже не вспоминает о хорошем ременном поводе и отдает его вместе с волами. Но, принимая деньги, дед робко спрашивает

Синику, не купит ли он и корову. Хорошую, молочную корову. Ее продает его соседка, старая вдова.

А почему бы не купить и корову? Василий может купить и корову. Он даст возможность приобрести уголок в раю и вдове.

— Пусть приведет.

Вдова просит дороговато за серую молочную корову. Она просит десять рублей.

— Эй, баба, я за пару волов пять дал, дам и тебе столько же за одну корову.

— Но то ж волы, а то молочная корова. Одна только и есть...

— Пять рублей.

— Восемь.

— Пять.

— Семь.

— Пять, баба, больше не дам.

— Мулцэмим, домнуле...* Пусть вам будет на счастье.

Синика от удивления сбил на затылок шапку. Десять рублей пара волов и корова, каким цена полтораста, а то и двести.

Нет, Синика не поедет домой. Синика будет помогать молдаванам отправляться в рай к богу, он поможет им добыть спасение у ног пэринцела Иннокентия. У Синики есть для начала деньги, и ему ничего не стоит списаться с купцом Елизаровым в Москве, тем, что покупает у него виноград на перепродажу. Синика оставляет купленный скот во дворе у деда и летит опять в Балту. Он телеграфирует купцу Елизарову, что может поставлять ему мясной скот по очень низкой цене.

В ответ получает согласие. Василий, дрожа всем телом, едет на станцию Балта, фрахтует вагоны и грузит первые двенадцать из них скотом. Все это обошлось ему... в сто шестьдесят рублей, а с купца Елизарова он просит две тысячи четыреста четыре рубля. Почти даром.

Трепетно ждал ответа — денег на посланные накладные. И, когда получил перевод на полную сумму, решил:

* Спасибо, господин (*молд.*)

«Куплю Мардаря! Не будет он сидеть у меня на шее. Вздохну свободно».

Синика нанял несколько батраков и двинулся с ними в глухие села Бессарабии — пожинать урожай с посевов Иннокентия. Жадно, увлеченно, не жалея коней, рыскал по селам. Быстро изучил банковские и железнодорожные операции и надежно, на груди, прятал свидетельства банков о вкладах на свое имя.

Только на пятой неделе вспомнил о доме. Оставил на время работу и помчался.

Въехал во двор, бросил вожжи и — опрометью в хату. Навстречу ему птицей вылетела Домаха. Упала на грудь, прижалась к нему. А он тихо-тихо погладил ее по голове, поцеловал крепко в губы и лег спать, не сказав ни слова. Не поворачивался язык ни спрашивать, ни рассказывать.

Странно чувствовал себя Синика. Утром подался в степь, осмотрелся вокруг и лишь под вечер вернулся домой. А только поужинал — пошел к Гераське. Вошел, как и раньше, сел у края стола, подпер голову пятерней, раскурил трубку и приумолк. А затем старая чабанская дойна снова зазвучала и взвилась вверх. Мардарь смотрел на него, и его даже жалость проняла.

— Мэй, Василий, ну и что же вы привезли?

— Ай-я? Что же привезешь оттуда, где нет ничего? Чего не знаю, того не скажу...

Синика ни словом не обмолвился Герасиму о своих операциях. Да и сидел как-то неспокойно у него, будто у врага, которого пришел убить, но вдруг узнал, что он родственник.

— Вот уж характер у вас, сосед, упрямый,— заговорила Мардариха.— Вы словно в темном амбаре: ходите, стучите, толкаетесь везде, а кругом лишь стены. И никак выхода вам не найти. Бросил жену, уехал, вернулся и не спросит, как она и что.

— Правда ваша, соседка, правда. Двери именно и нет. Да если б и были, то навряд ли стоило б на свет выходить. Но вот что, сосед Герасим,— большое вам спасибо. Уж если что случится, помните: Василий Синика—самый первый ваш приятель и советчик. Жизнью рискнул бы, а помог вам. Клянусь, что нет такого, чего бы не сделал вам за ваше ко мне отношение.

Василий окончательно признал в противнике родню

и даже больше — почувствовал искреннее желание открыться ему во всем. Но это было лишь на мгновенис. В следующую секунду он снова насторожился.

— Где ж это вы были? — спросила Мардариха.— Куда ездили?

— Эх, где был, там уже нет. Искал доли — не нашел. Заплуталась она, соседка.

У него вдруг возникло решение, до которого он до сих пор не додумался. С тем и обратился к Герасиму:

— Слушайте, сосед... у меня есть дела в городе. Я снова должен уехать из дому. Понимаете? Хочу попросить вас помочь советами моей Домне. А потом... Может, и продам вам свой хутор.

Сверкнули глаза у Герасима. Скривился рот, и слово застряло в глотке. Должен был откашляться, чтобы ответить на это предложение. Только и смог выдавить:

— Да уж как-нибудь... Оно же, знаете...

Синика пожал руку Герасиму и пристально посмотрел ему в глаза.

— Так и знайте, хутор я не продам никому — только вам. Земля должна быть в таких руках, как ваши и..., мои.— Он внимательно посмотрел на свои руки и добавил:

— Такие всю землю удержат. Да!

Ушел — и не оглянулся больше. А через неделю Василий снова уехал в дальние села к границе с Румынией.

17

Золотое утро тронуло землю ранней осенней свежестью. Ночь, покрывшая серебристой чешуей крыши домов, таяла. На землю стекали искристые слезки. Балта еще спала, только торговки торопились перехватить приезжие подводы. Но Герасим на то и хозяин, чтобы не спать даже в такое время. Он давно встал, наладил телегу, засыпал лошадям корм. Успел и одеться. Только бы еще к святому сходить, увидеть — и домой.

Он обошел монастырь со всех сторон, останавливаясь перед каждой телегой, которые стояли вокруг монастыря; прислушался, о чем говорили.

— Ел есте мынтуиторул ностру! Ел есте преотул чел маре!*

— Пэринцел Иннокентий сегодня и половины не принял бы, если б изволил выйти к нам, грешным. Говорят, он все молится, никого не пускает. Наверное, не увидим его.

Слушал Герасим, и сердце его тревожилось.

«Хоть бы не зря лошадей гонял и время тратил. Вон, оказывается, как трудно его увидеть».

Возвратился на постоялый двор взволнованный. Тревожно повел Липу и Домаху в обитель Иннокентия. Домаха все же выбралась из дому к святому. Лелеяла в сердце надежду, что бог поможет ей. Герасим шел, задумавшись.

— Мэй, Гераська, и вы тут? Не выдержали, значит? Хорошо, хорошо делаете, — крикнул Семен Бостанику, повстречавшись с Мардарем.

— Да вот! Но как тут устроить это посещение, не посоветуете ли? А то вот молодка хочет его увидеть, — показал он на Домаху.

— Трудно. Не принимает теперь святой. Все молится. Разве что через отца Кондрата как-нибудь.

Семен Бостанику уже в монашеской одежде, чисто вымытый и причесанный.

Он ведет посетителей к отцу Кондрату, который вхож к святому. Никто не смел нарушить заповедную границу между его кельей и грешным миром, богом проклятым. Только его одного сподобил святой своей великой ласки.

Не привык Герасим ходить по крутым ступеням, запыхался...

— Кто там?

— Во имя отца и сына и духа святого Иннокентия...

— Аминь. Войдите.

Мардарь вошел в комнату. Что-то сверкнуло перед глазами и завертелось тоненькими блестящими полосками. Свет ли откуда-то падал или шел испуг от той вон лампадки, что горит против большой иконы, Герасим не разобрал. Только он готов был присягнуть, что у этой иконы Иннокентия живые глаза и он ими мигает...

* Он наш спаситель! Он великий пастырь! (*молд.*)

— Отец Кондрат, за благостью к тебе пришли, не поможешь ли чем?

— Чем могу помочь вам, рабы божьи? Вы не к святому ли духу Иннокентию?

— Да, отче, к нему. Сделай такую милость, похлопочи, чтобы и мы его узрели очами грешными.

— О-о, лукавые дети диавола. Пошто пришли смущать святого в молитве?

Сурово, с упреком смотрели глаза. Они заглядывали глубоко, в самое сердце, и вселяли туда неосознанный страх. Но Мардарь уже решился и стал на колени перед отцом Кондратом:

— Не гневайся, отче, пусть тебе во здравие будет твой гнев. Сделай такую ласку, похлопочи, мы же издалека приехали, да и хозяйство дома осталось.

— О порождение ехидны! О греховные плоды греховного древа! Какое дело слугам господним до ваших земных дел?

Сурово смотрели глаза. Рука протянулась куда-то. И Герасим, а за ним и жена повели за ней глазами. В углу они увидели ту же икону, глаза которой играли живым огнем.

— Молитесь, дети диавола, перед образом того, кому почестей не умеете воздать, и оповестите меня, последнего слугу его, зачем пришли, и тогда только скажу, станете ли вы пред его светлые очи.

Отец Кондрат сел вплотную к стене под иконой Иннокентия. Стена была покрыта дорогим ковром. Когда богомольцы окончили молитву, он указал им место возле себя.

— Говори громче, раб божий, а то старые уши мои плохо слышат.

Отец Кондрат начал исповедь. Слушал внимательно, иногда переспрашивал, и так, словно не он, а кто-то другой должен был услышать, и об этом заботился отец Кондрат. Да, видать, порядком туговат был на слух отец Кондрат, потому что часто переспрашивал, настораживал ухо. Герасим басом орал ему в самые уши о себе исповедь. Мардариха тоже голос подавала, даже срывалась иногда до визга, так трудно доходили до ушей исповедывателя страдания ее души. Только Домаха молчала, осматривала роскошную комнату, переводила глаза с предмета на предмет. И ощупывала гла-

зами портрет Иннокентия, который живым взглядом следил за ней — куда она голову повернет, туда и он смотрит. Даже жутко стало от тех глаз.

Наконец Герасим умолк. Отец Кондрат покачал головой. То ли его смутила судьба Герасима, то ли это просто суровость святого, отрекшегося от людских грехов.

— Иди и молись. Уверуешь, тогда придешь покаешься.

Отец Кондрат бросил взгляд на Домаху.

— А ты, молодка, не скажешь, что привело тебя сюда? Грех ходить и все разглядывать в доме божьем.

— Отец праведный, есть у меня дела. Большую заботу к тебе имею, батюшка, но только суровый ты, не решусь никак... Да вот и... не осмелюсь при людях. Хоть и соседи, пусть не обидятся, а как-то оно...

— Выйдите и подождите там, за дверью.

Герасим с Липой вышли из комнаты и сели на стульях у двери. Не железные же, чтобы не подслушать разговора, но не тут-то было. За дверью только будто хмыкало что-то, а слов не слышно. Домаха исповедывалась. Вела тяжкую исповедь, исповедь матери без детей, матери, обреченной на бесплодие. Скорбила, стонала ее душа, вырывалась со словами смертельная тоска — и падала тогда Домаха в слезах к ногам отца Кондрата. А потом поднималась и исповедывалась дальше. Вплоть до той минуты, когда последний раз была с Василием и поклялась родить живого ребенка.

— И вот, праведник святой, хочу вымолить себе прощение и благословение на детей с мужем верным, снискать ласку у господа.

Остановилась. Дальше ли продолжать, или уж и так понятно... И с великой надеждой, с мукой взглянула ему в глаза. Лицо ее горело, как у преступницы. Нахмурился старый, но, видно, так, для виду, потому что глаза у него ласковые и мягкие. Надежда затеплилась в ее сердце.

— Вера твоя не будет напрасной. Молись. Он, возможно, и простит грехи, которые тяготеют на тебе. Иди и молись.

Пошла Домаха, дороги не видела от слез. Шла и не слышала, что спрашивал ее Герасим о праведнике. А поравнявшись с церковью, как подкошенная, рухну-

ла на колени, припала лбом к земле. Герасим тоже голову склонил вместе с Липой.

— Раб господний Герасим, и ты, жена, и ты, молодица, встаньте.

Поднялись. Прямо в глаза им смотрели очи, словно вынутые и перенесенные сюда с портрета. Сурово лицо его. Суров взгляд отца Иннокентия. И великий страх пронзил их сердца от чувства, что знает их инок, которого видят они впервые.

— Встаньте, говорю, и идите за мной.

Иннокентий тихой поступью направился прямо в церковь.

Вошли в притвор и остановились.

— Раба божья, Домаха. Плачь и молись о грехах перед господом. Он услышит молитву твою и даст тебе отраду. А ты, лукавый и злой раб Герасим, очень виновен перед богом. Зачем без веры пришел? Где страх перед господом? Как посмел ты стать перед лицом его, не покаявшись в многочисленных злостных деяниях?

Поднял руку, и засверкали перед ними молнии его очей.

— А бог все видит. Он все видит и не позволит себя дурачить. От меня не утаишь грехов своих. Нельзя самого господа обманывать.

Дрожал от испуга Герасим. Ничего не понимала Липа. Ужас пронизывал Домаху.

— Прости, отче, верю, что ты есть дух божий!

— Ел есте мынтуиторул ностру! Ел есте преотул чел маре! — прохрипел Мардарь, падая на колени.

Липа стояла рядом, ничего не понимая, только в глазах безграничное удивление: «Откуда ему известны наши имена, господи?» Иннокентий возвел очи к небу, уста творили молитву о даровании покоя душам грешников.

— Пусть же простятся грехи их, и пошли ты рабе твоей Домахе деток здоровых и крепких.

И к ним слово:

— Идите и кайтесь. Грехи ваши отпускаются вам. Но помните — заработать прощение можно только покаянием. Искупайте грехи делами, угодными богу, потрудитесь в честь обители, где душам вашим дарован покой. Не хочет бог гибели вашей.

Повернулся и пошел от них. На ходу бросил:

— Все знаю, все. Молитесь. А теперь поезжайте домой, и там, между Гидеримом и Липецким, монаха встретите. Будет сидеть у дороги. Расспросит вас, куда вы и откуда. Скажите ему, что были у меня, и он назначит искупление за грехи ваши. А воду, которую он даст вам, выпейте и домой отвезите. Ты же, Домаха, приди сегодня ко мне на исповедь.

Ушел. Герасим с женой пошли на постоялый двор. А Домаха свалилась у церкви и так неподвижно пролежала, пока ее не позвал отец Кондрат к Иннокентию. От него вернулась поздно ночью. Молча села на повозку, поехала с Герасимом домой. Молча сидела и прислушивалась к чему-то в себе...

18

Отец Амвросий ходил, нахмурившись, по покоям, а Станислав Эдуардович сидел в удобном кресле и чистил напильником ногти.

Станислав Эдуардович слегка улыбался и лукаво следил глазами за перетрусившим князем церкви.

— Ну-ка, сядьте, отец Амвросий, не ходите и не нервничайте. Здоровье — самое главное. Ведь не горит еще?

— Вам все шутки, господин исправник, но уверяю вас, мне не до них. Поверьте, у меня голова кругом идет, ведь через два-три часа здесь будет комиссия из синода, и покарай меня господь, если я знаю, что стану говорить следователям. Вы понимаете это?

— Эк, страха нагнали какого! Ну и строгий же вы блюститель церковных порядков и горячитесь излишне! В одну секунду вздумалось вам исправить дела многих лет. Ведь этот мужик не без вашего ведома раскапывал кости отца Феодосия! Тогда бы и думали о синодальных следователях. А то: «Ничего такого нет». Теперь сами видите, что «все такое есть». Я это предвидел, но... слабохарактерность, дружба победили. Теперь же — простите. Ищите оправдания. Что касается меня, то я, хочешь не хочешь, должен представить протокол моих допросов. А там еще окажется, что ваш святой не только поколебал православную веру, но и политические

дела вершил, прикрываясь иноческой рясой. Я этого вывода специально не делал, поверьте. Но факты — вещь упрямая и неумолимая. И они, хоть мне и жаль вас, говорят не в вашу пользу. Меня, повторяю, это печалит, но тут я бессилен. Скандала не миновать,— язвительно-учтиво говорил исправник.

— Станислав Эдуардович... ваша желчность беспочвенна и, извините, неуместна. Поэтому, если не трудно, перемените тон. Я советы принимаю вполне искренне и по-дружески.

— Я понимаю, ваше преосвященство. Вы вот что сделайте: как только они приедут, возьмите и расскажите им все, как это произошло, как дело обстоит сейчас и что будет в дальнейшем. Не забудьте только Крым, виллу... Ну-ну-ну, нечего вам бледнеть. И слова в шутку вам не скажи.

— Шутки, простите, тут неуместны.

— Ах, извините, ваше преосвященство, вы, кажется, гневаетесь?

Отец Амвросий даже сел от негодования.

— Вот так лучше. Сидя человек всегда рассудительнее, предусмотрительнее. Посидите, успокойтесь и скажите, вы серьезно желаете... мне отдыха?

— Серьезно. От всего сердца. Только... только это от вас зависит. Как пожелаете. Перед дорогой на Соловки мне бы тоже хотелось отдохнуть в Крыму, и я совсем не намерен развлекать там администрацию... такую любительницу шуток. Надеюсь, вы поняли меня, исправник?

— Да, конечно, я вас понял, только и вы меня до конца поймите,— Станислав Эдуардович встал и поправил портупею.— Поймите,— резко продолжал он,— что факты — неумолимая вещь, и администрация всегда придерживается фактов, а не «реалистических фантазий».

— Эх, к чертям жмурки! Получите то, о чем договорились, только окажите помощь.

— Вот так-то лучше. А теперь, ваше преосвященство, успокойтесь и велите Мавре подать нам холодненького вина. И сами тем временем приготовьте квартиру, чтобы принять высоких гостей из Петербурга.

На столе появился графин холодного вина из монастырских погребов. Заискрилось оно в лучах солнца, задымила папироса в зубах исправника.

Неожиданно он пришел в хорошее расположение духа.

— Ну, так что же вы намерены делать, когда приедут высокие гости из Петербурга? — обратился к нему отец Амвросий.

— Придумаем что-нибудь. Готовьте еду, питье, а об остальном не беспокойтесь. Только прежде скажите, кто вам так пакостит?

— Да кто же может пакостить, если не эта облезлая крыса, Серафим кишиневский. Поперек горла стал ему успех Балтской обители. Все это его рук дело: он и жалобу писал, он и кадило раздувает. Видите ли, Иннокентий происходит из его паствы. Вот и скребет душу зависть, что он сюда перешел, а не у него поселился.

— Так, хорошо... значит, от него наговор идет?

— Ни от кого больше... Вот вы сами посмотрите.

Он подал исправнику газету «Колокол», в которой было напечатано воззвание архипастыря кишиневского Серафима. Оно призывало все духовенство Бессарабии вести борьбу против ереси балтского иеромонаха.

«То, что Иннокентий творит какие-то чудеса, — все это сказки и обман. Отец Феодосий Левицкий, хотя и праведного жития был пастырь, однако тело его давно тлену предано, святым он не признан и не канонизирован святейшим синодом.

Следовательно, чудеса — выдумка и обман Иннокентия.

Архиепископ кишиневский
Серафим».

— Здорово, отче! Здорово все же пишет ваш соперник! Ей-ей! Повести борьбу! Вот вам! «Чудеса — выдумка и обман!» Получили? Правильно! Правильно, но только несвоевременно вы, святой отче, за это взялись. Поздновато! Теперь уже основы церкви подорваны, и отрицайте не чудеса, нет, а право церкви признавать или не признавать святых. Отрицайте самую сущность церкви, ее компетенцию, ее авторитет. А это козырь немаловажный в руках у вашего, действительно, совсем

уж обнаглевшего мошенника. Серьезно, отче, по нему уже давно тюрьма плачет. Жаль только, что он в самом деле толковый малый.

— Оно так, но меня удивляет, господин исправник, что наш «Колокол» взял этот тон. Даже в таком деле.

— А все же, отче, и вы признаете, что ваше дело «даже такое»? А?

— Господин исправник, я с вами давно перестал шутить.

— Выходит, допекло, отче, если даже «Колокол» допускает неуважительный тон по отношению к вашему протеже. Это признак неважный, и нужно искать выход. Потому что такая перемена предвещает бурю.

— Да бросьте вы пугать. И без вас не знаю, что предпринять, а вы заладили одно...

— Однако не горячитесь. Подумаем. Вы готовьте, что я сказал. Не так уж все безнадежно выглядит, как кажется. Могу порадовать вас уже и сейчас кое-чем довольно интересным.

Станислав Эдуардович вытащил из кармана газету «Подолия» и ткнул пальцем в обведенную синим карандашом статью.

— Должен засвидетельствовать, ваше преосвященство, что о ваших делах я больше пекусь, чем вы сами, и более осведомлен. Читайте.

«С некоторого времени наш уважаемый собрат архиепископ кишиневский Серафим озлобился на Балтскую обитель, привлекающую к себе массу верующих славой инока Иннокентия».

Дрожащим голосом читал отец Амвросий это известие и светлел. Газета в вежливом, но едком тоне высмеивала основы разоблачительной политики кишиневского архипастыря, недвусмысленно намекая, что все это делается из зависти к большим доходам Балтской обители.

«Но напрасно беспокоит себя брат наш. Балтская обитель ничего противозаконного не делает, и блаженный иеромонах Иннокентий все же творит чудеса, что мы своим архипастырским словом и подтверждаем. Поэтому нам нужно не бороться, а помогать и предоставить ему право и в дальнейшем произносить свои про-

поведи среди православных молдаван на том языке, какой они понимают, чтобы слово божье доходило до паствы.

Епископ каменец-подольский
Серафим».

— Вот за это спасибо! Большое спасибо, господин исправник. Вы действительно хозяин своему слову. Но я также даю слово пастырское. Я в долгу не останусь. И даже больше.

— Хорошо, ваше преосвященство, и помощь моя будет значительнее, чем я обещал. Позовите-ка ко мне вашего чудотворца. Мне нужно поговорить с ним до приезда этого начальства.

С наслаждением потягивали они искристое вино, ожидая, пока придет сам виновник всех этих неприятностей.

— А вы голова, Станислав Эдуардович! Ей-ей! Целая палата смекалки.

— Не хвалите. Скажите гоп, когда перепрыгнете. А прыгнуть ловко нужно.

— Прыгнем, господин исправник. Прыгнем!

— Куда это святой пастырь прыгать собрался? — послышалось у двери.

— Не следовало бы тебе, инок Иннокентий, так дерзко вмешиваться в разговор твоего архипастыря. Да и в комнату входить без предупреждения.

— Помилосердствуйте, ваше преосвященство, помилосердствуйте! — встал на защиту исправник. — Милосердия к меньшему да еще столь ловкому брату.

Налил вина и подал Иннокентию.

— Благослови, владыка!

Едкая усмешка искривила губы Иннокентия.

Словно маленькая гадючка выскочила и укусила за самое сердце отца Амвросия. «Обнаглел мужик», — мелькнулось в голове. Но промолчал.

— Вот что, отец Иннокентий. Садитесь и внимательно выслушайте, что я вам скажу, — обратился к нему исправник.

— Послушаю вас, Станислав Эдуардович. Говорите, но только быстрее, а то меня паства ждет.

— Паства ваша подождет, отче, черт ее не возьмет,

А вас, кроме нее, ждет еще и Владимирка. Слышали о такой?

Побледнел немного, но выдержал натиск.

— Это за что же?

— Читайте вот,— подал он Иннокентию «Колокол».— Как это вам нравится?

Иннокентий сел читать. Вчитывался и все больше бледнел. Но вдруг успокоился и повеселел.

— Ну?

— Ерунда. Господин исправник, да и вы, ваше преосвященство, позвольте сказать, что я думаю. Плюнем на это. Теперь и сам синод побоится трогать нас, ибо весь народ... Ого! Пусть попробуют!

Отец Амвросий даже побледнел от гнева. Эта дерзость окончательно вывела епископа из равновесия, и он грозно сверкнул очами на Иннокентия. Исправник спокойно сидел и казался глубоко удовлетворенным.

— Ты что, инок, хамишь мне здесь?!

Иннокентия словно кто ударил горячим по лицу. Тряхнул кудрями и поднялся.

— Отче Амвросий, не нужно гневаться. Теперь уже не наша воля. Мельница вертится, и ее нельзя остановить. Народу хочется иметь святого, и он должен его иметь, ибо если он не получит его от нас, от церкви, то сам себе его сотворит, а от нас отвернется, отвернется от церкви. Ломать веру людей нельзя, и это не в наших силах. Так я думаю.

Отец Амвросий почуял скрытую угрозу в словах Иннокентия и, поняв, испугался. Иннокентий подождал минуту и продолжал:

— Веру ломать нельзя, отче, ибо народ сам себе выдумает святого без нас, и тот святой не будет похож на церковного. Народ Владимиркой не запугаете, господин исправник. Меня, вас синод может отправить по Владимирке. Но всю Бессарабию — не в силах. Пусть приедут теперь и заткнут глотки, вырвут языки, пусть попробуют! Тут уж не обо мне, не о себе, не о синоде, а о самой церкви беспокойтесь. Свалите святого и, может быть, церковь разрушите и сами погибнете под ее руинами. В противном случае — зачем же тогда вы, и я, и церковь, и синод, и власть, если все мы не знаем, кто наш святой, а кто нет. Зачем тогда все мы, где тогда разум и власть вашего синода? Без вас мне

не удержаться — это правда, я это понимаю. И я вам подчиняюсь, преклоняюсь перед вами. Но и вам без меня не удержаться. Поэтому так прямо и скажем себе. — Он передохнул. — А теперь, господин исправник, я вас слушаю, — нагло закончил Иннокентий свою пространную речь.

— Ваша правда, уважаемый чудотворец. Да. Но вы не забывайте, что вблизи вас нахожусь я, властью императора всероссийского балтский исправник Станислав Эдуардович Масловский, и пока что я существую. Если синод против вас бессилен, то я... Но, впрочем, читайте сами.

«Инока Иннокентия немедленно взять под надзор полиции и к службе в церкви не допускать, выезд из города запретить, о чем под расписку его известить.

Губернатор каменец-подольский (подпись).
Управ. делами (подпись)».

— Так... отче Иннокентий. Вблизи вас существую еще и я, балтский исправник, как видите, — продолжал он далее спокойно. — Так что путешествие по Владимирке для вас не исключается, а наоборот. Имейте это в виду, совершая свои чудеса.

Иннокентий пристально посмотрел в глаза исправнику и прочел в них свой приговор. Снова побледнел, впервые почувствовав на своем пути настоящего врага. Врага сильного, опасного, который подкрался к его гигантскому сооружению, нашел лаз к самому фундаменту и подложил под него взрывчатое вещество. Подложил и, уверенный в этой ужасной разрушительной силе, ехидно, кровожадно ощерился и ждет своего часа. Ждет, чтобы разрушить до основания славу и митру кишиневского архипастыря, и Петербург, и все пять его вех на дерзком пути к цели. Представил это блаженный инок — и вздрогнул всем телом, осел, сник, как парус, когда падает ветер. Подавленный сел возле исправника.

Кто знает, куда исчезает мужество? Видел ли кто щелку, через которую вползает маленький, незаметный серый ужас? Как он проникает в сердце и замораживает кровь в жилах? Никто не может сказать. Но это видел балтский исправник и твердо решил:

«Мой! Теперь могу делать, что хочу!»

И, пристально глядя в глаза Иннокентию, тихо, но внятно произнес:

— Так вот, отче, говорите дальше.

Иннокентий молчал.

— Ничего? Тогда слушайте внимательно.

Иннокентий склонился к исправнику и жадно ловил каждое слово, отодвигавшее от него опасность. Слушая, он испытывал что-то еще, кроме ужаса. Чувствовал, что найдет общий язык с исправником и что тот может стать для него не пугалом, а другом.

А Станислав Эдуардович говорил уверенно и убедительно:

— Понимаете, в чем здесь опасность?

— Понимаю.

— То-то же.

Резные фужеры отца Амвросия снова наполнились и поднялись над столом, за которым пропивалась судьба крестьянских семейств, пошедших на потребу Христовой церкви.

19

Старая Мавра ног под собой не чует. Шестой год служит она отцу Амвросию, каких только гостей ни видала, а такого не было еще в доме ни разу. Бывало, даже губернатор каменец-подольский завернет в гости, но в доме, словно на корабле в тихую погоду: никто тебя и не побеспокоит. А тут на... приказано, чтобы через три часа все было. Мавра еще раз пересчитывает, что нужно приготовить, пока эти высокопоставленные гости изволят прибыть.

— А чтоб вас нечистый взял! Тут только птичьего молока нет, в этом списке.

Никак не уразумеет старая, что и как подать и как прислуживать высоким гостям. А отец Амвросий к себе даже не допускает.

— Мавра, не выводи меня из себя. Сказано — готовь, значит не спрашивай.

Грохнул дверью и побежал, как мальчишка, по ступенькам. Вскочил в карету и — вихрем в монастырь. А оттуда вернулся, заперся в кабинете и послал карету на вокзал.

С ног сбилась старая. Всю прислугу переполошила. Такую кутерьму подняла, что даже уверенный в себе Герш Бухман, постоянный поставщик его преосвященства, вытаращил на нее глаза.

— Да что вы, царя встречаете? Где я вам, к черту, наберу таких вин, которые здесь записаны? Их же только исправник раза два в год берет, вот для него и держу. А вы что придумали?

— Ой, Герш, не спрашивайте. Кажется, это сам исправник и писал. Как бы нам обоим не досталось. Несите лучше.

Предупреждение весьма резонное. Зная исправника, Бухман не спорил. Пока ожидали карету с важными гостями, он соорудил такой стол у преосвященного Амвросия, что сам исправник потом к рождеству на целых полсотни меньше с него взял. Так и сказал ему:

— Молодец вы, господин Бухман. Ей-ей, у вас есть вкус, которого недостает, наверное, и самому гофмейстеру двора его величества императора российского. Вы произвели впечатление.

Герш Бухман, местный король гастрономии, так и до смерти не узнал, как пригодился его вкус в делах господина исправника и его преосвященства. Для него бо́льшее значение имело то, что с тех пор господин исправник стал проявлять интерес к его магазину, а от этого его дивиденты поправились, как на курорте исправникова жена. Мавра тем временем целиком переложила полномочия на Бухмана, хотя и тревожилась, не унизила ли чем православную веру, допустив к столу преосвященного отца Амвросия неверного еврея.

«Но, я думаю, бог простит. Сам же отец Амвросий за руку с ним здоровается. Видно, оно все равно, что еврей, что нееврей. Он ведь тоже богу молится».

Загремела карета. Мавра помчалась к Бухману.

— Ой, Герш, удирайте скорее, чтобы не застал вас отец Амвросий. У него какие-то гости будут.

Бухману и не нужно этого говорить. Зачем ему попадаться на глаза гостям отца Амвросия, на которых этот хапуга так тратится?

Мавра осматривала стол, накрытый Бухманом, как осматривает полководец свое войско перед решительным сражением. Даже умилилась, как все умело и красиво расставлено. Кажется, если вынуть из ряда буты-

лочку да переставить ее на другое место или убрать какую-нибудь тарелочку, то все так и рассыплется на кусочки, превратится в гору посуды и еды. А сейчас — даже глаз радует.

Звонок. Мавра опрометью кинулась открывать дверь. Впилась глазами в прибывших: достойны ли гости такого стола или же зря потели они с Бухманом? Кажется, достойны. Отец Амвросий, обычно суровый со всеми, так любезно и мило улыбается им, даже голову набок склонил.

— Не побрезгуйте, дорогие гости, нашим гостеприимством. Угостить так, как умеет в Петербурге высшее общество, мы, конечно, не сможем, но вкусите хлеба-соли и нашей,— сладко приговаривал он.

Сам открыл перед ними двери и, казалось, готов был устелить собой пол, чтоб им мягче было ступать.

— Да мы, отец Амвросий, сперва желали бы за дела приняться, а там уж и погостить можно было б. Ваш монастырь...

— Э, да что там! Успеете! Дела не убегут, а обитель наша не передвинется. Тело с дороги отдыха просит. Вон посмотрите на господина Тарнавцева — на нем лица нет. Вам, господин Балабуха, не сглазить бы, не повредит и попоститься, а вот господину Тарнавцеву с его здоровьем грех в делах слишком усердствовать.

Повел высоких гостей в свои покои. А сам даже в лице меняется, посматривает, не идет ли на подмогу Масловский. Но исправник отнюдь не торопится: пусть помучают немного старого, страха нагонят. Легче договориться будет.

— Вашими устами да сладкие молитвы творить, отец Амвросий,— сказал синодальный миссионер Скворцов.— Господин магистр богословия Балабуха — большой эгоист. А господина Тарнавцева мы совсем заморили в дороге. Какой же из него получится чиновник особых поручений святейшего синода, если мы его будем так гонять. Пусть передохнет немного в уютном жилище отца Амвросия.

И он первый сел в кресло.

— Садитесь, господин богослов, и уймите свою страсть к делам. Ведь не так уж плохо обстоят они у нас, чтобы отказываться от хлеба-соли преосвящен-

ного балтского пастыря, радушного хозяина этого дома. Сядемте.

— Господин Балабуха только о себе и о богословии заботится. Не удивляюсь, что у него от чрезмерной преданности церковным делам исчезла чуткость к человеческому телу,— проскрипел Тарнавцев.

Компания, разместившись в покоях отца Амвросия, сразу утратила свое официально-деловое настроение и оживилась.

Господин Скворцов восхищенно оглядывал каждое блюдо. А сухощавый Тарнавцев причмокивал губами.

— Умеют жить наши скромники, ей-ей. Я уже не каюсь, что так изморил себя по пути к этой тихой обители. Хвала вам, отец Амвросий, что так удачно подобрали себе гофмейстера.

Весело сели за стол. Только отец Амвросий был озабочен, что до сих пор нет исправника, который должен взять руководство над всем. Ему даже легче стало, когда вошла Мавра и провозгласила:

— Господин исправник спрашивают вас, отче Амвросий, позволите ли войти?

— Зови, зови его сюда,— засиял он от радости.— Очень веселый человек наш Станислав Эдуардович. Приятный гость.

В этот момент господин исправник предстал пред светлым обществом со своей супругой.

— Приятного аппетита, господа, в честной беседе.

— Просим и вас, просим, Станислав Эдуардович. Наш хозяин хорошо отзывается о вас. Да и с первого взгляда видно, что мы с вами подружимся. И с вашей милой супругой, не приревнуйте, приятно познакомиться.

— Я тоже рад знакомству с высоким столичным обществом. Очень рад. Счастлив буду, если придусь вам по вкусу. А от себя скажу, что с удовольствием пожму руку высоким господам и развею скуку провинциала в умном обществе. Надолго ли к нам?

— Да вроде бы и ненадолго. Как дела покажут,— сказал Балабуха.

— Дела? Какие же могут быть дела в нашем тихом городе для гостей из столицы?

Сама наивность позавидовала бы невинному выражению лица господина исправника.

— Разве господину исправнику не известно то, что здесь происходит?

— Вы меня пугаете... Что же у нас произошло столь чрезвычайное, что вы поспешили в наши джунгли из Петербурга?

— Да вам бы об этом лучше знать, Станислав Эдуардович, потому что это и вас несколько касается. Здесь, знаете ли, молдавским мазепинством попахивает...

Господин Скворцов заважничал, словно в департаменте перед ревизией, и строго посмотрел на исправника. Посмотрел — и поразился невинностью его лица.

— Да неужели не знаете?

— А что я должен знать, высокоуважаемый господин, как исправник этого уезда?

— Да то, что у вас под боком не только антицерковные проповеди произносят святители Балтской обители, но и политические делишки обделывают. Не быть бы вам наивным, угадали бы все.

— Ох, и ошибаетесь же вы, господин Скворцов, унижая так полицию его императорского величества. Не будь я в таком уважаемом обществе, то, глядя на этот стол, свалил бы всю вину на игристое. А так... не смею думать, чтобы высокоуважаемые мудрые синодальные мужи были настолько легкомысленны.

— Разве это неправда?

— Не знаю, о чем идет речь. Если о балтском иноке Иннокентии, то это, безусловно, только «страсти-мордасти». Это все преувеличено. Мазепинство, правда, есть, скрывать не стану. Но не там вы его ищете, да и не вам его найти. Мои жандармы, господа, нашли то, что нужно. И мазепинство это не от Иннокентия исходит, а от... Вот не знаю, с кем имею честь разговаривать и могу ли доверять вам государственную тайну?

— Говорите,— важно молвил господин Тарнавцев.— Перед вами авторитетная комиссия из синода. Это вот магистр богословия господин Балабуха, это синодальный миссионер господин Скворцов, а я — чиновник особых поручений синода Тарнавцев. Как видите, заслуживаем доверия.

— Ну, если так... Но сперва прошу вас, отец Амвросий... язык мой с трудом ворочается во рту, не мешало бы его промыть. Простите, что хозяйничаю так

в вашем доме, но у вас, духовенства, совсем нет домашней дисциплины.

— Ваша правда. Благодарю за замечание и нижайше прошу взять на себя обязанности хозяина, с которыми я так плохо справляюсь.

— Ну, тогда прошу, господа, а потом расскажу я вам кое-что, от чего изменится ваш взгляд на дело.

Подняли бокалы. Бухман и вообразить не мог, какое райское блаженство разольется на лицах от одного прикосновения губ к вину. Еще раз поднялись бокалы над столом, снова сверкнуло на свету искристое красное, как кровь, вино, и поплыла беседа плавно, словно лебедь по воде.

— Ну, расскажите же секрет этого дела.

— Вы хотите знать, в чем его суть?

— Интересуемся. Для этого нас и послали сюда.

— Так знайте — евреи! Да, евреи. Только они. Моя полиция уже на верной тропе к раскрытию всей этой грязной инсинуации против православного монастыря.

— Какие евреи? Причем здесь евреи и что за грязные инсинуации? Что вы имеете в виду, Станислав Эдуардович?

— Да, да. Я давно уже знаю, что среди молдаван распространяются слухи о том, будто вскоре не будет российского царя и придет какой-то там их герой или царь. Заинтересовался. У самого, откровенно говоря, было вначале подозрение на Иннокентия. И, хотя и дружим мы с отцом Амвросием, не доверился ему и начал следить за Иннокентием, за обителью и вскоре убедился, что я напрасно стараюсь. Тогда метнулся я в другую сторону и... Теперь уже почти раскрыты эти источники. Здесь замешан студент. А с ним группа молодежи, кое-кто из рабочих. Не сегодня-завтра задержу, и вы сами тогда увидите, откуда идет вся эта зараза. А пока что... Выпьем еще по одной.

Снова поднялись бокалы, сверкнув на свету кроваво-красным огнем и полилась беседа еще непринужденнее. Глаза отца Амвросия тепло засветились в ответ на слова исправника.

— Эх-хе-хе, дружба. И не стыдно вам, милый Станислав Эдуардович? У меня бывали и, выходит, за мной же шпионили, пренебрегши моим пастырским саном?

Сожаление, искреннее сожаление отразилось на лице исправника. Оно и голосу придало теплые нотки.

— Что же могу поделать, отче, если у меня такие тяжкие обязанности? Даже за сыном своим должен следить.

— Я и не упрекаю. Жаль только, что не ценят у нас ничего. В Петербурге все это нам же в вину ставят; сана пастырского, дома божьего не уважают, а это...

— Ничего, отче. Через два-три дня туман рассеется, и правда всплывет.

Общество постепенно пьянело, и господин исправник ясно видел свой путь. Он стелился звездным ковром прямо через покои отца Амвросия, где лежали обещанные 50 тысяч, в Киев, где он должен был стать вице- и затем... затем губернатором. А там...

— Отец Амвросий, инок Иннокентий просит разрешения войти.

— Проси.

— Благословен бог наш, всегда и присно и во веки веков.

— Аминь. Войди, Иннокентий и встань перед высокими гостями от синода. Пусть тебя самого расспросят, пусть убедятся, как тяжко оскорбили нашу обитель.

— Отче, бог не допустит обиды праведному делу. А о гостях ваших я уже слышал. Братия послала просить их и к нам пожаловать.

— Будем,— высокомерно ответил сухопарый Тарнавцев.

Иннокентий сверкнул глазами и вышел. На лице его светилось глубокое удовлетворение. Радость лучилась из глаз. А где-то в сердце затаилась алчная злоба.

— Хима, готовься гостей встречать. Гости важные. Чтобы все было как нужно,— говорил Иннокентий, возвратясь в монастырь.

Серые монастырские стены притаились и застыли в ожидании грозной синодальной комиссии. Казалось, сама земля словно перед бурей прислушивалась каждой травинкой к грозному клокотанию на небе. Тихо вздыхал монастырь, надеясь на благополучный исход. Иннокентий давал генеральный бой.

Трапезная святого Иннокентия сверкала искрами хрустальной посуды. Роскошный зал словно замер в этом блеске, вобрал его в себя, чтобы ослепить потом внезапным снопом огня.

Иннокентий нервно ходил по келье. Тяжкая дума морщиной легла меж бровей, раздувала ноздри. Он был словно загнанный в западню зверь, который шевелит длинными усами, высматривая, за что удобнее схватиться, чтобы потрясти эту загородку, выломать прут подлиннее и стремглав выскочить туда, на волю, где нет угрожающих охотников с ружьями. И уж будто заприметил слабое место в западне, уже измерил силу своего прыжка, внезапного нападения — и снова убедился, что это обман. Убедился и... сник, смягчился, прилег и задумчиво завертел хвостом, размышляя, что же делать дальше.

— Сто чертей! Неужели конца этому не будет? Ведь вот придут, и я встану перед судом высоких господ из столицы, посланных от царя.

И снова ходил всю ночь напролет. Но от этого не становилось легче.

— Хе-хе-хе, господин чудотворец! Неужели ничего не придумаете для себя? А еще советовали тысячам молдаван! Худо ли себя чувствовали перед теми тысячами? А теперь пасуете перед тремя посланцами из Петербурга? А я-то считал, что и здесь будете столь же ловким, как среди того стада.

— Господин исправник, шутить изволите с самого утра? Это неплохо. Рад, что у вас хорошее настроение и что вы так хорошо себя чувствуете. А я вот ходил и все думал, чем бы развеселить нашего любимого господина исправника. Ей-ей, только это и в мыслях имел. Но, вижу, напрасно забочусь о вас.

— Вот люблю, господин чудотворец, когда люди не теряют присутствия духа. Слово чести, вы мне нравитесь. Клянусь, что если бы не имел достаточных оснований и прямого указания губернатора сегодня арестовать вас, даже без разрешения святейшего митрополита, я подумал бы, что на моем месте вы, монаше, а не я. Еще раз подтверждаю это благородным словом дворянина и офицера российской полиции.

Побледнел немного и снова, как зверь, прилег, притаился, готовый к прыжку. Притаился и впился огненным взором в исправника, словно душу его хотел пронзить.

— Речь ваша, господин исправник, очень переменилась. К шуткам остроты, живости прибавилось. Вы просто не стареете никак.

— За комплимент покорно благодарю, монаше. Особенно приятно то, что даже вы научились благородному языку. Очень приятно. Это, наверное, его преосвященство научил вас хорошему тону?

— Не без того. Да и от вашей милости не повредит нам позаимствовать.

— Не повредит, монаше. Но, я думаю, хватит играть нам в вежливость. Не затем я пришел, поверьте мне, чтобы перебрасываться с вами остротами. Есть дела поважнее и для вас и для меня,— сухо закончил исправник.

Загнанный зверь завертелся, завыл, предчувствуя приближение страшной опасности.

— Покорно слушаю господина исправника. Что изволите приказать?

— Вот что... с кем другим, может быть, и разговор вел бы иначе, а с вами по-вашему говорить буду. Слыхивал я о вас историю, а именно историю о тысячах. Знаю и того казначея, и дело об его ограблении лежит у меня, готовое к продолжению. Отец Ананий мне рассказывал, если знаете такого. Ну, да и здесь на вашем счету немало. Поэтому взвесьте, что я вам скажу. Если те, скажем, хотя бы пятьдесят тысяч не перейдут в мое владение... то я, наверное, осуществлю свое право на арест и ведение следствия. Да, да... А в протокол впишу кое-что и про село Липецкое. Понимаете?

— П-по-понимаю, господин исправник. Только... вы, вроде, многовато запросили. Тех тысяч нет у меня, да их, правду сказать, и не было никогда. Поэтому...

— Не торгуйтесь. Времени у меня мало. Вскоре придут ваши гости, и до их прихода мы должны разрешить вопрос: будете ли вы разговаривать с ними как инок здесь, у себя во дворце, или увидитесь, с моего разрешения, в камере нашей тюрьмы. Выбирайте, я подожду.

И он сел. Просто, спокойно, как человек, который находился за день и рад присесть в уютной гостиной.

Сел просто, спокойно и мирно улыбаясь. А зверь прилег и жалобно заскулил.

— Это вы всерьез, господин исправник?

— Так серьезно, как еще ни разу не говорил с вами, монаше.

Исправник развел руками и на мгновение задержал руку в воздухе с протянутым к окну указательным пальцем, к которому так и прилип взгляд инока. Не мог оторваться, будто очарованный каким-то зрелищем.

— Вам так нравятся мои архангелы? Хе-хе-хе! Приятный народ, я вам скажу, эти архангелы. Вы, монаше, не желаете иметь с ними более близких отношений? Хороший народ! Если уж попал к ним в руки — черта лысого вырвешься скоро. Российская полиция тем славится...

— Хорошо. У вас будет двадцать пять...

— Все пятьдесят.

— Извольте. Все пятьдесят тысяч, господин исправник, только не причиняйте мне хлопот и отошлите своих архангелов домой, а дело о казначее положите вот сюда на стол.

— Зачем же так быстро? Куда мне торопиться, если у меня еще нет в руках денег. Что же касается дела, то оно должно пролежать еще два-три года, до истечения срока давности, у меня в архиве, где ему и надлежит быть, а потом уже оно утратит силу государственного документа и я... буду иметь право положить его здесь. Поэтому деньги...

— Как только наши гости уедут, вы их получите у себя дома.

— Благодарю. Но я чту слуг божьих и не хотел бы себя огорчать тем, что беспокою вас в молитвах. Поэтому я желаю сейчас получить их и забыть об этом. А тем временем я не буду мешать вашей трапезе.

— Хорошо.

— Вот так лучше. Только, монаше, не вздумайте... ошибиться счетом... Это сейчас некстати. Слышите?.

Зверь выпрямился, напрягши силы, сломал-таки решетку. И хотя окровавлена лапа, обломаны когти, хотя боль пронизывает все существо, свобода соблазнительно блестит впереди.

Станислав Эдуардович с удовольствием потягивал-

ся в кресле и поджидал покорного, укрощенного зверька, копавшегося в бумажках, в каких-то ящиках и громыхавшего со злости стульями.

— Держите. Только...

— Не ставьте условий. Мне и самому эта обуза неприятна, монаше, и я не стану легкомысленно пачкать свой формуляр. Ну, всего доброго. За трапезой, полагаю, вы меня примете у себя вместе с высоким обществом?

— Просим, господин исправник, всегда рады.

— Хе-хе-хе! Вот и хорошо. Будем друзьями. А впрочем, вон и гости приближаются. Мои архангелы, кажется, вовремя прибыли для чествования высоких гостей. Ну, прощайте, покажите-ка мне, как выйти от вас, чтобы не встретиться с ними.

Ненависть, как и любовь, прибавляет ловкости. В одно мгновение исправник незаметно вышел, провожаемый испепеляющим взглядом Иннокентия, который через минуту уже лучился перед гостями из Петербурга приятной улыбкой.

— Просим, просим в нашу скромную обитель. Всегда рады приветствовать дорогих гостей! Извините, если что придется не по вкусу, мы ведь не из такого общества, чтобы суметь угодить высокоуважаемым господам из Петербурга.

— Отец Иннокентий, да разве мы в гости к вам? Мы обеспокоены делом, которое вы состряпали здесь, в Балте,— зарокотал Балабуха.

Сухопарый Тарнавцев со строгим видом поддержал своего товарища.

— Отец Иннокентий, нас послали сюда проверить жизнь в Балтской обители и соблюдение веры иноками. Поэтому будьте добры рассказать нам, что здесь и как.

— Да что я могу, грешный, рассказать, если вам уже все известно из уст нашего викарного? Он за нами присматривает, он и отчет давать должен. Мы люди маленькие, делаем, как велит святая церковь и наши отцы праведные. А впрочем, и от себя стараемся. Есть у нас обычай мужицкий, вы уж извините, без хлеба-соли от себя никого не отпускать и даже начальству не подчиняться.

Зверь снова прилег и насторожился. Это послед-

вдохновителю и руководителю союза архангела Михаила, опоре самодержавного царя. Этого не мог вынести высокопреосвященный владыка и, успокаивая се-
готовил достойную месть своему заклятому врагу—
скопу Серафиму каменец-подольскому, который так
сле обвел его вокруг пальца. Выискивал способ до-
медоточивый из этих способов внимательно, до-
шивал: Иногда архипастырь тихо смеялся
— Ну, просим ...ыми глазами и подергивая под-
под. Вкусите, будьте до..., ниже подбородка.
иноки шлют вам через меня. ...мог остановиться ни
Скворцов первым шагнул в зал, за отбрасывал,
подталкивая Тарнавцева.

— Эх, лихо вашей матери! — загремел Балабуха.— Ну и умеете ж вы жить, хоть и смахивает на берлогу ваш городок.

— Да где уж нам! Верно, у вас не так встречают гостей.

Отец Иннокентий незаметно нажал кнопку звонка. В зал вошла Хима в белотканой одежде, выразительно обрисовывавшей ее пышные формы. А вслед за ней, как стая белых голубей, впорхнула вереница мироносиц. Они смиренно припали к ногам Иннокентия, выпрашивая через Катинку благословения прислуживать высоким господам за обедом. Иннокентий благословил.

— Это жены-мироносицы, прислужницы нашего храма. Они отреклись от всей родни во имя господне, трудятся и труд свой в миру посвящают обители.

Первая чарка, благословленная отцом Иннокентием, вспыхнула алым огнем и рассыпала искры прямо на белоснежную скатерть.

— За здоровье наших милых хозяев и хозяек,— провозгласил магистр богословия Балабуха.

— На здоровье, господа! Рады всегда вашему обществу! — сверкая вдохновенным взором, выкрикивал Иннокентий, уже считавший сражение выигранным.

Еще мгновение, одна уместная фраза, один выразительный жест мироносицы красавицы Катинки — и вся эта компания забудет официальный тон, беседа приобретет желанную интимность, а там...

— Желаю здравствовать, господа, и веселиться!

— А-а-а, господин исправник, вас только нам и не

ся в кресле и поджидал покорного, укрощенного зверька, копавшегося в бумажках, в каких-то ящиках и громыхавшего со злости стульями.

— Держите. Только...

— Не ставьте условий. Мне и самому эта об[illegible] неприятна, монаше, и я не стану легкомысле[illegible]нтий кать свой формуляр. Ну, всего доброго. [illegible] какая карполагаю, вы меня примете у себя [illegible]нтий, рассчиобществом? [illegible] атаковал строгую

— Просим, господин [illegible]жием своего гастрономи-

— Хе-хе-хе! Во[illegible]

впрочем. [illegible]им же, господа, отведать всех блюд.

[illegible] ударили искры и засверкали в руках рюмки. Вновь опустели и вновь поднялись хрустальные бокалы, вливая в сердца тепло и доверие друг к другу.

Под вечер, когда колокол ударил на молитву, а последний луч солнца утонул в кроваво-горячем блеске хрусталя, сухопарый Тарнавцев, склонившись на грудь красивой Химы, тихо всхлипывал:

— М-м-м, я на приеме у самого государя императора был... и я клянусь вам, что все сделаю для вас, все... Все, что прикажете, мадам, я в вашей власти.

Бой выигран. Балтская обитель одолела самую страшную бурю и, выпрямив мачты, дерзко рассекала грозные волны, надвинувшиеся было на нее из Петербурга.

21

Кофе давно уже остыло на столике высокопреосвященного архиепископа Серафима кишиневского, а седая голова его все еще опущена в глубокой задумчивости. Он словно застыл и прислушивается к чему-то в себе, что кипит, глубоко припрятанное от постороннего взгляда, даже от взгляда ближайшего человека — отца эконома, которому высокопреосвященный Серафим кишиневский доверяет во всем. А кипело в душе его сильно. Кипело оскорбление, нанесенное ему, имеющему немало заслуг перед святейшим синодом, пастырю православного стада, умному и покорному слуге российского престола. Ему нанесли страшное, неслыханное оскорбление. Ему — столпу руссификации Бессарабии, соратнику Пуришкевича и Крушевана,

вдохновителю и руководителю союза архангела Михаила, опоре самодержавного царя. Этого не мог вынести высокопреосвященный владыка и, успокаивая себя, готовил достойную месть своему заклятому врагу — епископу Серафиму каменец-подольскому, который так ловко обвел его вокруг пальца. Выискивал способ досадить и каждый из этих способов внимательно, дотошно исследовал. Иногда архипастырь тихо смеялся про себя, поводя страшными глазами и подергивая подмасленными усами, свисавшими ниже подбородка.

Но сколько ни искал, никак не мог остановиться ни на одном способе мести и каждый из них отбрасывал, как и все предыдущие. А отбросив, вновь принимался за газету и, вычитывая в ней слова позора, словно впитывал их в себя, чтобы лучше осмыслить содержание. Каждое слово он произносил отдельно, желая убедиться, что он читает именно то. Зловещие строки газетного набора кололи, жгли непочтением и дискредитацией высокопреосвященного пастыря. Ненавистное имя, которым была подписана заметка в «Церковном вестнике», разжигало злобу.

«По поручению святейшего синода,— писал архипастырь каменец-подольский,— авторитетная комиссия обследовала жизнь, быт и соблюдение канонов веры в Балтской обители святого Феодосия, где трудится на бога инок Иннокентий, осуждаемый нашим собратом архипастырем кишиневским как человек развратного образа жизни. Как и следовало ожидать, наш уважаемый собрат преувеличил опасность, что с ним нередко случается. Ибо он готов видеть «сепаратизм» и «подрыв государственной власти» в самых невинных выдумках местного духовенства. У страха глаза велики, это правда. Но не следовало бы духовному отцу стоять на пути святейшего синода и наговорами отталкивать праведных иноков от святого дела церкви».

Серафим каменец-подольский открыто издевался над ним в «Церковном вестнике» и явно намекал на то, что Серафиму кишиневскому не удастся повлиять на события в Балте, перехватить богомольцев и прекратить их наплыв к Иннокентию.

А немного ниже был приведен и текст отчета авторитетной комиссии, обследовавший жизнь и деятельность Иннокентия.

«На следствии нами было опрошено более ста свидетелей, которые единодушно подтвердили праведную жизнь балтского инока Иннокентия. Что касается «эксплуатации темного бессарабского крестьянства на почве национальной пропаганды», то уважаемый архипастырь кишиневский напутал. Ни о каком «сепаратизме» не может быть и речи, хотя инок Иннокентий и допустил недозволенный язык в богослужении, а именно молдавский. Но это не мешает ему держать паству в покорности господу и престолу. Выдумка и то, что там распространяется болезнь — эпилепсия. Правда, были случаи, но они единичные и дела характеризовать не могут. Просто это больные и немощные люди, ищущие спасения у господа, что не противоречит догматам христианской церкви, хотя и расходится с известным интересом отца Серафима кишиневского. В Балту перешла почти вся паства кишиневского архипастыря, и выводы отсюда ясны. Однако установить территориальность для церквей никто не может».

— Сто чертей! — злобно крикнул отец Серафим. — Дожить до такого позора, чтобы эта проклятая скотина обошла меня да еще публично высмеяла... Так опозорить меня перед святейшим синодом!

Отец Серафим углубился в свои мысли, снова обдумывая способы борьбы с неожиданными защитниками Иннокентия, которые своим расследованием окончательно выбили у него почву из-под ног, безжалостно разрушили благосостояние церквей и монастырей в его епархии, нагло подорвали бюджет архипастыря, равно как и его огромный авторитет. Самым неприятным было то, что компрометировалась его кандидатура в члены государственной думы, а следовательно, компрометировался он и как политический деятель в Бессарабии. Этого он уже не мог вынести.

«Нет, зазнался хам! Хам берет верх. Где же тогда власть российского престола, крепкая, как стена? Где же церковь российская, страшная, как кара господня?»

И он снова углубился в себя, придумывая всевозможные способы расправиться с противниками, чтобы выиграть этот генеральный бой за позиции князя церкви в Бессарабии.

— Не скажет ли отец святой, что его так тяжко опечалило? — не выдержав, спросил отец эконом.

— Эх, отче, не про вас то лихо...

— Почему же?

Хитро посмотрел в глаза архипастырю и устремил взгляд в землю. Он всегда так смотрел в пол, словно утаптывал его, чтобы удобнее было стоять, врастал в место, и это, хочешь не хочешь, вынуждало с ним разговаривать.

— Так вот...

— А-а-а! Читал, читал.

— Вот то-то и оно...— смущенно пробубнил владыка.— Это не только разваливает нашу паству, но еще и развращает людей, сводит их с пути праведного на путь смут против престола. Оттого и болит сердце.

— Да, верно.— Отец эконом уставился неподвижным взглядом в переносицу владыки и словно повис на ней какой-то тяжестью.— Это так, высокопреосвященный владыка.

— И против этой напасти нужны богобоязненные руки... А их все меньше, отче эконом,— невольно пожаловался владыка.

— Простите мне резкое слово, отче, но вы слишком боязливы. Ей-ей. Только вы не гневайтесь, отче, за мою откровенность.

— Да уж бог с вами. Я сегодня склонен прощать. Вижу, что у вас есть какой-то план. Так что говорите. Если только он будет подходящим, я оценю вашу услугу.

— Хорошо, владыка. Но не забудьте этих своих слов ни здесь, ни в Петербурге.

— Не забуду. И бог не забудет вашу услугу церкви.

— Тогда минуточку внимания. Вы видите, что здесь сама комиссия написала: «допустил недозволенный язык в богослужении». Так. Но вспомните, что в уставе российской церкви, как и в повелениях престола, всякие «недозволенные языки» запрещены. Есть один язык церкви — церковно-славянский. Так?

— Да...

— Поэтому, если допустить, чтобы молдаване вели службу на своем языке, то почему бы, скажем, не разрешить такого и малороссам? Но не есть ли это —

объективно — способствование проникновению сепаратистских идей в среду молдаван? А если учесть ко всему, что мы с вами живем на границе с Румынией, с Галицией...

— Голубь мой! Да у вас же государственная голова! — повеселел отец Серафим.

— Подождите, высокочтимый владыка. Пусть моя голова остается при мне и тогда, когда вы будете сидеть на скамье святейшего синода и государственной думы. Она и тогда вам пригодится, отче.

— Ну что за разговоры! С такой головой вам сенатором быть! Министром!

— Дай бог. Я ни себе, ни вам не враг.

— Вижу, вижу, дорогой мой отче. И в знак того, что я ценю вашу голову, считайте себя игуменом монастыря. Это для начала.

— Благодарю покорно. Голова моя еще не раз вам пригодится. А сейчас разрешите пойти заказать вам билет и сложить ваши вещи в дорогу?

— Куда это?

— В Петербург. Ведь не станете вы писать в «Церковный вестник» о делах государственной тайны? Да и переписываться в том случае, где речь идет о безопасности престола, — не следует. Письмо может попасть и не туда куда нужно (не в те руки, я имею в виду).

— Согласен, согласен, дорогой мой! Снаряжайте меня в дорогу. Сегодня же еду. А там мы еще посмотрим, чья возьмет!

Он бегал по комнате и размахивал руками, словно перед ним стоял уже его враг и он мог схватить его и раздавить своей могучей рукой.

— Посмотрим, кто будет смеяться последним! Посмотрим...

— Пошлите, владыка, за билетом.

— За билетом, говорите? А? За билетом? Хорошо. Шлите за билетом. Сегодня же я покажу вам, кто такой Серафим, архиепископ кишиневский.

В тот же день он выехал в Петербург.

Прошел месяц с тех пор как Мардарь вернулся из Балты, а все никак не решался сделать, как велел святой старец, что встретил его у дороги близ Гидерима. Сердце сжималось от страха перед карой, которой угрожал старый монах за непослушание, но Мардарь не осмеливался бросить свое хозяйство. Посмотрит на лошадей, волов, телеги, на скирды хлеба, и заноет сердце от жалости. Пусть еще хоть до завтра останется. Так и тянул. Оттягивал он и еще один приказ — собирать деньги на святой колодец у дороги. Знал, что обязательно должен это сделать, ибо за непослушание ожидает его страшная кара, какой и свет не видал.

Но, не сделав одного, оттягивал и другое. Встанет рано, бывало, настроится уже в село пойти, а потом остановится. Словно пьяный, всегда ходил, даже осунулся. В таком состоянии и ехал в волость, в Липецкое, через лесок, раскинувшийся по оврагам. Ехал, тяжело задумавшись и опустив голову на грудь.

— О чем, Герасим, думаешь?! Не о том ли, как обмануть господа?

У Герасима шапка слетела с головы. Волосы дыбом поднялись перед страшным видением, свалившимся на него в образе монаха. А монах смирненько сидел на телеге, неизвестно откуда появившись, и с укором смотрел в помутневшие глаза Герасима.

— Или язык у тебя отнялся?

Речь не возвращалась к Герасиму. Только вытаращенные глаза его светились ужасом.

— Имей в виду, человек, что бог видит твое радение о данном обещании. Отомстит он тебе люто, раб лукавый и лживый. Язык твой поганый отсохнет, не будет тебе добра ни на этом, ни на том свете. Так и сгинешь, собака, без исповеди, как куча дерьма. Душа твоя будет блуждать в аду и не найдет спасения от страшных мук.— И монах поднял руку вверх.— Да сбудется, что приговорил тебе Иннокентий — дух божий! Да падет кара его на тебя, и на хозяйство твое, и на жену твою, и на весь твой род.

Волосы зашевелились у Герасима. Появилась откуда-то седая прядь, полосой, как иней, легла через голову. Повисли, как плети, руки, и склонился он, как

дуб подпиленный. А монах куда-то исчез. Только за волостью остановили люди лошадей и привели их к старшине.

— Ты что, мэй, Гераська, выпил так крепко, что и лошадьми управлять не можешь!

— Да где там пил! Ты послушай, что со мной приключилось.— И он рассказал старшине про удивительное видение в дороге. Рассказал все: как пообещал Иннокентию вырыть святой колодец, как замешкался потом с продажей своего имущества и как оттягивал со сбором денег, чтобы люди не сказали, что он берет те деньги себе.

— Плохо ты сделал, Герасим. Езжай домой да посоветуйся с женой и делай, как тебе велено.

С тем и поехал. Он был уже на полпути, когда вспомнил про жуткую встречу и повернул на другую дорогу, в обход. Так внимательно смотрел вокруг — лучше и нельзя. И все же не увидел, как на телегу упал тот же монах и укоряюще покачал головой.

— Раб лукавый и коварный! Опять ты обходишь бога, а он видит каждый твой шаг. Гей, нечистая ты душа! Гореть тебе в пламени адском, если не повернешься лицом к богу и не исполнишь его святой наказ.

С этим соскочил с телеги и стегнул лошадей. Мардарь вихрем помчался через поле домой, едва живой влетел во двор. Свалился с телеги, как куль, и тяжело застонал.

— Мэй, Герася, солнышко, что ты, что случилось?— спрашивала Липа.— Ведь живой, здоровый, что же такое?..

— Не спрашивай. Пэринцел Иннокентий разгневался...

— Ай-я!

— Да. Он послал ко мне своего посланца, и тот дважды опускался с неба ко мне на телегу, тяжко укорял и угрожал мне. Проклянет он нас обоих с детьми и с хозяйством, если мы не исполним его заповеди.

И Мардарь рассказал Липе про то страшное и удивительное приключение, что случилось с ним в степи.

— Так что же мы должны делать?

— А я разве знаю без твоего совета?

Всю ночь говорили они об этих жутких событиях. Только под утро забылся сном Гераська, да и то часто

пугался во сне и вскакивал. А чуть засерело на дворе — в дверь ввалился батрак.

— Эй, хозяин, хозяин! Беда у нас!

— Что случилось? Чего кричишь, как сумасшедший?

— Кони, наши кони!

— Что кони, помилуй нас бог? Украли, что ли?

— Ох, нет, не украли! Не украли... Вон они, там, на леваде...

— Да что с ними?

— Подохли все до одного. Все шестеро коней лежат, горой вздулись. Один упал — и ну кататься. Я к нему: «Васька, Васька», а он уже и не дышит... И так все.

Батрак зарыдал от страха, предчувствуя, что пришел конец службе его у хозяина. Но, к удивлению, Мардарь ласково взял его за плечо и тихо толкнул к лавке.

— Сядь и не плачь. Не нужно плакать. Слезы здесь ни к чему. От бога не убережешь. Сбылось его предсказание.

Герасим вышел из хаты, постоял, посмотрел на дом, как смотрят последний раз на покойника, и, посвистывая, пошел со двора.

Вышел, еще раз оглянулся на свое хозяйство и побрел дорогой прямо в Липецкое. Направился к церкви. Только подошел к селу — навстречу ему целая вереница крестьян.

— Что, мэй, случилось с вами ночью?

— Эх, братья, не о том нужно думать. Некому было травить лошадей. Я столько прожил здесь на хуторе — и ничего. Это мне от бога наказание, и я не жалуюсь...

Шел с крестьянами в село и дорогой все им рассказывал. И люди, от страха забыв все обиды, причиненные Мардарем, сочувствовали ему.

Только поздно вечером вернулся домой. Вошел во двор и ужаснулся. Пустырем показалось подворье, и, как сова ночью, рыдая, ходила по двору жена.

— Ты чего, Липа, плачешь?

— Да вон, глянь, лежат...

Волы его, вздувшиеся, недвижно лежали посреди двора. Только один был еще живой, водил мутными глазами по двору и тихо стонал. Упал на него головой

Мардарь и горько заплакал. Беззвучно, в отчаянии зарыдал, как скряга над пустым сундуком, где раньше были деньги. Потом встал, посмотрел вокруг затуманенным взором, обнял жену, тихо поцеловал ее, поклонился и вышел.

— Куда ты, старый?

— В Балту. Он взял коней, взял волов, забрал хозяйство — пойду отдам и душу.

И не оглянулся больше.

23

— Ну, Станислав Эдуардович, пронесло! Прошумело, как буря, прогрохотало над нашими головами, зацепило только краем. И, откровенно говоря, я не знаю, что бы с нами случилось, если бы не ваша мудрость. Судя по допросам комиссии, дело могло бы принять крутой оборот. Очень вам благодарен, хотя, честно признаюсь, нам это недешево обошлось.

— Э, ваше преосвященство, это пустяки! Большие дела требуют больших эмоций. Не печальтесь. Но все же предупреждаю, что если ваш чудотворец будет чересчур откровенным в своих теориях, мне придется возвратиться к предыдущему. Так и знайте. Потому что уговор уговором, а мой пост вынуждает выполнять возложенные на меня обязанности. Тут уж служба, необходимость, отец Амвросий. Придется применить административные меры и причинить вам хлопоты. Поэтому советую утихомирить его. По крайней мере, убрать его на некоторое время из города, пока все немного успокоится, или как там...

Отец Амвросий посмотрел на него с укором:

— Как это говорят простые люди: «Вам отдай дежу с тестом, а вы будете клясться, что тяжко нести». Кажется мне, милый администратор, наша обитель довольно хорошо загладила свою вину перед вашим прекрасным законом и его блюстителям теперь нет уж повода беспокоиться.

— Это так, но все же... у меня нет желания уезжать отсюда с испорченным формуляром. Даю вам слово, что за нас все же возьмутся. Поэтому предупреждаю:

если только будут сведения, что над вашей обителью поднимается хоть маленькая тучка, я устрою здесь сильный дождь. С тем, владыка, я и пришел сюда к вам сегодня, чтобы предупредить по-хорошему. Мне очень не хотелось бы ссориться с вами после стольких лет мирной и дружной жизни.

— Хорошо. Но я все же не понимаю, что может случиться, если даже такая авторитетная комиссия, как была у нас, признала, что опасности в иннокентьевщине нет.

— Отец Амвросий, вы очень наивный человек, если так. То, что комиссия «признала»,— это одно. А то, что в Петербурге может найтись другая инстанция, которая не согласится с «заключением» этой комиссии,— это уже другое. Я думаю, не стоит напоминать вам о существовании такого учреждения, как третье отделение императорской канцелярии?

Преосвященный владыка передернул плечами, будто из окна потянуло вдруг холодным ветерком.

— Так вот, если вы знаете о таком приятном учреждении, то должны знать и то, что его мнение — самое авторитетное. И вот это милое и симпатичное учреждение — да будет вам известно — несколько интересуется и балтскими чудесами. Да, да, преосвященный владыка, да. Только на днях я получил письмо из министерства, в котором мимоходом спрашивают о некоторых подробностях жизни вашей обители. Посему я подозреваю, что это любопытство не ограничится деликатными вопросами, а пойдет значительно дальше. И вы понимаете, что если эта инстанция интересуется и серьезно о чем-то запрашивает, то и мне придется отнестись к запросу так же серьезно. А все это, не нужно вам и говорить, может привести к... Ну, да вы же не ребенок.

— Это так, но мне совершенно непонятно, почему именно нами должно интересоваться такое уважаемое учреждение?

— Вы будто вчера родились, владыка. Или разыгрываете меня? Но, впрочем, все равно! Вы, мне кажется, не знаете ни нашей страны, ни нашего правительства. Или вы в самом деле думаете, что за вашей святостью министерство внутренних дел и третье

отделение императорской канцелярии не смогут увидеть чего-то другого?

— Решительно не понимаю. Что можно увидеть здесь?

— Вот слепота! Да вы только рассудите: ваш протеже до того обнаглел, что открыто говорит, обращаясь к прихожанам: мол, придет время и постигнет кара российский правительствующий дом за его проступки перед верой; мол, настанет война и царю нашему придет конец, а господствовать будет другой царь, другие, какие-то фантастические, порядки. Даже кандидата на царствование называет — румынского короля, который должен защищать молдаван от несправедливости ымпэрата.

Крестьяне ему верят. Крестьяне его обожествляют, и вы не найдете дома в Бессарабии, где бы не было иконы шестикрылого Иннокентия рядом с Иисусом Христом и божьей матерью, рядом со всеми святыми, на самом почетном месте. К его голосу прислушиваются. И народ уже поговаривает промеж себя, что скоро всему придет конец и будет великая война против нашего царя, что нужно прятаться на это время в пещеры, чтобы выйти оттуда только тогда, когда наступит желанный конец этой жизни. Возможно, этой несусветицей он ничего плохого и не хочет сделать, но нужно учесть и ситуацию: в Кишиневе, в других городах Бессарабии и во всей России сейчас неспокойно. Различные темные, революционные элементы могут использовать в своих целях народное недовольство, и мы, сами того не желая, станем средоточием революционных актов. А какие из этого сделают выводы там, наверху, не следует вам и говорить. Это одно. Второе: имейте в виду, что мы пограничная зона. То есть, мы-то с вами от границы далековато, но иннокентьевщина распространилась даже за границу. Не говоря уж о Бессарабии. Со всей Бессарабии, Подолии, Волыни и даже из Галиции и Румынии буквально плывет к нему люд. А среди этих людей может вдруг оказаться солидный процент богомольцев, которые с божьим именем на устах принесут из-за границы идеи многочисленных революционных партий, находящихся там в эмиграции. Что тогда скажете вы?

— Да-а-а! Я понял вас. Действительно, мы только

на время избежали опасности... чтобы нажить еще большего лиха. Учту, милый Станислав Эдуардович, и приму меры. Да, да. А вам большое спасибо, что открыли мне глаза.

Преосвященный владыка заходил по комнате в глубокой задумчивости. В голове его обрывки мыслей, и он не мог собрать их в нечто единое.

Господин исправник следил за ним, и едва заметная улыбка блуждала на его губах.

— Да, господин исправник, вы действительно дипломат, следует вам сказать. Ведь вы и раньше знали, что дела складываются так?

— Не совсем, конечно...

— И все же знали и молчали?

— И... молчал. Это же понятно! У вас свой интерес — церковь, у меня свой — государство.

— А ведь это, Станислав Эдуардович, одно, если вы понимаете. Да?

— Но все же...

Исправник заколебался.

— Все же? Откровеннее, господин исправник.

— Мы с вами люди практики, преосвященный владыка. Вы — в своей области, я — в своей. Каждый из нас руководствуется своим интересом, своим делом. В интересах своего дела не мог же я открыть вам, что движет мной в моих поступках, видя, что вы свои мысли прячете от меня. Так ведь?

— Ну, скажу я вам, вы же и...

— Ну, откровеннее, откровеннее, преосвященный владыка! Я не буду на вас в претензии за искренность. Мы же только вдвоем, и, кажется, наша сегодняшняя беседа носит познавательный характер...

— ...Бестия вы, вот что!

— Хо-хо-хо! Пан отец! Все мы люди, и только люди. И каждый из нас не меньше другого человек, уверяю вас, отец Амвросий. Ну, и на этом будьте здоровы. «Товар обратно не принимается», как говорит господин Бухман. Прощайте!

...Веки сами слипаются у владыки. Стоя спит он тяжким кошмарным сном и видит жуткие сцены нарисованной исправником перспективы. Хочет крикнуть старик, но не может. А перед глазами раскаленной точкой где-то вдали светится его домашний сейф с

открытой крышкой. И из сейфа, в томном танце, сцепившись друг с другом, выплывает неразрывной цепью ряд блестящих сине-зеленых бумажек с портретом царя Петра I и огненными буквами: «500 рублей». И на первой из них вдруг шевельнулась царская голова. Она зловеще усмехнулась, потом захохотала и, кривляясь, с укором и злобой въедливо зашептала:

— Дурак. Старый и наивный младенец. Старый остолоп.

И исчезла.

24

Отец Иннокентий в глубокой задумчивости чертил что-то на чистом листе бумаги. Он и не заметил, как в комнату вошел отец Амвросий. Встрепенулся, когда уже услышал его скрипучий голос.

— Учтивости, инок, не вижу в обители. Старших встречать не умеете.

Обернулся к викарному отец Иннокентий. Ироническая улыбка промелькнула на губах и спряталась где-то в пышной бороде. Даже не пошевелился, только голову повернул к отцу Амвросию и уставился на него блестящими глазами.

— Извините, владыка, не слышал. Слишком уж заботы донимают меня. Все вот думаю, куда из Балты поехать, свет посмотреть. Вы, отче, таких терзаний не знаете, у вас ровная, спокойная жизнь.

Нахмурился викарный. Это пренебрежение к его особе больно задело его самолюбие.

— Не шути, пастух...— гневно прошептал отец Амвросий.— Пора научиться вежливости...

Иннокентий, сидевший до сих пор со спокойной улыбкой в своем кресле, вдруг резко поднялся и выпрямился перед отцом Амвросием во весь свой гигантский рост. Казалось, он стал внезапно выше не только физически, но и духовно. Пристально, долго смотрел на викарного... Нет, не на него, а в его душу, и будто исследуя ее, прикусил губу. А погодя молвил:

— Мне кажется, отче Амвросий, что уважения могу требовать и я. Как вы думаете? Хватит уж меня пастухом упрекать, за давностью пора бы и забыть.

Отступил на два шага, глянул на пораженного кня-

зя церкви и будто одержимый, стремительно, дерзко понес:

— Да, я пастух. Неотесанный, неученый мужик. Правда. Однако так было. Но теперь мы равны. Слышите? И вы, и я из неотесанных, неученых мужиков. Вы хотите жить, я — тоже. Вы по-своему, я по-своему. Что касается нас с вами, высокочтимый отче, то разрешите выяснить наши отношения с глазу на глаз. Хорошо, что нас никто не слышит. Так вот, давайте посмотрим хоть раз правде в глаза, и вы увидите, что мы с вами стоим на одной ступеньке. Только и разницы, что вы в митре, а я в клобуке, вы князь церкви, а я простой инок. Но это для мира, а не для нас с вами.

Иннокентий нервно прошелся по комнате и опять остановился перед отцом Амвросием.

— Я мужик, неотесанный хам. Да. Хорошо, пусть будет так! Но, преподобный, высокочтимый и высокоблагородный отче, за чей счет вы живете? Кто купил вам тех серых и вороных лошадей и карету? Бог дал? Не от меня все это? Но разве мои деньги лучше, чем я? Иль брать ворованные деньги честнее, чем самому их воровать? Погодите, погодите, дайте мне высказаться до конца. Я думаю, что законы наши поступают вполне правильно, наказывая вора так же, как и тех, кто прячет ворованное. А мы с вами сейчас в таком положении: я вор, ворую и знаю, что ворую копейки. Знаете об этом и вы. Почему же вы не выдали меня? И не с вашего ли благословения я стал тем, что есть? Вы же укрываете меня, чтобы заработать на мне, чтобы моими руками загребать тысячи, лошадей, роскошную обстановку. Так вот, владыка, я не хочу больше быть хамом при вас. Знайте, если вы и в дальнейшем станете так обращаться со мной, будет худо.

Отец Амвросий сел. Бессильно опустился в ближайшее кресло, словно обмяк всем телом.

— Вот так, отче. Но вы не очень волнуйтесь. Я это придерживаю на самый конец, торопиться мне некуда. Если только вы меня не выставите из Балты.

Отец Амвросий сидел позеленевший и молча слушал. Он так растерялся, что никак не мог собрать рассеянные мысли. Стучало в висках, и тоскливо ныло сердце. Где-то внутри перекатывалось что-то терпкое и горькое, нестерпимо щекотало в горле. И наряду с

этим в сознание настойчиво врывалось неотступное видение — обрывок надоедливого романса, который в последнее время не оставлял его:

Так не лучше ль с наболевшею душою
На минуточку прилечь и отдохнуть?..

И таким желанным, таким соблазнительным казался ему этот отдых, так хотелось лечь, зарыться головой во что-то мягкое, завернуться в пушистое одеяло и уснуть умиротворенному под сенью давно забытой, искалеченной любви ранней молодости, которая неизвестно почему вдруг вспомнилась ему.

А Иннокентий величественно возвышался над его согбенной фигурой и хищно и злобно улыбался, сверкая острыми глазами. Смотрел на жалкого отца Амвросия и еще больше вырастал над ним, как бы устремляясь ввысь.

— Ну, вот что, отец Амвросий, забудем этот неприятный разговор и не будем больше возвращаться к нему. Но с одним условием: вы бросите этот презрительный тон, это пренебрежительное, барское отношение ко мне, введете меня в свое общество и станете обращаться со мной почтительно. В противном случае мы с вами навсегда побьем горшки. Я уж не тот, что раньше. А теперь говорите, зачем пришли? Вы же не приходите ко мне просто так, в гости. Гордитесь, уважаемый отче, пренебрегаете гостеприимством.

Злобно и ехидно улыбаясь, он сел напротив склонившегося отца Амвросия и уставился на него. И вот то, что он так сел и так посмотрел на отца Амвросия, что так свободно развалился в своем кресле, вдруг оживило викарного. Он резко, рывком вскочил, пробежал несколько шагов до угла, где стоял посох Иннокентия, и быстро схватил его.

— Э, нет, преподобный отче! За посох не следует хвататься,— брезгливо скривил губы Иннокентий.

Он нажал на звонок. Вошел Семен.

— Дай воды. Или лучше принеси холодного вина, только не крепкого. Преподобному пастырю стало плохо.

— Можно было бы и не звать эту харю. Не стоило показывать меня в таком виде,— заметил отец Амвросий.

— Вам стало очень плохо, преподобный владыка, а

я в таких случаях беспомощен. Да вы не беспокойтесь, он не понял. Подумает, что старому епископу нездоровится, вот и все. Возраст же ваш...

Отец Амвросий повернулся к нему и уже тверже посмотрел в глаза.

— Слушайте, инок.

— Слушаю, ваше преосвященство, покорно слушаю, если вы будете говорить что-то дельное, а не обзывать меня пастухом.

— Бросьте,— склонив голову и тяжело дыша, выдавил из себя викарный.— Бросьте, говорю. Если я сейчас не зову исправника, значит хочу с вами говорить.

Иннокентий сверкнул глазами.

— Напрасно бы беспокоились, отче. С исправником мы поладили давно, и от него я решительно не ожидаю никакой пакости.

— Это все глупости, инок. Вы послушайте меня. Между нами не должно быть раздоров. Я тоже буду откровенен. Мы с вами если и виновны, то одинаково. Это верно. И этого не скроешь. Но и у вас, уважаемый чудотворец, не так все обстоит, как вы считаете. Пастух — всегда пастух, хоть ты его одень в царскую мантию. Это вы себе заметьте. У вас хватит ума пасти свиней, но не обмозговывать солидное дело. Слышите? Вы только грубая, неповоротливая скотина. Так и знайте. И между мной, дворянином и епископом, и вами, свинопасом и хамом, всегда будет зиять пропасть, которую сравняет только смерть. Понимаете? И поэтому я вам не соучастник, я голова, которая вами управляет, а вы исполняете. И, если потребуется, я найду способ от вас избавиться. Ясно?

Голос его крепчал. Иннокентий пытался уже прервать эту речь, но отец Амвросий резко остановил его.

— Молчать. Я вас слушал, слушайте и вы меня до конца, потом будете угрожать. Правда, ваш ограниченный умишко не поймет этого, но вы почувствуете все же одно — страх, и он продиктует ваше поведение.

Владыка передохнул и еще увереннее продолжал:

— Над нами, чудотворец, нависла беда. Непоправимая и неумолимая, если я не возьмусь за это дело. И идет она не от исправника, а из Петербурга, из святейшего синода и жандармского управления. Принялись за нас не какие-то там из духовенства, а большие, стоящие

у власти люди, которые могут свернуть и не такую воловью шею, как ваша. Так вот, пока не поздно, хочу вас все же предупредить. Знаю и понимаю, чего вы желаете. И откровенно скажу — мне не хочется терять вас. Поэтому и забочусь о вас. Но с условием, что вы все же не будете лезть в мою компанию. А теперь возьмите эту бумагу и прочтите,— подал он письмо Иннокентию.

«Высокоуважаемый отец Амвросий!

Почитая за личную честь услужить вашему преосвященству, тешу себя надеждой, что вы не забудете меня в своих молитвах господу, как не забудете и моей услуги. Заранее благодарный, тороплюсь известить вас об одном очень для вас интересном деле. Только вчера, будучи в канцелярии святейшего синода по делам своей епархии, я встретился там с преосвященным владыкой — отцом Серафимом кишиневским. Владыка был гневен, спешил и все добивался увидеть управляющего канцелярией, чтобы добиться аудиенции с оберпрокурором святейшего синода. Я, движимый естественным любопытством, спросил сегодня кое-кого в канцелярии, зачем так срочно потребовалась отцу Серафиму аудиенция. На все вопросы я получал один ответ: «Жалоба на Балтскую обитель». Я заинтересовался всерьез и за немалую мзду мне удалось прочесть эту жалобу и выписать из нее главные пункты. Вот они:

«В обследовании синодальной комиссии сказано, что ничего противозаконного или противоцерковного в деятельности инока Иннокентия из Балтской обители нет, кроме того, что он допустил в богослужении недозволенный язык — молдавский. Не смею думать, что синодальная комиссия отнеслась к делу несерьезно, но дерзаю опровергнуть это мягкое заключение комиссии, не знакомой с национальными особенностями края. Край наш — пограничная провинция Российского государства — населен инородцами-молдаванами, а границы его соприкасаются с другими землями, в которых имеются чуждые, антигосударственные элементы, настроенные враждебно к царскому престолу. Недозволенный, негосударственный молдавский язык, на коем проводит богослужение в церкви Иннокентий, дает толчок национальным течениям в Бессарабии. Уже сейчас есть сведения, что по инициативе духовенства и учителей в селах создаются молдавские школы и всякие культур-

ные общества. А это таит в себе опасность по отношению к престолу и государству. Запрещенная в нашей державе молдавская школа будет питаться поддержкой Румынского королевства, темные силы будут раздувать это течение, и вскоре мы будем свидетелями нового движения за автономию — молдавского. К этому должен прибавить, что среди украинцев это антигосударственное движение будет пользоваться симпатией.

Доведя все это до сведения святейшего синода, я как верный сын церкви и престола смело выскажу еще одну мысль: боюсь, как бы мы не стали плацдармом националистической диверсии румынских и австрийских захватчиков. Особенно в такой острой политической ситуации, как современная.

К сему добавлю, что мысль моя не расходится с мыслями господ Пуришкевича и Крушевана, которые известны державе как верные сыны престола его величества. Они подтвердят мои слова и присовокупят к тому же, что Иннокентий уже и теперь есть политически опасная фигура».

Это, ваше преосвященство, самое главное в той жалобе, на что здесь обратили внимание. Атмосфера напряжена против вас очень, но из всего этого я знаю только, что Иннокентия хотят выслать из Балты. Куда — не успел узнать. Но, зная о симпатии к вам и Иннокентию преосвященного моего пастыря Серафима каменец-подольского, думаю, что вы предупредите события, если сами вышлете Иннокентия куда-либо на послух, хотя бы к нам. Епархия наша близко, разоряться вам не придется, а когда утихнет буря, он сможет снова вернуться. Совет мой вам от души, как и моя надежда: возвратите мне 2000 рублей, истраченные на взятку чиновникам за секрет, и не оставьте без внимания мою услугу вам и церкви».

— Это пишет мне управляющий каменецкой консисторией, инок. Выходит, не все так гладко, как вы думали, милый пророк. И вот, от меня и исправника зависит, отведем мы эту угрозу или позволим ей разразиться над вашей головой и разбить ее вдребезги, как стеклянного болванчика. Если вы позволите себе хотя бы слово в таком же тоне, какой допустили накануне, то... мне придется с вами распрощаться. Конечно, перед тем я кое-что скажу о вас для протокола суда и...

— Я слушаю вас, преосвященный владыка.

— А я говорю вам, инок Иннокентий! — Он посмотрел на сникшую фигуру Иннокентия и улыбнулся.— Я говорю вам: из Петербурга на нас надвигается гроза. Кое-кто из духовных отцов так накрутил в синоде, даже жарко стало. Пуришкевич, Крушеван — тоже не шутки. А теперь — надеюсь на вашу мудрость.

— Деньги нужны, владыка...— шепотом сказал Иннокентий.

Отец Амвросий пренебрежительно усмехнулся.

— И все же голова у вас пастушья, чудотворец. Бывают такие ситуации, если вы понимаете это слово, когда даже деньги бессильны помочь. А это как раз такая ситуация. Здесь ваши деньги будут просто неуместны. Там, где речь идет о том, носить ли митру в провинции или заседать в государственном совете, ваши деньги — ничто, тля, можно сказать... И вы... вы все же невежа.

Иннокентий будто и не слышал оскорбительных слов. Только одно занимало его: как выпутаться из этого сложного положения, в которое он внезапно попал.

— Тогда что же делать, владыка?

— Что? Уехать отсюда как можно быстрее. Это единственный выход...

— Как уехать? — воскликнул пораженный Иннокентий.— А паства? Где же тогда, отче, ваша защита?

— Хе-хе-хе! Вы не понимаете даже такой простой вещи! Если я вас сейчас не отправил к исправнику, видимо, я не хочу терять вас. Так вот, вы уедете отсюда, но не уедет монастырь, мощи, святыня; останется ваш порядок, имя ваше...

Иннокентий вспыхнул. Он понял, и в голове его уже возник план. Он не упустит удобного случая выпутаться из этой беды. Он не сдастся!

— И куда, преподобный отче, думаете вы меня сплавить? В далекую ссылку или так, как вам советуют?

— Не бойтесь. Я отправил сегодня отцу Серафиму каменец-подольскому срочное письмо, а в Петербург написал, что посылаю вас на покаяние за те проступки, которые вскрыла синодальная комиссия. Мы парализуем действия синода, и все его выводы будут предупреждены. Понятно?

— Понятно. Я готов.

— Хорошо. Но уясните себе, что я делаю это не про-

сто так. Мы будем придерживаться условия. От вас я смогу все-таки избавиться, если захочу. Поэтому ставлю условие — увеличить вклад в мой собор и поладить с исправником, как уж вы там сами сумеете. Это не мое дело.

Поднялся и пошел к двери, не оглядываясь. Иннокентий открыл ему дверь и крикнул отцу Кондрату:

— Проводи господина викарного вниз.

Отец Амвросий ушел, а Иннокентий стоял, задумчиво ероша бороду. Глубоко задумался балтский чудотворец над сложным планом. Но боязни или растерянности теперь не было. Он уже дерзко смеялся над своим маленьким сереньким страхом, который выпрыгнул из его души и, жалобно скуля у его ног, исчез.

25

Отец Кондрат до самых ворот проводил викарного, поддержал его за костлявую руку, пока тот садился в карету, закрыл за ним дверцу и низко поклонился, почти до земли. Так и стоял, согнувшись, пока не тронулась карета и не покрыла пылью его склоненную голову. Не видел, как мелькнули руки отца Амвросия, благословившие почтенного старца. Впрочем, успел приметить возле монастырских ворот гораздо более внушительную фигуру, целиком приковавшую его внимание. Человек стоял у ворот на коленях, набожно скрестив руки. Когда отъехал викарный, отец Кондрат подошел к склоненной в поклоне фигуре и спросил:

— Что привело тебя, раб грешный, в нашу обитель, чем провинился ты так перед господом?

— Срочно нужен отец Иннокентий. Будь добр, помоги увидеть его.

Отец Кондрат нахмурился.

— Проклят ты, раб лукавый. Пошто тебе нужно видеть обманываемого бога? Ты же избегал встречи с ним, а теперь пришел к нему за благостью? Иди, молись в его святом доме, а потом увидим.

И не оглядываясь, пошел в покои Иннокентия предупредить о прибытии Герасима. Иннокентий сурово и безразлично слушал. Но вдруг что-то блеснуло в его взгляде, и он резко повернулся к отцу Кондрату.

— Ты хорошо сделал, что послал его в церковь. Вели задержать его там, он мне нужен. Теперь иди и прикажи готовить в большой трапезной вечерю. Да стой... перед тем как я приду на трапезу, позовешь ко мне того вахлака. Иди. Но стой, ты ничего ему не говорил о том, что у него случилось?

— Нет, я только намекнул ему, что он обманывал господа.

— Хорошо, иди. Но сейчас же возвращайся и созывай всех...

Иннокентий зашагал по комнате в каком-то экстазе, напряженно обдумывая предстоящую беседу. Вдруг повеселел и, улыбаясь, нажал на звонок. Вошел отец Кондрат.

— Зови ко мне того вахлака.

Отец Кондрат опрометью кинулся вниз, а Иннокентий, шагая по комнате, вернулся к прерванной мысли и еще веселее заулыбался.

Уже не видно было и следа озабоченности на его лице, а только вдохновение азартного игрока, у которого хорошая карта и возможность изрядно выиграть, выиграть все, а может, и... все проиграть, если не повезет. Но в руках масть, которая никогда ему не изменяла. Впрочем, нужно было еще поразмыслить и сделать такой ход, какого никогда не делал самый азартный и отчаянный игрок.

В дверь постучали.

— Войдите! Войдите с миром! — почти весело крикнул он.— Кто там?

Вошел отец Кондрат, а за ним жалкий Герасим, который словно принес с собой в комнату часть своего поля, неторопливую поступь быков и скрип немазанной подводы. Вошел и стал у порога. Отец Иннокентий принял строгий вид и сурово молвил:

— Знаю, знаю, лукавый раб, что привело тебя ко мне. Думал обмануть господа, обойти его своим жалким умом. Но бог карает строптивого за непослушание.— И приблизился к нему вплотную.— Жаль лошадей?

— Жалко, отче! И быков жалко, преосвященный владыка.

— А как же мне, подумай, не жаль людей целого села, которым из-за тебя, негодный раб, в дни страш-

ного суда нечем будет смочить свои жаждущие губы? Как ты думаешь, мне не жаль тех младенцев, не познавших еще господней благости из-за твоего непослушания? Тяжкой кары заслужил ты, но господь милостив, и я прощаю тебе твою вину. Благословляю рыть колодец. Иди и копай, как велено. А сегодня еще побудешь у меня.

Иннокентий прошел по комнате, круто повернулся и, твердо шагая, подошел снова к Герасиму. Посмотрел пристально в глаза и, что-то припомнив, кликнул отца Кондрата.

— Позови мироносиц. Скажи, чтобы приготовили омовение, а потом шли сюда.

Отец Кондрат вышел, а Иннокентий сел против Герасима и, уставившись на него гипнотизирующим взглядом, жестко спросил:

— Сколько у тебя земли?

Герасим будто и не понял вопроса. Смотрел на него затуманенным взглядом и молчал. Иннокентий еще пристальнее глянул на него и снова спросил:

— Сколько земли имеешь? Или не хочешь отвечать отцу твоему?

— Пятьдесят десятин, отче, своей... Да еще десятин сто арендуем у крестьян Липецкого. Этой осенью должен был еще прикупить немного, да вот...

— Что?

— Видно, не нужно, отче... Нечем работать, да и не нужно уже. Пойду под кров твоего храма.

Пауза. Долгая. Напряженная. Пока она длилась, Мардарь успел попрощаться со своей землей, с хозяйством, обойти все поля, раскинувшиеся на равнине от хутора вплоть до села Липецкого, обошел и потрогал каждый куст винограда, дававшего ему ежегодно бочки отборного вина, ушел далеко-далеко от опустевшего подворья. И рыдала, разрывалась от жалости к своему добру душа старого собственника, заглушая страх перед тем, кто отнимал у него все это. И вот уже возвращался он из своего далекого странствия и готов был вцепиться зубами в край своей нивы, охватить ее и, придавив грудью, защищать до последней капли крови, до последнего вздоха. Уже и слово нужное нашлось, сползло на кончик языка, но... не пробралось сквозь густую нечесаную бороду и застряло в ней. Так и застыли открытые

губы с за́мершим на них словом беспредельной жалости к себе.

Иннокентий внимательно следил за лицом Герасима. Оно было словно из гранита. Твердое, несокрушимое. Именно такое, какое бывает у закоренелого собственника, готового принять смерть за свой кусок поля, за своего быка, за свою лошадь. Именно такое лицо бывает у человека, готового за украденную курицу лишить жизни нищенку.

Или у того собственника, который, поймав карманщика, укравшего у него три копейки, набожно перекрестится, скажет: «Господи, помоги»,— и спокойно, уверенно занесет над ним топор. Иннокентий знал таких. Поэтому-то посуровело его лицо, когда он углубился в свои мысли.

— Так, говоришь, пятьдесят десятин есть? Вместе или как?

— Вместе, святой отец.

— Ну, хорошо. Ты вот что... Землю пока что не продавай. Слышишь? Земля должна пойти церкви. А у тебя будет больше, чем было, добро твое приумножится, и ты вознесешься выше всех. Ты будешь, как Авраам, отцом людей и возвеличишься...

Не окончил. Отошел в сторону, сжал руки и уставился в окно. Капли пота выступили на высоком лбу, а глаза запылали, как два уголька. Не поворачиваясь, опять обратился к Герасиму:

— Так слышишь? Землю не продавай. Сиди пока что в своем хозяйстве и жди прика́з. — Помолчал.— Господь имеет для тебя особое назначение, и ты будешь прославлен, как пророки, как отцы церкви. Слышал? Нехристи одолевают православную церковь, подбираются к отцам ее, поносят веру господню, и ее нужно защищать. Бог избрал тебя, раба своего, для защиты церкви. Готов ли ты?

Готов ли Мардарь? Готов ли он не продавать землю, а сидеть на ней и умножать свои богатства, как сказал господь? Разве спрашивают камень, готов ли он неподвижно лежать у дороги, если в этом его назначение? Разве спрашивают голодного, готов ли он съесть что-либо? Разве спрашивают жаждущего, готов ли он выпить холодной чистой воды?

Герасим любил свою землю. Любил не как труже-

ник, наслаждающийся результатами своего труда; любил ее, как любит скряга проценты, их рост, как любит зверь кровь, пьянящую его своим теплом, азартом счастливой охоты, как любит грабитель беспомощность ограбленного. Он не совсем понял Иннокентия, он только почувствовал, что ему не нужно продавать свое добро и что он может остаться при хозяйстве, а от этого играла, бурлила кровь сытого хозяина-богача.

— Готов, отче. Говори, что потом должен делать, как услужить господу?

Иннокентий позвонил. Шустро вбежал отец Кондрат, возбужденно глянул на обоих.

— Возьми отведи его к смиренным женам, пусть очистят его сперва от грехов, а потом приведешь ко мне, когда скажу. Иди за ним,— обратился он к Герасиму,— и помни, что господь избрал тебя на защиту своей церкви и ставит тебя стражем при ней.

Как во сне, пошел Герасим за проводником. Как во сне, вступил в незнакомую пышную комнату, посреди которой был зеркальный бассейн, отражавший звезды. Как во сне, смотрел он на все и... был очарован видением. Вокруг бассейна стояли со свечами в руках двенадцать женщин в белых одеждах и с белыми повязками на головах, и спокойная гладь воды отражала двенадцать пучков пылающих свечей, мерцая, как звездное небо ночью. Слух Герасима пленила мелодичная песня, лившаяся словно откуда-то издалека и тихо шелестевшая под высокими сводами. Шагнул вперед — и задохнулся от запаха смирны и ладана, который тучей надвинулся на него из самой дальней комнаты, устланной дорогими коврами. А двенадцать женщин неподвижно стояли и пели молитвы. Герасим остановился над краем бассейна и, очарованный, рассматривал обстановку. Он чувствовал, как страх — это ужасное чудовище — потихоньку выполз откуда-то из глубины души, схватил его за горло, сильно сжал и зацарапал острыми когтями по спине. Волосы зашевелились на затылке, по телу поползли мурашки, и крупные, холодные капли пота покатились по лицу. Хотел двинуть рукой, но она будто приклеилась к боку. Хотел шевельнуть языком, но он одеревенел во рту. Он должен был подвинуться вперед хотя бы на шаг, чтобы рассмотреть привидения в белом, но ноги прочно приросли к полу, покрытому ков-

рами. Хотел повернуть голову, но его толстая шея стала твердой, как мореный граб, и голова не поворачивалась.

И отовсюду веяло на него ароматом смирны и ладана, лился неудержимый поток мелодичных звуков, а ясные зори, мерцавшие в темном спокойном плёсе, привораживали взгляд.

Сзади кто-то его подтолкнул. Одеревеневшими ногами зашагал Герасим, огибая бассейн, к группе женщин в белом. Недоуменно смотрел на них и, дрожа всем телом, приближался. Вдруг от них отделилась одна — с беломраморным лицом и изогнутыми бровями. Подошла близко, передала пучок свечей отцу Кондрату и белыми гибкими руками взяла его за полу свитки.

— Приблизься к престолу господню, раб божий Герасим.

Мелодичный и проникновенный голос глубоко поразил Герасима. Он уже не сводил глаз с этого беломраморного видения. А оно тихо, плавно двигалось по пушистому полу к высокому аналою с евангелием.

— Встань на колени и поклонись господу и его святому духу Иннокентию, дарующему тебе высокую милость свою.

Покорно, словно ребенок, стал Герасим на колени и зашептал непонятные слова какой-то странной молитвы, никогда им не слыханной.

Но вот белое привидение снова берет его за плечо. Герасим поднимается и опять тихо движется вдоль комнаты по пушистому ковру, чуть переступая с ноги на ногу. И опять перед ним спокойный темный плёс. А на краю его мраморная белая скамеечка с наброшенным на нее красным бархатным покрывалом. Кто-то слегка нажал на его плечо, и Герасим сел. Белая тень нагнулась и прикоснулась белоснежными пальчиками к запыленным сапогам Герасима. Дернула раз, другой — и сапог сполз с холодной не сгибавшейся ноги. Герасим оторопело смотрел на видение и покорно подставил вторую ногу. И второй сапог сполз с ноги, и он опустил голые ноги на пушистый ковер.

В голове был туман, глаза слепил блеск свечей, пылавших вокруг него, и Герасиму трудно было видеть себя, всего голого, в темном, спокойном зеркале воды. Он только ощутил, как чьи-то дрожащие, холодные руки легли на его немытое тело, взяли за руки и повели

к спокойному плёсу. Глаза на лоб полезли, когда, стоя в воде по пояс, он увидел рядом с собой это беломраморное чудо с черными косами. Женщина необыкновенной красоты стояла нагая, пригоршнями брала воду и плескала ему на голову. Тихо, покорно приседал в воде, чувствуя, как мягкие руки терли его чем-то жестким, поливая водой, сбегавшей холодными струйками с его тела.

А песня плыла, плакала, тужила над ним, умиляя слух мелодичными звуками, лившимися откуда-то сверху. Запах смирны и ладана дурманил, голова кружилась и слегка покачивалась из стороны в сторону. И не мог упираться Мардарь, не мог отстраниться от привидения, касавшегося его то пышной грудью, то голым бедром и мягко гладившего его огрубевшую кожу нежными руками.

И вдруг песня стала громче, взвилась выше, вдохновенно загремела под сводами. Звезды во взбаламученном плёсе быстро запрыгали, аромат смирны и ладана окутал еще более густым туманом. Непроизвольно поднимает Герасим голову и... глаза выкатываются из орбит: с высокого свода прямо на Герасима Мардаря тихо опускалась смуглая фигура с повязанными чем-то белым бедрами. Фигура приблизилась и погрузилась в воду рядом с ним. Оцепенел Герасим и окончательно лишился рассудка. А фигура повернула к нему свое лицо и громко, торжественно трижды промолвила:

— Ныне отпускаем раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром.

И трижды по три раза полила его голову водой.

— Яко Иоанн Креститель, выкрещиваешься ты, Герасим, на службу богу. Страшной клятвой клянусь, что не отступлю от своего обета перед его престолом. Клянешься ли ты?

— Клянусь.

— Не отступишь от своей клятвы?

— Не отступлю, господи.

— Повторяй за мной слова страшной присяги.

Иннокентий поднял два пальца правой руки, возвел глаза и торжественно начал произносить слова клятвы.

— Клянусь господу богу, что отныне становлюсь на службу его святому престолу и навеки вечные. И не отступлю от этой моей присяги, хотя бы пришлось стра-

дать в тюрьмах, на каторгах, хотя бы и смерть принять, разлучиться с женой, детьми, потерять все добро и умереть в неволе. Клянусь твердо, нерушимо исполнять веления сына божьего Иннокентия и поступать по воле его. И если отступлю, пусть земля подо мной разверзнется и поглотит меня, пусть огонь сожжет или вода затопит меня, пусть не будет добра мне ни на этом, ни на том свете, ни жене моей, ни детям моим, ни всему роду моему. Пусть тогда мучаются веками на страшном огне в аду у дьявола и пусть не знают пристанища на земле до конца дней моих, а после смерти пусть земля не примет меня и выбросит на посмешище на проезжую дорогу. Клянусь на этом слове моем именем господа и его сына Иннокентия, в коего я верую твердо и непоколебимо, что он есть сын и дух божий, и за эту веру я умру, аминь.

Герасим повторял слова присяги, как в лихорадке. Произнес, будто выстонал, это страшное заклятие и словно испытал уже на себе все перечисленные беды. Иннокентий отошел от него, и фигура его тихо поплыла вверх, благословляя Мардаря. А белый голубь долго летал под сводами, бился о потолок.

Снова подошли к нему женские фигуры, вывели его из воды, вытерли, намазали миром и одели в черную блестящую рясу поверх белого чистого белья. И, подхватив одетого под руки, с тихим пением повели вверх по ступенькам.

Герасим шел сам не свой. Ему казалось, что все это происходит во сне. Наконец он очутился в какой-то комнате, где сидел в кресле отец Иннокентий — человек, которому он дал страшную клятву. Иннокентий приветливо улыбнулся, встал и поцеловал Герасима в губы.

— Отныне ты принадлежишь господу, раб божий Герасим. Садись возле меня и слушай веления бога.

Покорно сел в низенькое кресло и внимательно, молча слушал тихую речь Иннокентия, излагавшего ему великий план защиты церкви и бога.

26

Уездный землемер и техник только плечами пожимал да разводил руками в ответ на все доказательства Герасима. Он никак не понимал, чего именно хочет от

него богач Герасим Мардарь. А тот требовал почти невозможного: рыть колодец у него во дворе, расположенном на несколько саженей выше возможного уровня водяного слоя. Но что он мог поделать, если хозяин не отступал ни на шаг от своего требования и упрямо то и дело повторял:

— Я за ценой не постою. Мне так нужно.

— Черт возьми! Говорю же вам, что на этом месте, наверное, и через двадцать пять саженей воды не достанем. Легче ведь вырыть колодец дальше, в долине, там вода будет на пятой, ну, на восьмой сажени.

— А вы все-таки делайте, господин десятник. Да где же вы видели, чтобы, имея скот во дворе, бегать куда-то по воду?

Герасим не сдавался. Десятник вынужден был согласиться и уступить очевидной человеческой глупости.

— Ну да шут с вами, копайте. Мне ваших денег, черт возьми, не жаль. Поеду посмотрю, как и что сделать. Через четыре дня шлите лошадей.

— Четыре дня долго,— кратко ответил Герасим.— Сегодня поедем.

— Сегодня? Да что у вас, горит там, черт побери?

— Четыре дня долго,— не отступал Герасим.— Возьмите больше денег, но только поедем сегодня.

Десятник вынужден был согласиться и с этим требованием, хотя оно и удивляло его. Наскоро собравшись, сел на повозку с Герасимом, и они тронулись в Липецкое.

Молча ехали до самого села. А дома Герасим коротко спросил:

— Сколько вам нужно людей для работы? Пойду нанимать.

— Куда вы торопитесь? Дайте хоть хозяйство осмотреть.

Герасим не отступал и снова отрывисто спросил:

— Сколько нужно людей? Мне некогда. Да скажите, сколько камня купить, чтобы класть сразу за землекопами.

Десятник развел руками и так же коротко ответил:

— Людей до полдня нужно троих. С полдня можно копать, давайте двадцать человек. Камня покупайте кубов триста-четыреста. И посылайте подводы за цемен-

том, песком. Чтобы знали, что покупать и сколько, вот вам записка. В Балте узнаете, есть ли эти материалы, и через несколько дней вам их привезут. Пока камень и цемент понадобятся — их доставят.

Герасим взял записку, устроил десятника у себя в доме, сел верхом на коня и умчался. А тот, умывшись и поев, пошел осмотреть двор, обогнул сад, виноградник, стал осматривать хозяйство богача.

Очевидно, решил он, Герасим будет строить экономию. Ни для чего другого не стоит затевать такое дорогое строительство. Только вот почему он так торопится? Этого Михаил Васильевич никак не понимал. В его двадцатилетней практике все бывало, но такого чудака он еще не встречал.

Уездный землемер и городской техник Михаил Васильевич — человек по натуре не вдумчивый. Здоровый деятельный организм его не склонен к углубленным размышлениям, и поэтому он, махнув рукой, вошел в дом и сел у окна. Допоздна сидел он над планами и составлением сметы. Наконец лег. На рассвете к нему постучал Герасим.

— Вставайте, господин десятник, люди ждут.

Возмущенный десятник выглянул в окно и закричал на Герасима:

— Хозяин, я буду вставать сам, слышите! Не будите меня!

Но, увидев собравшихся людей, ругаясь, вышел. Возле хаты стояло три человека в крестьянских зипунах, на удивление чистые, с побритыми лицами. Десятник с интересом осмотрел их и вопросительно взглянул на Герасима. Но тот вроде и не заметил этого.

— Откуда вы, дядьки? Сумеете ли поспевать за мной?

Крестьяне кивнули головами и с готовностью стали возле десятника. Тогда он начал излагать хозяину свой план. Но запнулся пораженный. Насколько торопил Мардарь его с планом, настолько безразлично отнесся он к самому плану. Только посмотрел на длинный рулон кальки и смущенно сказал:

— Хорошо... Вы же на то и образованные люди, чтобы бумаги там всякие писать. Делайте, как лучше.

Десятник пожал плечами и начал работу. К полудню он наметил площадку под колодец на самом высоком месте двора — там, где и хотел Герасим.

— А все же, хозяин, здесь до воды не близко. Большие расходы придется вам нести.

— Хорошо,— тихо ответил Мардарь.— Делайте, как знаете; что нужно — говорите, мне недосуг.

— Так что же в первую очередь будем строить?

— Колодец,— тихо ответил Герасим.— Этим летом только колодец, а уж весной, бог даст, все остальное. За зиму свезу материалы, тогда уже попросим кончать.

Снова удивлялся десятник. Но удивление его перешло все границы, когда на утро по дороге к хате Герасима запылили телеги, груженные камнем, цементом, песком. А Герасим по-прежнему безучастно смотрел на все это, не интересуясь ни ценами, ни материалом, ни его количеством. Достал деньги, отсчитал поставщику и пошел прочь.

Михаил Васильевич переоделся и начал работу. Ему очень хотелось плюнуть в похабную мужицкую морду этого богача, треснуть его хорошенько обеими руками по раздутым щекам, по этому высокому, суженному кверху лбу, в котором гнездился, очевидно, какой-то дикий, фантастический план, но он должен был отогнать все эти мысли и начать работу. Однако весь день он не мог избавиться от чувства какого-то оскорбления и даже обедать к Герасиму не пошел. Но вечером вынужден был обратиться к Мардарю по важному делу. Куда девать вырытую землю? Если ее оставить во дворе, то придется насыпать вокруг колодца высоченный курган.

— Куда будем ссыпать землю? — сосредоточенно переспросил Мардарь.

— Это действительно задача...

Подумав, Мардарь направился во двор, подошел к группе крестьян, отдыхавших после работы, отозвал в сторону одного из вчерашних помощников десятника и о чем-то долго с ним совещался. Потом они вышли со двора, обогнули овраг, перерезавший поле как раз там, где кончалась усадьба Мардаря и начиналась земля Синики.

Михаил Васильевич обиженно ожидал решения. Чтобы убить время, сам вышел во двор. Расстегнул рубаху, потянулся и, закурив папиросу, двинулся прямо мимо риги в степь. За ним побежала собака. Десятник не спеша шагал по траве. Так он миновал ригу, еще какую-то

ограду, вышел в степь у оврага и пошел над обрывом, поросшим терновником. Собака бежала рядом.

Вдруг собака остановилась. Потянула носом воздух и подалась вперед. Десятник тоже остановился. Холодок страха пробежал у него по спине. Он уже собрался было позвать собаку и вернуться назад, но вспомнил, что в кармане у него лежит его «Смит и Вессон», с которым он не разлучался, объезжая села Балтского и Тираспольского уездов. Он вынул его, присел и прислушался. Где-то вблизи скулила собака, словно узнав своего. Десятник снова прислушался, но, кроме воя собаки, ничего не услышал. Тогда он лег на землю и пополз. Полз осторожно, тихо. Зачем он это делал? Сейчас он не мог бы этого объяснить даже себе. Просто полз и все. Наконец остановился и прислушался. В нескольких шагах от него сидели двое и тихо о чем-то разговаривали. Он насторожился. Разговор велся шепотом. До него долетали только отдельные слова. Напряг слух.

— ...Хорошо, так и скажу, — услышал он.

— Как пересыплем этот овраг, легко будет присоединить к твоей усадьбе и Синику. Он должен продать ее.

— Вряд ли... Я не знаю. Он любит свою землю.

Тот, что говорил вначале, тихо зашептал. А потом, видно, не соглашаясь, уже громче сказал:

— Клялся, так что делай, как говорю. Это от пэринцела Иннокентия, он так велел.

И снова зашептались. А затем опять тот, что упоминал Иннокентия, проговорил уже вслух:

— Ты ходишь такой надутый, что десятник уже заметил. Нужно быть веселее. Он, видно, уже думает, что бы это значило. Надо остерегаться.

— Не беспокойся, уберут, если потребуется.

Десятник невольно сжал оружие и еще плотнее прижался к земле. Но больше ничего не было слышно. Оба собеседника ушли. Напоследок услышал:

— Жаль овраг засыпать: пруд был бы.

Выждав некоторое время, Михаил Васильевич поднялся и пошел прямо в сад, чтобы не заметили. Из черной тишины ночи словно выглядывали чьи-то страшные рожи. Он никак не мог собраться с мыслями.

«Что за чертовщина? При чем здесь Иннокентий?

Что это значит — «уберут»? Какие тайные планы могут быть у этого вахлака?»

Мороз снова пробежал по коже. Ускорил шаг и вновь очутился под развесистыми яблонями Герасимова сада. Прошел немного и внезапно остановился. Перед ним, прямо на земле, лежали двое и, кажется, спали. Он обошел их и направился к дому, оглядываясь назад. Ему показалось, что один из них поднялся и пошел за ним. Впрочем, он не мог этого утверждать наверняка и выругал себя за трусость.

«Эхе-е! Трусишка. Уже начинаются, видно, галлюцинации. Нужно взять себя в руки».

Откуда-то явилась решительность. Он ощутил желание приняться за более пристальную слежку, разоблачить это дело и узнать, какое отношение имеет к нему Иннокентий. Но, подумав, махнул рукой.

«На черта они мне?»

Когда пришел домой, Герасим уже ожидал его, ласковый, приветливый.

— Гуляли? Правда, хорошо у нас? Не то что в городе. Здесь тихо, как в лесу.

Михаил Васильевич посмотрел на него и решил: «Ну вас к чертовой матери. Делайте себе, что хотите, моя хата с краю».

И вдруг остановился.

«Постой, постой! Но какой-то частью этой тайны я уже владею? Нужно использовать. Попытаюсь». И, улыбнувшись, так же приветливо ответил:

— Да так, знаете, ходил осматривать двор, куда бы землю ссыпать, смотрел.

Герасим насторожился.

— Ну, и что же вы решили?

— Решил, что если у вас нет желания сооружать пруд, то землю можно было бы ссыпать в овраг. Вы б тогда засыпали этот яр и получили прямую дорогу в поле. Жаль только пруда. Впрочем, когда разбогатеете, купите у вашего соседа землю, тогда пруд ниже можно будет устроить.

Герасим кивнул головой.

— Я тоже так думал. Сыпьте землю в овраг, заровняете его от повети и до сада, а там, возможно, бог даст, это и пригодится.

Утром десятник проснулся, свободный от ночной тревоги, и бодро принялся за работу. Но ему хотелось поближе рассмотреть овраг. Подошел, осмотрел и поразился. Овраг перерезал два больших участка равнины, землю добрую и жирную. А на той стороне оврага, как и здесь, притаился такой же молчаливый, хмурый и суровый двор кулака.

И вдруг вспомнил ночной разговор.

Иннокентий. Гм-м, здесь и монастырь Балтский заинтересован. И он еще раз осмотрел раздольную степь, раскинувшуюся за оврагом. Степь, на которой буйно росли неизмеримые урожаи двух хозяев — Мардаря и Синики. Подсчитал, сколько здесь должно быть земли.

«Не меньше как десятин триста».

Вернулся к землекопам, отдал кое-какие распоряжения и пошел к цементникам, готовившимся цементировать яму. Осмотрев работы и дав указания, десятник нашел Мардаря и сухо сказал:

— Хозяин, давайте подводы — землю возить. И поставьте там человек пять утрамбовывать ее. Иначе первый же дождь унесет землю и попортит вам виноградник.

Герасим тотчас же направил какого-то долговязого деда в село за подводами. А десятника спросил:

— Когда будет готов?

— Колодец? Месяца через два.

— Долго. Нужно через месяц... Вода нужна.

Михаил Васильевич снова вспомнил ночной разговор и решительно ответил:

— Постараюсь окончить раньше. Только придется и ночью работать. А это дорого обойдется.

— Ничего. Работайте ночью. За платой не постоим.

Десятник кивнул головой и вышел. Этот разговор его встревожил, и он решил побыстрее избавиться от хлопот. Стоял возле землекопов хмурый и сосредоточенный. Работа его не удовлетворяла.

«Уберут...— непроизвольно вертелось в голове. И невольно подумал: — Нужно пересмотреть патроны в револьвере».

А день звенел над ним тысячью звуков. Монотонно гудели пчелы, и хотелось спать.

Сегодня на удивление быстро закончилось богослужение в липецкой церкви. Отец Милентий, любивший доводить паству до изнеможения, сейчас торопился. Да и проповедь у него сегодня какая-то необычная. Он не задирал голову вверх и не вытягивал слов из-под сводов, а выскочил, как воробей, встрепенулся перед паствой и пискливым голосом произнес:

— Миряне! Благословляю вас идти домой. Только перед тем скажу я вам, что бог явил к нам свою благость.

Он торжественно поднял палец и слово за словом пересказал, как к Герасиму являлся монах и как пали его лошади. Крестьяне, затаив дыхание, не сводили с него глаз. Вся эта страшная картина богоотступничества Герасима, а потом помилования его богом взволновала и умилила людей. Слышались всхлипывания женщин, глубокие вздохи мужчин. Покорность и страх отражались на лицах, изрытых морщинами, как крестьянские полоски земли бороздами.

— Пророк Иннокентий повелел грешному Герасиму рыть в своем дворе колодец, чтобы, когда настанет страшный суд, а с неба польется огненный дождь и засуха будет губить нашу землю, было бы чем омочить наши грешные уста, пересохший язык. Раскаялся грешник Герасим и исполнил это божье завещание. Уже готов колодец в его дворе. Нам нужно всем обществом освятить его и упросить великого пророка господнего Иннокентия прибыть к нам на освящение.

А час кары господней уже близок. Вот уже месяц нет дождя, земля трескается, пропадает хлеб, гибнут сады, виноградники, высыхают колодцы. Нужно послать к нему ходоков от общества, пусть пешком, босиком идут к нему и просят помилования, ибо не доходит молитва наша к нему, не слышит бог нашей мольбы. Аминь.

Зашевелились в церкви. Словно ключи со дна моря, поднималось волнение, перекатывалось, клокотало. Загудела церковь голосами, вздохами, шумом, плачем. Плакали женщины, вздыхали мужчины.

— Нужно просить.

— Послать богобоязненных людей с нашим батюшкой.

— Месяц нет дождя. Забыли бога. Разучился молиться молдаванин. По-молдавски не смеет, а по-русски не понимает его бог.

— Пэринцел Иннокентий, говорят, молится по-молдавски. Его молитва доходит до бога.

— Да он же сам, говорят, сын божий.

— Дух святой, что сошел в голубином образе, покоится в нем.

— Послать к нему ходоков, людей богобоязненных и праведного житья.

Заволновалось в церкви, закипело. Бабки-мироносицы, состоявшие при каждой церкви, вызвались первыми все сделать. Вот протолкалась дряхлая бабуся к самому попу и, поклонившись, стала под благословение. А потом подняла голову и сказала:

— Простите, батюшка, и вы, миряне, что я своим глупым умом в общественные дела вмешиваюсь. Но кажется мне, что богоугодное дело откладывать нельзя.

Все слушали старую Марту. Девяносто лет ей минуло, и уважали ее в селе. Чуть ли не половине уже седоусых мирян, что стоят здесь, резала она пуповину. Да и знающая бабка была, в знахарстве понимала толк, от всего лекарство имела. А это не выдумка, так оно и было.

— Говори, Марта, что знаешь,— ответил поп.— Бог приемлет молитвы женщин, как и мужчин.

— А знаю я вот что... Нет нам добра за наше безверие. Нужно просить бога, чтобы помиловал нас. Вот я и думаю, что нужно сейчас же в Балту послать к святому пророку людей. Пусть пойдут, потрудятся на нас, пусть Герасим пойдет, раз его сподобил пророк своей милости, дед Макар, да Санька Печеричиха, да батюшка.

— Да и ты, старая,— сказал поп.— Ты же у нас преданная церкви и старательная — на все село.

— Если люди велят — пойду. Рада постараться на мир, коли бог молитву примет.

— Ну как, миряне, пошлем тех людей, что Марта нам указала? А?

— Просим, просим.

— Ну, так не будем откладывать это дело надолго, а сегодня же соберемся. Только не годится к храму господнему идти с пустыми руками, нужно понести гос-

поду в дар кое-что от наших трудов. Соберите, православные, кто сколько может в дар богу, его пророку и святой церкви.

Староста пошел по церкви с тарелкой. Посыпались на нее засаленные медяки, истертые серебряные гривенники, семишники, полтинники. А богачи брякнули серебряными рублями, устлали края тарелки зелененькими трешками, синими пятерками. Герасим же положил на крест полосатую красную десятку. С верхом наполнилась тарелка трудовыми крестьянскими копейками, затертыми рублями и пятерками сельских богачей. Двинулся затем народ из церкви, обсуждая промеж себя чудо с Мардарем. Кое-кто даже лишнюю версту, а то и две прошел в компании, рассуждая о страшных нынешних временах.

Поздно в тот день обедало село. Обед не шел в горло. Выискивали последний рубль или полтинник для Ступы, державшего летом вино на льду.

У богачей тоже шумные обеды. Собралась вся родня. На столе жбан вина и кружки. Пьют все. Сегодня как-то незаметно, что пьет и старый и малый. Такой уж выдался день. Ведут жаркие, шумные разговоры.

— Горе нам, горе... Одна беда уплывает — другая приплывает. Месяц уже дождя нет. На поле вот-вот пропадет хлеб. А зимой что будет? Сейчас уже все ушло в залог, а дальше что?

И клонится на стол опьяневшая от горя и вина голова, льются из бедняцких очей слезы невыплаканной тоски.

— Мэй, не тужи! Пойди, старая, домой да возьми там те полрубля, что отложила на налог. Все равно пропадать... Принеси нам еще вина.

И последние полрубля ушли Ступе за холодное вино.

— А почему бы не пить? — кричит раскрасневшийся богач. — Разве не заработали трудом праведным? Помогаем же людям и свое блюдем. Вон, если не один, то другой приходит одолжить. А мне что, деньги с неба падают? Одалживаю, потому что беднота кругом. Одалживаю и на отработок даю, и пашут с половины, и за сноп жнут... как хотят. Выпьем.

Пьет Липецкое. Пьет, заливает каждый свои думы, рожденные его местом на земле, поделенной на лоску-

ты. Кто радость пропивает, а кто — горе и нужду, что гложут его. А под окнами шныряет старая Марта с сестрицами.

— Жертвуйте, православные, на храм святой, богу в дар. Ходоки идут сегодня в Балту к пророку божьему...

Сыплются в корзинки караваи, яйца, последние полфунта масла, последняя курица, поросенок... Едут следом за мироносицами телеги, грузят крестьянское добро на возы, увязывают канатами, чтобы не потерять чего. Заливаются собаки. Гудит село. То взвизгнет женщина, побитая рассвирепевшим мужем, то заскулит детвора... А на выгоне, где на бугре стоят мельницы, скрипит гармонь... Там молодой пьяный крестьянин с загоревшим лицом растягивает меха гармошки, выжимает из них навевающий тоску мотив болгаряски. Мелькают ноги, развеваются юбки, вздымают пыль самодельные постолы бедняков, сапоги богачей. Шумит молодежь.

— Ах вы, сорвиголовы, безбожники! Поста на вас нет?.. В селе такая беда, а вы танцевать?

Седой старик смотрит слезящимися глазами на молодежь и укоризненно качает головой.

— А ну, дед, отойди! Не мешай мне, потому что я сегодня пьян! — кричит гармонист.— Пьян я сегодня и взял себе волю. Ты уж оттанцевал свое, иди отдыхай к своему пророку...

Тяжкая, оскорбительная ругань прозвучала и повисла в воздухе страшным маревом. Гармонист не унимался.

— Разве я спрашиваю вас, чего вы сегодня беситесь? Чего завыли, будто подыхать собрались? А? В поле горит? Чье горит? Мое? Твое? Нет! Нашего нет. Наше не сгорит, потому что нет его. Наше и бог не сожжет, потому что нет нашего на земле. Мардарево горит. Синикино. Ступино. А они не плачут, и ихнее не сгорит, потому что у них глубоко посеяно, хорошо вспахано. А если сгорит, то и тем, что останется, еще два года проживут. Эй, дед, не лезь к нам с молебствием, отойди и не зли. Если хочешь иметь с нами дело — танцуй, все равно одна радость, одна отрада — это стакан вина. Бедняцкое горит, богатого не сгорит, это я знаю. Эй, дед, не мешай или ступай танцуй! Наше не сгорит, го-

ворят тебе, а святых своих пошли собаке под хвост... Эй, дед, отойди, а то обругаю страшно и тебя, и бога, и святых. Только жаль твоих старых ушей. Отойди, я сегодня пьян, или танцуй с нами.

И он ударил по клавишам, растянул меха своей голосистой гармони, и зарыдала она, как рыдает старая мать над усопшим сыном, который кормил ее, старую, и лелеял. А дед покачнулся, попятился и, словно молодой, быстро побежал в волость.

Жок продолжался. Быстрый, пьяный, залихватский жок пьяного молдавского села. Подошла еще молодежь, затужила, зарыдала гармонь, к ней присоединилась скрипка. Мелькали ноги, развевались юбки и глубоко взрыхляли землю крестьянские постолы. Веселилась молодежь молдавского села, пьяного от вина и горя.

А в селе крик. Во дворах переполох.

Гудит пьяное село. Каждого донял страшный поступок Савки. Пришелся он как раз в самый тяжелый день, когда ныли сердца от тоски, а беспомощный ум искал выхода, когда вдруг заметнее стала беспросветная нужда и не видно было впереди спасения.

Злоба вскипала в сердцах строгих, суровых хозяев. В голове мутилось, и что-то кололо в самую душу. Воспламенялась кровь желанием сорвать на ком-то злость.

— Из-за таких нет нам добра! Неурожай, не шлет господь дождя, нет у него к нам милосердия...

— Бить таких нужно. Из-за них нет нам спасения. За его разврат карает нас господь.

— Нечестивцев, голоту проклятую нужно уничтожать...

Пыль стелется над селом. Выскакивают из дворов хозяева, когда-то мирные, а теперь лютые, гонятся за призраком своего бедствия. Туда, к мельницам, где продолжается веселый жок, где плачет и смеется болгаряска, где весело развеваются юбки и выделывают сложные па тяжелые крестьянские постолы. Гулом гудит громадный черный рой, летящий в тучах пыли к мельницам. Не летит, а мчится с урчаньем, раздираемый и подталкиваемый неосознанной тяжелой злобой. Мчится, словно смерч на море, как черная грозовая туча, готовая вот-вот взорваться страшным громовым ударом. И гром этот слышно уже издали. Идет, при-

ближается к мельницам угрожающий гул. Трещат плетни, заборы. Вооружается темная озлобленная крестьянская масса, сжав зубы, хватает что под руку попало и в слепой ярости мчится туда, где мелькнула тень — причина этого вековечного несчастья, где показалась угроза богачам в виде пьяной Савкиной правды. Оборвался голос гармони.

— Хлопцы! Старики на нас с дрекольем! — запыхавшись, крикнул парень. — Гулять нам запрещают!

— Встретить их войной!

— Камнями их!

— Бей их!

Толпа мигом выскочила на гору, к старой казарме, когда-то построенной здесь заботливым ымпэратом чтобы усмирять «иноверцев». Вмиг в руках у всех оказались камни, и молодежь выстроилась против идущих.

Вот первая шеренга. Уже видно дреколье. Вот уже мелькнула взлохмаченная борода переднего в группе.

— Ой! Спасите! Бьют!

— А-а-а-а! Бей!

— А-а-а-а! Броса-а-й!

— Вур-р-р-х-х! Вур-рх!

— Ай! Бей!

Пыль покрыла гору. Остановился натиск пьяного бородатого села. Потекла кровь из разбитых голов. Первая струйка ало-черной крови отрезвила толпу. Угомонилась стихия. Опустились колья.

Оседала пыль. Рассеивалась туча.

Молодежь отступила на гору. У нее тоже были потери, оставшиеся там, на месте встречи. Савка, весь в крови, растянул гармонь. Она всхлипнула и зарыдала, как рыдает сын над убитым отцом. Вдруг Савка утих, повалился, выронив гармонь. Сухими губами начал хватать воздух и словно умолять о чем-то. А рядом с ним стоял, облизывая пересохшие губы, сын Лопуха Михаил с окровавленным ножом в руках.

В толпе кто-то шевельнулся. Другой, третий. Угрожающе задвигались все.

— Ай!

— Эх, Г-е-ех!

Стало подлетать вверх бесформенное тело Михаила и падать на землю. И вот уже превратился человек в мешок мяса, густо пересыпанный пылью.

— Жандарм! Жандарм!

Внезапно все утихло. Никто и не пытался бежать. Только отворачивались друг от друга.

Возвращаясь в село, несли убитых. Рыдали женщины, матери. Тяжко вздыхали отцы. Толпы народа двигались за жандармами и впереди несли мертвого Савку. А навстречу им, в Балту, змеился длинный обоз телег. На передней сидел старый отец Милентий в облачении, а за телегами церковные служки несли хоругви. Колокола ревели в церкви, и их жуткие звуки смешивались с гулом толпы. Вереница все дальше отдаляется от села. Крестятся у плетней перепуганные тетки. Плачут.

Старый Макар стоит возле церкви и крестится:

— Принесена жертва. Прости им, господи, ибо не ведают, что творят.

Жандарм, поравнявшись с ним, строго бросил:

— Дед, иди с нами. Сумел заварить бучу — сумей и ответить.

Старый Макар не понял, о чем говорил жандарм, однако пошел за ним, не переставая креститься.

Обоз скрылся за селом. В церковь возвращались хоругви, и все еще ревел, не унимаясь, колокол.

Стихало село. Умолкал хлопотливый день. Багрово-красное солнце садилось за горизонт.

28

Работа подвигалась. Землекопы на удивление прилежно выполняли самые трудные работы, и десятник ежедневно констатировал, что продвигается вглубь с быстротой, достаточной, чтобы окончить работу раньше срока. Это было особенно приятно еще и потому, что чем дальше, тем больше сгущалась вокруг колодца атмосфера таинственности и загадочности. А то, что возле него почти неотступно стоял углубленный в себя Герасим и следил, чтобы господин десятник не расспрашивал о чем-либо землекопов, окончательно убедило его, что подслушанный в терновнике разговор — не просто обрывок беседы и что он находится в определенной причинной связи по крайней мере с двумя объектами: с колодцем, который они с Герасимом так форсируют, и с ним лично, подслушавшим какую-то часть тайны, узнавать которую ему не следовало. По-

няв это, десятник серьезно встревожился. Он хотел поскорее избавиться от проклятой работы, неожиданно поставившей его жизнь под угрозу. А что это так, господин десятник заключил из того, что иннокентьевщина распространялась неимоверно быстро. И ничего удивительного не было б, если бы на него вдруг науськали какого-нибудь дикого фанатика и он бы внезапно очутился ночью в этой самой яме, которую рыл для колодца. От этих размышлений начинало знобить.

Кончать быстрее! Любой ценой кончать!

Он все больше подгонял землекопов. И очень обрадовался, когда напал на первый слой воды. Правда, он был незначительный, для такой усадьбы не хватило бы, но все говорило о том, что если копать дальше — воды будет много. Наконец колодец был готов. Землекопы едва успели выбраться из ямы, как вода пошла сильным потоком. Десятник довольно потер руки и пошел сообщить Герасиму об окончании работы. Тот так же радостно встретил известие и весело спросил:

— Так, выходит, и быстрее можно работать? А?

— Можно, господин Мардарь, лишь бы деньги. Вам этот колодец втрое дороже обошелся, чем если бы его рыли, как я говорил. Да и не гнал бы так.

На Герасима это не произвело никакого впечатления. Наоборот, казалось, он даже радовался тому, что ушло больше денег.

...Начало светать, но десятник не спал, у него был приступ какой-то нервной бессонницы. Его тревожила тайна колодца. Все предыдущие факты и наблюдения он свел в систему, расположил в определенной последовательности. Осталось сделать вывод, убедиться, что он прав, чтобы вступить в борьбу и прибрать к рукам этого наглого вахлака. Ему захотелось раздобыть хоть какие-нибудь доказательства. Для этого он и вышел во двор. Подошел к группе крестьян, которая ожидала его. При виде их любопытство его еще больше разгорелось. Но он только решился сказать:

— Ну вот, наверно, колодец уже готов...

Помолчал. Молчание получилось каким-то очень тягостным и неожиданным. Добавил:

— Надо, наверное, посмотреть, так ли идет вода, как вначале. Ну-ка, готовьте бадью.

Землекопы подвинули бадью, положили поперек валок и ухватились за канат, чтобы спустить десятника в колодец. И только когда он сел в бадью, когда качнулась она над черной пастью ямы, промелькнула мысль:

«Не здесь ли конец?»

Но было уже поздно. Он зажег факел и, махнув рукой, медленно стал спускаться вниз. Со дна на него повеяло холодом и сыростью, вода как-то жутко поблескивала. Чтобы рассеять страх, десятник внимательно оглядывал стены, присматривался к кладке. Стены были ровные и гладкие, как того требовала техника кладки стен в колодцах и правила цементирования. И, чтобы еще раз убедиться, что это действительно так, он начал стучать по стенам длинной палкой, оказавшейся в бадье. Стук гулко раздавался в яме и пропадал то ли где-то у воды, то ли вверху. Стены выложены на совесть... Но что это? Удар прозвучал глухо, штукатурка осыпалась, и кусок ее с тихим всплеском упал в воду.

«Неужели показалось?»

Стукнул еще раз посильнее. Снова глухой звук, и в воду полетели куски цемента. Тогда он ударил изо всей силы. Огромный кусок цементной стены оторвался и с грохотом упал в воду. Перед глазами десятника прямо в стене темным провалом чернела дыра. Он приблизил факел к отверстию и внимательно осмотрел пробоину. В стене оказалась огромная ниша в рост человека. Ниша была сделана очень старательно, именно так, как потребовал бы и он. В четырехугольное отверстие каменной стены вставлена толстая дубовая рама, обложенная войлоком, на которую ложилась вся масса камня. Ниша устроена сразу над каменным слоем.

Десятник покачнулся вместе с бадьей и приблизился к стене. Внезапно бадья стала подниматься вверх. Десятник сразу понял: кто-то догадался, что он наткнулся на отверстие. Нужно было рассеять подозрение. Как только бадья поднялась, он стал кричать на землекопов:

— Чего ж вы стоите, разинув рты? Не видели, как я дергал канат, чтобы подняли? Чуть не задохнулся из-за вас.

Крестьяне растерянно хлопали глазами и пожимали плечами. Только один виновато ответил:

— Так вы ж, пан, не велели вытягивать. Я как-то сам догадался.

Это было похоже на правду. А бледное лицо десятника подтверждало, что он в самом деле хотел как можно скорее выбраться из дыры и теперь сердился. Он достал кошелек и дал три рубля тому, кто тянул:

— Спасибо, добрый человек, возьми за смекалку на водку.

Крестьянин низко поклонился и поблагодарил. А бледный десятник медленно побрел к дому Герасима.

— Ну, хозяин, я работу закончил, пора теперь домой. Запрягайте лошадей.

Герасим вышел во двор, а десятник довольно улыбнулся ему вслед.

«Ну, вахлак, теперь у меня уже есть факты, есть, голубчик, хоть и прятал ты их очень усердно».

Взял чемодан и вышел во двор. Крестьяне подошли к нему, и один из них сказал:

— Пан десятник... по нашему обычаю полагается обмыть работу.

Десятник вынул червонец и бросил в толпу.

— Вот вам, выпейте за мое здоровье, а мне некогда. Меня ждет работа.

Сытые лошади подкатили к самому дому. Герасим подозвал того самого крестьянина, который вытащил пана десятника, и приказал везти его в город. Десятник переложил револьвер из одного кармана в другой, сел в телегу и толкнул в плечо кучера.

— Трогай.

Когда хутор уже скрылся за бугром, десятник вынул револьвер и показал возчику:

— Эй, мужик, видел когда-нибудь такую штуку? Если не знаком, то можешь узнать, для этого тебе стоит только зачем-нибудь остановить лошадей. Гони без передышки домой.

Возчик молча стегнул лошадей, и они понесли что было духу.

29

Отец Иннокентий не принял делегации из Липецкого, даже не выслушал. Он передал через отца Кондрата, что приедет на освящение колодца, когда представится удобный случай. Пусть, мол, будут готовы, а о дне он сообщит. Делегация, оставив дары, возвраща-

лась из монастыря, опечаленная неласковым приемом великого пророка. Отец Милентий корил паству грехами, бабы всхлипывали дорогой и предсказывали близкий голод, засуху и разные страшные кары. Герасим молчал. Его крепко связывала присяга сыну божьему Иннокентию. Разве ж мог он утешить старенького, дряхлого отца Милентия, так искренне опечаленного неудачей? Разве мог он рассказать, как отец Иннокентий при тайной встрече с ним обещал, что на освящение прибудет не позднее воскресенья, а пока велел молчать. Только одного не мог понять Герасим: зачем отцу Иннокентию, всемогущему духу святому, потребовалось скрывать освящение, почему он так встревоженно разговаривал с ним во время того свидания и почему так смущает его десятник? Герасим вспоминает последние слова святого мужа:

«Ты, Гераська, поезжай домой и готовься, а я приеду в субботу или в воскресенье. Накануне приедут мои братья Семен и Марк и прибавят к моему приказу все, что нужно. Людям скажешь то, что передадут тебе мои братья».

Эта таинственность не давала покоя Герасиму. Он вспоминал, что под конец Иннокентий так прямо и сказал:

«И еще помни, Гераська, что веления божьи нужно исполнять осторожнее и старательнее. Вон с колодцем, видишь, не все ладно вышло, десятник узнал то, чего не следовало знать. А он служит врагам нашей церкви, нечестивому начальству, замышляющему недоброе против нас... Осторожность, разум нужны в божьем деле».

Герасим ехал домой и все размышлял, что могло так взволновать отца Иннокентия и почему даже освящение нужно скрывать? И чем больше он думал, тем сильнее охватывала тревога и страх за будущее, так тесно связанное с Иннокентием, который вьет вокруг него какую-то паутину. И Герасим, чувствуя, что он уже в руках Иннокентия, с тревогой заглядывал в это будущее. Но слепые глаза его не могли проникнуть сквозь густую мглу.

Герасим опустил голову на грудь и задремал. Вот-вот свалит его крепкий сон, что надвигался на него из леска, из того самого, что сразу за Гидеримом. Внезапно чей-то резкий голос разбудил его:

— Рабы божьи, не печальтесь так! Господь милосердный смилостивился над вами и послал меня сказать, что в воскресенье состоится освящение. Теперь остановитесь и воздайте хвалу господу.

Богомольцы повыскакивали из телег и упали на землю в молитве, а посланец в белой одежде вплотную подошел к Герасиму и шепотом сказал:

— Не печалься, Герасим, отец Иннокентий простил твою оплошность. Жди братьев его и делай так, как они скажут.

И, сунув в руки Мардаря какую-то пачку бумаг, посланец исчез в лесу. А богомольцы еще долго стояли на коленях, молились тому месту, где он стоял.

Оторопевший Герасим не растерялся, хоть и не совсем понимал, что же вокруг него делается. Сжимая пачку бумаг, оставленных посланцем, он почти гневно крикнул богомольцам:

— Хватит, садитесь, пора ехать!

Зло стегал он лошадей, вихрем мчался к Липецкому. А влетев в село, Герасим не подъехал даже к дому отца Милентия. Он ссадил паломников и свернул на самую близкую дорогу к своему хутору. Вскочил в свой двор, бросил вожжи батраку, а сам устало сел на завалинку под домом и замер, сосредоточенно глядя на колодец. И чем дольше он смотрел на него, тем яснее чувствовал, что за этим колодцем кроется какая-то страшная тайна, что-то такое, что навеки полонило его, что не даст ему покоя до самой смерти, пока не опутает всего своей паутиной.

— Мэй, что такое случилось? Чем опечалены? Не ладится что в хозяйстве или разгневался длинногривый мошенник?

Герасим поднял на Синику глаза. Обрадовался ему, потому что давно не видел, давно не был у него этот приятный гость, давненько Герасим не вел с ним беседы на том особенном языке, на каком только они вдвоем и разговаривали. От радости пропустил мимо ушей даже оскорбительное прозвище Иннокентия. Только вяло ответил:

— Мэй, Василий, не веришь — не трогай моей веры. Пусть бог разбирает что к чему.

Голос его звучал как-то тепло, по-дружески, даже с оттенком беспомощности. Видно, и Синика сегодня

добрее был, потому и не спорил с ним, как всегда, не насмехался над святым, а приветливо улыбался Герасиму.

— Ай-я! Пусть будет так. Мне до этого нет дела. Пришел проведать, как живете. Давно не был у вас.

Герасима и самого интересовало, как он живет. Ничего не понимал он в своей жизни. То все было просто, как проста его нива, волы, как проста была вся его хлеборобская работа. А теперь он словно попал в какую-то мельницу, чувствовал, что жернова все сильнее и сильнее трут ему бока, все теснее и теснее прижимают и что завертело его в каком-то водовороте, что запутывается он все больше и больше в паутине Балтской обители. Не понимал только, что из этого в конце концов выйдет. Только тревога охватывала оттого, что кто-то сильнее его. Он готов был уже все рассказать своему соседу, излить ему свою боль и тревогу, но вспомнил страшную клятву и тяжело вздохнул:

— Эх, много говорить, да мало слушать.

— Почему? Разве мало радости от Балтской обители и святого Иннокентия?

Герасим знал, что Синика станет глумиться над святостью Балтской обители и святого Иннокентия, и изо всех сил избегал неприятного разговора. Тем временем батрак распряг лошадей и, приводя в порядок телегу, с интересом наклонился над пачкой бумаг, забытых Герасимом:

— Вы это забыли? Смотрю — лежит что-то, думаю, спрошу, случаем не забыли, как бы не пропало...

Герасим задумчиво посмотрел на бумаги. Сразу и не припомнил, только погодя. А пока вспоминал, Синика выдернул из пачки небольшую книжечку и начал читать. Его глаза вспыхнули злостно, на губах появилась ехидная улыбка.

— Мэй, Герасим, так это и есть ваш святой? Этот шарманщик и проходимец?

Герасим тупо посмотрел на него.

— Сосед, не трогайте меня. Не верите, бог вам судья, а меня не троньте, не доводите до греха. Пусть нас господь рассудит.

Синика скомкал книжечку с нарисованным на обложке шестикрылым духом божьим Иннокентием и со

злостью швырнул ее на землю. Облизнул сухие губы и резко поднялся. Постояв немного, спросил:

— Гераська, правда то, что он сюда на освящение приедет?

— Правда.

— И правда, что здесь должен монастырь быть? На вашем подворье?

Герасим весь дрожал. Он тоже поднялся, хотел что-то сказать, но всхлипнул и отвернулся от Синики. Синика схватил его за плечо:

— Правда это, спрашиваю? А?

— Побей меня господь... не знаю. Мне он ничего не говорил,— тихо ответил Герасим.

Синика вздохнул с облегчением.

— Люди говорили. А впрочем, может, и врут. А может... вас обкрутили так, что и сами не знаете? Не так ли?

Герасиму хотелось крикнуть, что именно так, что он сам ничего не понимает, а только инстинктивно чувствует душой собственника, как закачалась почва у него под ногами, как ускользает из-под ног отцовская земля, а он стоит над пропастью неизвестности, которая вот-вот его поглотит, и боится он, Мардарь, этой пропасти. Хотел крикнуть во весь голос, что жалко ему еще и сегодня быков, добрых коней, плодородной земли, ровной и привольной, что шумит летом буйными хлебами и виноградниками, а зимой спит, как крепкий богатырь после тяжелой работы, и так храпит, словно ветер стонет. Хотелось прокричать все это в самое ухо Синике, голосом, полным муки кулака-собственника. Но только застонал в ответ и отвернул голову. Понял его Синика, такой же кулак, как и он. Не стал спрашивать больше, постоял, погруженный в свои думы, и собрался уже уходить, но вдруг остановился:

— Мэй, Герасим, а к вам вон гости.— И показал прямо за хутор, в сторону Бирзулы.— Косматые идут.

С тем и ушел домой. Герасим оглянулся — к нему направлялись два монаха. Они подошли, поздоровались и пошли с Герасимом в дом. И только в хате, когда занавесили окна, старший из них, Семен Левизор, сказал:

— Ты что же это, Герасим? Будто вешать тебя собираются... Чего загрустил так?

Опять захотелось рассказать Герасиму, что с ним, высказать свою тревогу, но не осмелился.

— А что? Разве нельзя мне думать о чем-то своем?

— Ты теперь не свой, а божий, Герасим. Должен радеть о делах божьих,— возразил Семен.— Лучше вот скажи, в каких отношениях ты со своим соседом и что он за человек?

Герасим посмотрел на него и вдруг вспомнил нечто такое, что словно пролило луч света на все его дела с Балтской обителью. Вспомнил, но воспоминание было смутное, застряло оно где-то на самом дне памяти, на которую неожиданно навалилось столько забот. А затем повернулся к Семену и смерил его долгим взглядом. Посмотрел в сторону, увидел пачку бумаг, с которых на него смотрело множество ликов Иннокентия, и сразу стало ясно.

Теперь понятно Герасиму, что над его двором нависла страшная грозовая туча, которая разрушает его благосостояние, уничтожает хозяйство, в течение многих лет таким трудом создававшееся. Ему теперь ясно, что это и есть тот конец, который он предчувствовал, но не мог передать словами.

Жестокая боль сжала его сердце. Страшная клятва куда-то канула, отступила тихая покорность, а вместо них появилась лютая злость и ненависть ко всему, что могло повредить его хозяйству. С силой топнул ногой и бросился к Семену:

— Чего вы от меня хотите? А? Вам моей жизни мало? Вам мало моих кровных денег? А?

Он рычал, как зверь, у которого вырывают добычу. Страшно, дико рычал и сжимал кулаки. А потом схватил брата Семена за горло:

— Слышишь, отдай быков, отдай моих лошадей...

И вдруг отпрянул, ощутив острую боль в груди, будто под кожу ему загнали какую-то длинную колючку. Отпрянул, тяжело дыша, полный злобы, чтобы снова броситься на своих врагов. Страшно поводил налитыми кровью глазами, словно выбирая, с какого места удобнее налететь и смять их обоих. Уже готов был броситься, как вдруг остановился, остолбенел.

В руке Семена угрожающе блестел длинный, отточенный нож. На конце его была кровь. Понял тогда, отчего почувствовал боль в груди. Посмотрел на бра-

та Марка и окончательно обомлел. Тот спокойно стоял, опершись о стену, и уверенно наводил на него черное дуло блестящего холодного револьвера.

Герасим вяло опустился на стул. Рядом присел Семен, а Марк — в сторонке.

— Ну что ж, Герасим, что скажем Иннокентию о твоей готовности служить церкви? Так ли тебе наказывал Иннокентий принимать нас? А?

Герасим тяжело дышал.

— Что же молчишь? Или не знаешь, что сказать? Так вот, знай. Земля эта... не твоя больше. Она церковная. Вот здесь, на месте твоего двора, должен быть новый монастырь. А ты не горюй, ибо приумножится твое хозяйство от того, и будет оно не в быках, а в высоком почтении к тебе. Поэтому покоряйся и делай, как велят. А если не будешь делать... бог принудит тебя, Герасим. Не заставляй же гневаться сына божьего, избравшего тебя спасителем народа.

Герасим опустил голову.

— Простите, братья. Буду делать, что скажут...

Семен еще ближе придвинулся, подозвал к себе брата и стал излагать, по какому делу приехал.

30

До позднего вечера не открывалась дверь хаты. Испуганная Липа стучала и звала Герасима, но в ответ услышала лишь грозный окрик и суровый приказ подать есть. Только около полуночи из дома вышли три фигуры, обошли двор, сад, сараи, побывали и на той стороне засыпанного оврага, за терновником, осмотрели все поле вокруг Синикиной усадьбы. А затем вернулись в дом. Герасим вынес фонарь, длинный канат, выкатил бадью, достал длинный кол — все это принес к колодцу, сложил и вернулся к дому. Осторожно обошел хату, заглянул в окно Липы, к батракам и опять подошел к колодцу.

— Никого... все спят, можно...

Брат Семен положил поперек сруба кол, привязал бадью к канату и перенес ее по другую сторону кола. Бадья глухо стукнулась о сруб. Все трое замерли. Потом взялись за канат Марк и Герасим, а Семен залез в бадью, ухватился руками за веревку.

— Опускайте.

Зашуршал канат, и, покачиваясь, бадья ушла в черную пасть глубокой ямы. Двое, державшие канат, сопели, напрягались, но сдерживали бадью. Веревка, привязанная одним концом к столбу, натянулась, и бадья повисла где-то в колодце. Оба перегнулись через сруб и глянули вниз. Оттуда слышался какой-то стук, внизу поблескивала вода. Прошло около получаса. Наконец канат дернулся. Двое наверху снова напрягли мускулы, вытаскивая бадью. И когда из нее выпрыгнул Семен, оба легко вздохнули.

— Ну что? — тихо спросил Марк.

— Сделано хорошо. Отверстие именно там, где нужно, и довольно просторное.

— Значит, можно начинать? — снова спросил Марк.

— Можно. Только подводы нужно нанимать издалека. Близких не брать. Землекопов не надо чужих, пусть наша братия сама принимается.

Собеседники отошли от колодца и уселись под домом. На дворе серело, и Семен встревожился.

— Пора. Вскоре прибудет Иннокентий, а мы еще ничего не сделали в селах.— Марк тоже поднялся.

— Так ты, Герасим, оставайся здесь и готовь все, а мы пойдем.

Они торопливо вышли со двора, сели в телегу и поехали к Липецкому. Герасим вошел в дом, растолкал Липу и грубо приказал:

— Вынеси к колодцу стол, накрой его ковром и принимайся за обед. У нас будет Иннокентий.

Липа опрометью бросилась на кухню, разбудила наймичку, и вскоре на плите уже что-то шипело и булькало. А Герасим занялся своим — достал самого лучшего, выдержанного вина, чтобы было чем встретить.

День торопился узнать, что это делается в селе Липецком. Он с любопытством повис над оврагом, где давно расположились хаты молдаван-переселенцев, а золотое солнце шарило во всех углах, словно высматривая, кто же сегодня остался дома, когда все село на выгоне за церковью. Заглянуло в хаты, осыпало лучами скамьи, углы и нашло только старого Власа, семь лет не встававшего на ноги. Он лежал на лавке. Пусто в домах. Тогда повернулось солнце в другую сторону

и щедро осветило выгон, холм за церковью. Повернулось и застыло, удивленное. Там, на выгоне, за церковью, где дорога вползает в тесную улочку, сплошь рассыпался людской муравейник. И стар и мал повернулся к дороге лицом, головы обнажены и блестят на солнце. И стар и мал печально смотрит в синий простор, распростертый над желтыми хлебами. Удивилось солнце и остановилось. А потом стало медленно кружиться над полем, считать головы. Кружилось долго, время уже за полдень перевалило, а людям все не было счета.

Закружилась голова у дня, и он, опьяненный, опустился за горизонт.

Выспался день и снова — свежий, росою умытый — выглянул из-за горы. Выглянул — и снова удивился. Тысячеголовая толпа не расходилась, к ней еще прибавилось из соседних сел. И старое солнце снова принялось считать, снова кружилось до полудня, насилу, насчитав двенадцать тысяч голов, что перед ним склонились. Но вскоре солнце закрыла туча. Вначале она возникла облачком, где-то вдалеке, потом стала приближаться и темнеть. И вдруг вся тысячеголовая толпа кинулась навстречу той туче и крикнула во всю мощь:

— Осанна! Осанна, Осанна! Осанна, спаситель наших душ! Осанна, сын господний!

Тысячи ног задвигались по сухой земле. Из-под тысяч ног вырвались маленькие облачка пыли. Тысячи этих облачек поднимались в небо. А толпа бежала вздымая тучи пыли, которые сгущались и совсем закрывали солнце. Народ валил и валил — конные, пешие, на телегах; ширился океан человеческих тел, полз через овраг на гору к хутору Герасима длинный извивающийся муравейник. Исчез он в глубоком овраге, снова выполз на бугорок и возле усадьбы Герасима, споткнувшись остановился.

Не видело старое солнце моря пота и слез, не слышало страшных воплей, что вырывались из уст изнуренных крестьян и сливались в едином нечеловеческом стоне. Не видело солнце и того, что впереди толпы ехала фигура в черной рясе и клобуке, на вдохновенном окаменевшем лице фосфорическим блеском горели глаза. Ездок внимательно прислушивался к этому стону. Он с упоением поднимал голову при каждом но-

вом вопле ошалелых людей, его глаза сладостно сверкали и шероховатые розовые уста улыбались. Эта фигура словно упивалась воплями, наслаждалась ими и вдохновлялась, черпая целительную силу из самой глубины этого моря слез и пота. Черная туча, тянувшаяся за каретой, баюкала эту фигуру сонным покачиванием, сладкими мечтами.

Толпа остановилась. Пыль заволокла все вокруг и незаметно оседала на головах серым слоем.

— Благословен бог наш ныне и присно и во веки веков.

Началось длинное богослужение. Долгая нудная служба с тысячами поклонов, тысячами вздохов и угаром ладана. Словно хлеб в поле, склонялись головы то в одну сторону, то в другую. Словно буйный ветер, слышались вздохи, они опускались на землю, а затем вздымались вверх и устремлялись к небу. И летело в засохшую степь такое же вялое и тягучее:

— Доамне милуеште...*

А потом проповедь. Длинная вдохновенная проповедь из уст черной фигуры в рясе и клобуке.

— Братья и сестры! Скоро придет на нас кара господня. И нигде нельзя будет спрятаться — только под землей. И нельзя будет нигде напиться — только в освященных мною колодцах. Старайтесь, старайтесь, старайтесь! Господь наш не забывает о вас. Я выпрошу у нашего отца небесного дождик на ваши нивы, урожай на ваши поля. И ознаменую это основанием места святого — Гефсиманского сада и силоамской купели вотздесь, на дворе Герасима. И будет это место служить крепостью молдавскому краю от врагов наших с севера, собирающихся уничтожить веру нашу и церковь нашу. Братья, вскоре пойду я на голгофу за вас, на муки страшные, уготованные мне ымпэратом и его нечестивыми слугами. Но не печальтесь, с вами останутся братья мои и мать моя, богородица Софья, и синклит апостолов моих. Будь послано благословение на ваши головы. Аминь.

Вознеслась рука, освятила колодец. Из первых рядов выбрала двух бородачей, указала на колодец. Схватили они большую бадью и опустили воды набрать.

* Господи помилуй (*молд.*)

А вытянув бадью, пали на землю. В бадье плавала мать господня с заплаканными глазами.

И сам Иннокентий стал на колени, помолился небу и повернулся к огромной толпе.

— Братья! Сие есть знамение нашей победы. Пусть она защищает вас от всякого зла, а я без страха пойду на муки, уготованные мне за народ мой. Аминь.

И только теперь выглянуло солнце, чтобы в третий раз увидеть изнуренную толпу и пересчитать прибывших вновь. Здесь уже было более двадцати тысяч, и старый шут — плешивое солнце — посмеивалось над великим актером, удачно разыгравшим комедию из подлинной социальной трагедии молдавских крестьян. Выглянуло и повисло маревом. Только оно сегодня мутное. Потому что с запада поднялась небольшая туча и быстро направилась прямо к Липецкому. А позже закрыла собою солнце. Ударил гром. Сверкнула молния, и снова прокатилось по небу что-то страшное, снова и снова сверкала великая сила. На зов Иннокентия Илья-пророк принес дождь. И хлынул он, как мгла непроглядная, прямо на склоненные головы. Два часа подряд стояла толпа под ливнем. А когда снова выглянуло умытое солнце, она радостно улыбнулась старому шуту. Стоя прямо в грязи, толпа ела хлеб, раздаваемый апостолами, и запивала водой.

— Осанна! Осанна! Осанна, спаситель душ наших! Осанна тебе, ты призвал к нам дождь!

Иннокентий правил тризну над двадцатью тысячами новых жертв. Прислуживал Герасим со своей женой. Низко гнулся перед ним, низко кланялись и апостолы. Мироносицы стояли в стороне, готовые к услугам.

Вино в союзе с богачами, в союзе со здоровым телом. Сладко отдохнул Иннокентий на Герасимовых перинах с лучшей мироносицей, явившейся тут же на зов святого.

— Плоти своей не прячь. Все мы дети господа, а со мною нисходит дух божий,— говорил Иннокентий, поучая людей.

— Осанна! Осанна! Осанна, спаситель душ наших! Осанна доброте твоей!

«Рай» основан. Крепко. Твердо. Именно здесь, как желал Иннокентий.

Балтская обитель добилась серьезной победы над врагом. Его преосвященство викарный епископ Амвросий искренне радовался этому. Он с наслаждением читал синодальный приказ и представлял физиономию своего лютого врага Серафима из Кишинева, потерпевшего поражение в деле Иннокентия. Это дело выскользнуло у него из-под носа, хотя и вмешивались сюда такие влиятельные в высших кругах лица, как Пуришкевич — лидер «черной сотни». Отец Амвросий с наслаждением представлял безграничную злость кишиневского князя церкви, у которого сорвался и блестяще провалился план осады Балтской обители. Представляя все это, он еще и еще раз перечитывал приказ и ехидно улыбался.

Амвросий припоминал свое письмо святейшему синоду, в котором он так смиренно извинялся перед великими мужами светлого разума за то, что он, скромный пастырь провинциального прихода, осмеливается выразить свое несогласие с постановлением синодальной комиссии и для блага церкви предлагает инока Иннокентия на время забрать из Балтской обители; нужно на стороне убедиться, что большая часть обвинений — только завистливые посягательства врагов Балтской обители. Он униженно просил прощения за то, что осмеливается излагать свои мысли мужам светлого разума. Он просил также удовлетворить его просьбу, так как авторитет церкви подрывается легкомысленным отношением к вере некоторых корыстных отцов, которые, не заботясь о ней, действуют на руку всяким темным элементам. Он трепетно советует светлейшего ума мужам спасти авторитет церкви во всей провинции, не принимать во внимание писанину, а самим все проверить. И коли нарушил Иннокентий какую догму, то пусть отец суровый, хотя бы и Серафим каменец-подольский, наставит его на путь праведный. И он еще раз представил себе физиономию своего врага, уже державшего было в руках доклад о Балтской обители, но вдруг узнавшего, что его опередили. Против этих убедительных доказательств он не мог возразить, ибо это были более суровые самообвинения, чем выводы синодальной комиссии.

— Ах, черт вас возьми, гнилые колоды! Остолопы! — кричал отец Амвросий. — Ну и медведи ж вы, преосвященные отцы, ну и дураки ж вы, пастыри православной церкви, коль скоро и свой интерес не в состоянии отстоять. Да если бы это произошло у иезуитов, чего бы они только ни предприняли, чтобы добиться своего.

Он засеменил по своей комнате, веселый, довольный выигранным делом. Он победил сильных и мощных противников и такого церковного льва, как отец Серафим кишиневский — заслуженный русификатор «инородцев», преданный вдохновитель южных погромщиков «Союза архангела Михаила». Политический смысл дела затушеван. Высшее церковное начальство не обнаружило зловредного сепаратизма, только поставило вопрос о несоблюдении иноком Иннокентием догматов веры, чего и добивался преосвященный пастырь. Правда, дела Иллиодора, Распутина, Иоанна Кронштадтского несколько усугубили суровость приказа: святейший синод боялся появления еще одного чересчур откровенного и наглого кандидата в наместники бога, но, очевидно, признал, что этот все же безопаснее других. Тем более он в провинции, где все не так заметно.

Так что у преосвященного были все основания радоваться, и он искренне радовался. Он с насмешкой читал приказ синода, который, казалось, говорил с ним не сухим канцелярским языком, а звучал как веселый анекдот:

«...а посему считаем необходимым для церкви божьей инока Иннокентия из вашей обители забрать на время и перевести его под строгий контроль испытанного в вере Серафима каменец-подольского. И этот наш приказ необходимо осуществить немедленно, следя за неукоснительным выполнением его также иноком Иннокентием.

Вместе с тем предлагаем прекратить печатание листовок на молдавском языке, равно как и распространение его образа и слухов о святости его или принадлежности к святой троице. Запрещаем также распространять слухи о святости Феодосия Левицкого, который нами не признан святым.

Если это не будет выполнено, придется предпринять самые решительные меры и по отношению к ино-

ку Иннокентию, и к тем, кто потворствовал такой ереси.

Обер-прокурор святейшего Синода
Победоносцев».

— Ах, остолопы, ах, циркачи! «Самые решительные меры!» Дураки вы, дураки! Не признан вами? Зато признан нами. Мой ничтожный пастух стоит десяти обер-прокуроров из Петербурга. Не признан. Идиоты!

Амвросий сел за письменный стол писать письмо отцу Серафиму каменецкому. Сел, выдернул из почтового бювара лист бумаги и размашисто вывел на нем. «Ваше высокопреосвященство...» и остановился. В голове молниеносно промелькнула мысль и парализовала руку.

— Д-у-урак! Дурак, что ж я себе думаю?

Он уставился взглядом в старинный портрет какого-то деятеля церкви и, не моргая, смотрел на него. И чем внимательнее смотрел на своего предшественника, тем яснее видел, как тот, прищурив глаза, злорадно улыбался в свою седую, похожую на веер, бороду и будто говорил:

— Ду-у-урак! Остолоп!

Действительно дурак.

В испуганном воображении вдруг возникла страшная картина возможного поражения теперь, когда все уже, кажется, выиграно, когда минули все опасности, когда предприняты все предосторожности. И вдруг с портрета посмотрело на него знакомое лицо отца Серафима каменецкого, искривленное жестокой усмешкой каннибала.

В самом деле, как мог он, победив Пуришкевича и кандидата в Государственную думу отца Серафима кишиневского, не подумать, что со стороны Серафима каменецкого опасность значительно больше, чем со стороны тех. В горячке он забыл об одной важной детали в стратегии: тот же самый отец Серафим каменецкий может воспользоваться результатами боя: переманить к себе Иннокентия — и дело с концом. А для этого у него есть все возможности. Разве не он писал в синод о необходимости забрать у паствы беспокойного инока? Кто знает, может быть потом решат оставить этого инока в той обители навсегда?

Холодно стало отцу Амвросию. Глубже сел в свое кресло и застыл в тревожных думах. Вдруг кто-то возле него дерзко выкрикнул:

— Простите, преосвященный отец, что так нагло врываюсь в комнату. Вы не слышали моего стука, а я осмелился узнать, не стало ли плохо моему пастырю.

Отец Амвросий повернулся к Иннокентию и внимательно посмотрел ему прямо в глаза. И неведомо почему ему стало теплее. Как-то радостно и приятно было видеть возле себя этого, как он называл его, хама, этого ненавистного дерзкого монаха. И он впервые приветливо проговорил:

— Садись, отец Иннокентий, поболтаем кое о чем.

Величественным жестом пригласил сесть. Достал синодальный приказ и подал тому в руки.

Иннокентий углубился в чтение приказа, а владыка не спускал с него глаз. Иннокентий прочитал и тоже задумался. И, возможно, впервые понял, что попал в очень сложное и опасное положение, в окружение настоящих врагов, к которым не сунешься с кошельком, которых не успокоишь несколькими десятками тысяч, потому что деньги в самом деле не в состоянии остановить такое колесо, как канцелярия обер-прокурора святейшего синода. А вместе с тем почувствовал, что он занял в церковной иерархии место, за которое дерутся князья церкви и с которого его трудно столкнуть. Каждый из них охотно сел бы на это место. Он чувствовал, что инок Иннокентий уже не просто единица, а сила, с которой считается и святейший синод. Почувствовал — и широко улыбнулся самому себе, понял, что за ним стоит немалая сила, а потому ему нечего особенно беспокоиться. И даже приятно защекотало самолюбие, что бумагу о нем подписал сам обер-прокурор синода, имя которого благоговейно произносят в церковных кругах. Впервые глубоко и сознательно оценивал он свою силу и работу в Балте.

— Ну что ж, отец, я готов,— серьезно сказал Иннокентий.

Амвросий хотел было уже спросить о том, что его интересовало, но Иннокентий снова заговорил:

— Не нужно злить высшее начальство, будем послушны. Здесь уж и в самом деле сопротивляться не стоит, хотя... и бояться нам тоже нечего теперь.

Слово «теперь» Иннокентий особенно выделил. И то, что он именно на этом слове сделал ударение, вызвало у Амвросия новый интерес, вселило новую надежду и... новую тревогу...

— А почему именно «теперь», отец Иннокентий?

— Причин много, отец, очень много. Потому что теперь уж никакая сила не сможет убрать меня отсюда или замести мой след. Внешние враги мне не страшны, я скорее боюсь внутренних... исправника и вас, владыка. Потому что Балта теперь, викарный отец, уже ни при чем; она уже меня не интересует, есть другая обитель, более скромная, даже глухая, которая не вызовет зависти у врагов. Я буду там. Эта обитель находится в селе Липецком. А там уж меня никто не достанет. И пока я буду в Каменец-Подольском, она возрастет больше, чем Балтская за многие годы. Только вы наблюдайте за ней, помогайте братии. Это и все. А теперь разрешите мне уйти.

Иннокентий закончил, словно бросил кому-то вызов. И этот его тон будил радость в сердце отца Амвросия. Он восторженно смотрел на своего протеже.

— Отец Иннокентий, я не злопамятен, хоть мы и ругались. И перед отъездом хочу быть искренним с вами. Прошу сегодня быть у меня на ужине.

Иннокентий поблагодарил и вышел. Весело улыбаясь, пошел в монастырь пешком, не замечая даже, что за ним двигалась его карета.

32

Торжественно проходила последняя служба отца Иннокентия. На лице его застыло выражение набожности и страдания, скорби и преданности, слезы были на агатовых глазах его, полных печали. Скорбно и грустно звучал сочный голос, когда он произносил свою последнюю короткую и жалобную проповедь.

— Братья и сестры! Пришло время, нам необходимо расстаться. Враги рода человеческого восстали и наговорили на меня самому царю. А он издал приказ, чтобы бросил я паству мою любимую. Враги церкви стараются лишить вас света православной веры, лишить молдавский народ единого спасения в час страшного

суда. Я должен исполнить строгий царский приказ и стать на суд пред ним, а вас оставляю на волю господа. Буду молиться за вас, но и вы молитесь, не покидайте храм и иноков. Молитесь, братья, а я пойду на голгофу, чтобы принять муки, уготованные мне врагами веры Христовой. Аминь.

Повернулся и исчез в алтаре. Не слушал ни вздохов, ни мольб, которые неслись из уст многочисленных преданных ему мирян. Мигом очутился за церковью и исчез в своих покоях.

Легко вздохнул, когда закрыл за собой дверь кельи. Словно что-то тяжелое сбросил с плеч и сел теперь отдыхать. Даже потянулся сладко перед окном, открытым в сад. А потом перевел дух, сел к столу, открыл ящик, достал оттуда пачку бумаг, разложил перед собой и углубился в них. Черные линии на белом поле, очевидно, о чем-то говорили ему, он с любовью и упоением пробегал по каждой глазами от края до края, перескакивал перекрестки, перепутанные в каком-то удивительном кружеве. Иннокентий изучал глазами каждую линию, любовался сплетением их, улыбался каждому кружку, которыми пестрели бумаги.

Иннокентий позвонил. В кабинет вошел Кондрат, ставший каким-то важным за последнее время, особенно после того, как услышал об отъезде отца Иннокентия. Тревога залегла на лице Кондрата, когда узнал, что лишь некоторые мироносицы поедут в Каменец, а остальная братия останется под руководством Семена — старшего брата Иннокентия, который стал теперь иноком Семеоном и заместителем Иннокентия.

— Вот что, Кондрат,— ласково обратился к нему Иннокентий,— мигом собери всех апостолов в большой комнате на первом этаже, а мироносицам прикажи готовить тайную вечерю. Но только, слышишь, пусть мироносицы заберут к себе Герасима, пока не начнется трапеза. Ему не нужно знать о совете апостолов.

Кондрат вышел, а святой муж продолжал разбирать свои бумаги. А когда снова вошел отец Кондрат и доложил, что все ждут его, Иннокентий последний раз посмотрел на свои бумаги и на минуту задумался. На какую-то минуту, на шестьдесят коротких секунд, что так быстро пробегают на часовом циферблате. Но за эти шестьдесят секунд пережил всю свою жизнь ве-

ликий молдавский авантюрист и жулик, продумал все свое будущее. Оно было у него перед глазами.

Вздрогнул. Тряхнул буйной головой, избавившись от этого видения. Повернулся к Кондрату и промолвил:

— Идем. А впрочем, слушай: не трижды ли ты от меня отречешься, когда придет время стать мне перед Пилатом? Не отречешься ли от меня, когда придет враг к тебе и, полный жестокости, спросит: «Знаешь ли ты отца Иннокентия и дела его и веришь ли ты ему?»

Иннокентий произнес это каким-то особенным голосом, что доходил до самого сердца. Кондрат зажмурил глаза и как-то безразлично ответил:

— Нет, отче Иннокентий, не отрекусь от бога моего.

— Хорошо, вижу, что трижды по три отречешься, если потребуется. Нетвердый ты, отче Кондрат, хотя и давно при мне. Разжирел. Ну, идем.

Когда вошел Иннокентий, все апостолы сидели за столом. После приветствия Григорий Сырбул торжественно спросил:

— Отец Иннокентий, зачем созвал нас?

Иннокентий стоял и долго смотрел перед собой, оглядывая своих двенадцать апостолов. Толстые, мясистые, жилистые, как быки, они как-то не соответствовали тонким, изощренным планам Иннокентия. Он недоверчиво оглядел их еще раз и заколебался. Но это продолжалось всего минуту, в следующую — он решительно подошел к ним и твердо произнес:

— Вот что... Наступило трудное время. Нужны головы, а не бычьи мускулы. И поэтому не все здесь подходят, а только некоторые... более ловкие. Остальные должны слушать и прилежно исполнять приказы.

Иннокентий на секунду остановился и еще раз обвел всех горячим взглядом. Словно хотел каждого пронзить насквозь и выжечь непослушание и непокорность, вырвать из груди человеческое сердце, чтобы не мешало оно осуществлению его планов.

— Так вот, остальные должны слушать и выполнять приказы. Этого требует церковь. Я держу вас при себе не за тем, чтобы вы жирели, а чтобы помогали мне... возвеличивать бога и его святую церковь. И именно теперь бог требует потрудиться на него. Старшими среди вас будут мой брат Семеон и мать моя София. Их

распоряжения будут исходить от меня. Поэтому и слушайте их, как меня. Готовы ли вы на это? Кто не готов, кто не будет подчиняться, пусть сейчас же выйдет. Путь свободен.

Никто не пошевелился. Иннокентий выдержал торжественную паузу и сел за стол под иконами. Положил перед собой пачку бумаг и накрыл ее рукой.

— Братья! — торжественно произнес он и снова встал. Вслушался в свой голос и почувствовал, что и самого его охватывают беспокойство и тревога.— Братья, то, что я должен сейчас сказать, еще никто из вас не слышал, ни одна голова еще не думала над этим.

Иннокентий взял длинный полотняный свиток, отвернул его конец и показал первую картину. На ней яркими красками в общих чертах было разрисовано хозяйство Герасима среди ровной степи за Липецким. Он поднялся, медленно стал разворачивать свиток перед изумленными слушателями. Взорам их открывались чарующие картины господства церкви, при котором монахи становились судьями и начальниками, а добро сыпалось, как из рога изобилия. Тогда не нужно будет заботиться ни о чем, лишь держать в повиновении тысячу душ, и каждый из них станет могущественным владыкой, вельможным господином при молдавском господаре, власть которого распространится от Прута до Дуная, от Днестра до Буга — на безбрежных просторах садов, виноградников, на неизмеримых полях кукурузы и золотистой пшеницы. И когда Иннокентий свернул рулон полотна и сел у стола, ни один из присутствовавших не проронил ни слова. Только все тяжело дышали. Лица раскраснелись, глаза пылали, и каждый был готов пойти в эту минуту на бо́льшие муки, бо́льшие притеснения, чем те, о которых говорил Иннокентий, лишь бы достичь той высокой вершины, той славы, что была недосягаема для тысяч душ грешных и изнывающих братьев. Только один Кондрат безразлично отнесся к этой речи. Его мысли блуждали где-то за стенами комнаты — комнаты, в которой строил новое свое царство отец Иннокентий.

Отец Кондрат, безусловно, слышал всю речь Иннокентия, но она не тронула его сердца. Наоборот, она сверлила мозг назойливой, неотступной мыслью, которую он не смог бы высказать и самому богу. Она, эта

мысль, смущала покой его вот уже несколько месяцев, с тех пор как Семен Бостанику — жмот, пиявка и паразит,— пришедший сюда замаливать свои грехи, стал верным братом Иннокентия и богател еще быстрее, чем в селе. Без него и не вздохнет святой отец, ночью за ним посылает и все дальше отодвигает его, отца Кондрата, отдает во власть Семена Бостанику.

Трудной становилась его служба у сына божьего, все чаще и чаще он задумывался:

«Божье ли дело я творю? Неужели бог желал смерти шестнадцати инокам, что полегли от руки Иннокентия? Разве преступники могут руководить церковью? А если могут, то нужно ли служить ей?»

И тогда отцу Кондрату казалось, что его пальцы слипаются от крови отца Устима, старого приятеля еще по царскому дисциплинарному батальону, труженика и бедняка, как и сам он. Все яснее становилось, что даром пролилась кровь Устима. Ради привольной, веселой жизни Иннокентия, ради этого разврата, ради тех оков, что готовили здесь злодеи для Устимов, Кондратов.

Что же теперь?

Молчит суровый отец Кондрат. Мраком веет от слов святого. Насмешливой ложью звучат они в ушах. И отец Кондрат уже готов сказать ему, шестикрылому, образ которого сам привозил из Одессы, из типографии Фесенко, и рассылал по селам с мироносицами, что он дурачит людей, что идет против бога. Но вспоминает суровый разговор с Иннокентием перед тем, как садился писать молитвы и послания, диктуемые им на молдавском языке. Того разговора не забудет отец Кондрат.

«Теперь, Кондрат, послужи мне головой, а не кулаком. Ибо если не проявишь ума, не нужен ты мне будешь».

«Не нужен». И в то же мгновение вспомнил он отца Устима. Вспомнил, что теперь и за ним следят, что не верит уже и ему отец Иннокентий. Особенно после прихода Мардаря.

«Что это будет? Куда идти, кого искать?»

Что же должен искать отец Кондрат в темном лесу своей судьбы?

Страшно ему. Жутко. Он будто чувствует уже на

своей шее петлю, она давит горло, перехватывает дыхание. И отец Кондрат сидит унылый, все мысли его об одном.

Иннокентий тревожно смотрел на него и лихорадочно искал причину такого безразличия. А в голове подсознательно мелькала мысль: «Убрать...»

Он почти уже разрешил этот вопрос.

— Ну, братья мои, теперь пойдем ужинать,— бодро сказал отец Иннокентий и первым поднялся со стула.

Он вышел из-за стола и направился в трапезную. За ним пошел Кондрат. Иннокентий повернулся к нему и сказал шепотом:

— Что, отец Кондрат, боишься?

Отец Кондрат отступил шаг назад и посмотрел прямо в глаза Иннокентию.

— Нет, я не боюсь. Но это не божье дело, отец... не божье.

— Божье. Божье, дурень,— шепнул Иннокентий и вошел в трапезную.

Трапезная пылала тысячью зажженных свечей в светильниках и курилась запахами жертвенников, стоявших в углах зала. Двенадцать женщин-мироносиц встречали своего господина и бога. Хор голосов дружно провозглашал осанну. Белая одежда Христовых невест, подвязанных черными поясами, с черными покрывалами на головах, переливалась яркими цветами под лучами свечей, а роскошный стол, приготовленный к ужину, играл миллионами искр на граненой посуде. Мать София, в отличие от всех, была в черном. Она поднялась навстречу сыну и поцеловала его в лоб.

— Благословенна ты, женщина, что так спокойно провожаешь своего сына на страшную голгофу,— торжественно произнес Иннокентий, отвечая на ее поцелуй,— иди и молись за меня.

Мать София долгим взглядом обвела присутствующих, перекрестила Иннокентия, прикрыв глаза рукавом, вышла.

Иннокентий сел к столу. За ним последовали все двенадцать апостолов и двенадцать жен-мироносиц. Иннокентий взял за руку грустную Катинку и усадил возле себя. Потом поднял рюмку вина, благословил ее.

— Братья и сестры! Пейте вино, что превратилось

в кровь мою, пролитую за веру нашу, кровь, отданную за спасение церкви Христовой.

Двадцать пять рюмок поднялось вверх. Все замерли на мгновение. Иннокентий взял хлеб, поднял его и торжественно произнес:

— Братья и сестры! Ешьте хлеб этот, что превратился в тело мое, за вас отданное для спасения церкви Христовой.

Трапеза началась в абсолютной тишине. Молчали, пока Иннокентий снова не налил себе большой бокал и не указал другим на бутылки.

— Братья и сестры, хочу видеть веселье на лицах ваших. Не сдерживайте плоти своей, заслужившей перед господом вместе со мной вкусить земных радостей.

И он выпил до дна полный бокал.

Стало оживленней. Слышались уже тихие разговоры, шептались женщины, которых волновал один вопрос: кто из них поедет с Иннокентием? Раздавались суровые угрозы в адрес врагов церкви, осмелившихся вредить Иннокентию. Шумнее становилась трапеза. Уже слышался игривый смех женщин и дерзкий шепот мужчин. Кто-то произнес пылкие слова предложения, слышались бесстыдные шутки, у кого-то затрещала одежда, вскрикнула, теряя сознание, одна из мироносиц. А Иннокентий сидел, тихо гладил припавшую к груди его Катинку и загадочно улыбался, глядя в зал. А зал весело, неудержимо, страстно гудел, возбужденный вином.

33

До самого Липецкого Герасим то и дело посматривал на свои руки, словно чувствовал на них горячую кровь Кондрата. Она бросала красный отблеск на весь свет. Хотел даже вернуться в Балту, выдать себя полиции, но его останавливали суровый приказ брата Семеона, заместителя Иннокентия, и страшная присяга служить Иннокентию. И Герасим стал подобен смерти.

Григорий Григориан и Григорий Сырбул ехали с Герасимом и ни на мгновение не спускали с него глаз. Они словно знали его мысли. Каждый раз, когда печаль охватывала Герасима, они расспрашивали его или что-то рассказывали. И так до самого хутора. Только на

хуторе, когда выбрались из телеги и кучер ушел домой, Григорий хмуро сказал:

— Герасим, смотри, не забудь наказа отца Иннокентия. Знай, чего церковь миру не сказывает, того и мы, грешные слуги ее, не должны разглашать. То не наше дело. Да и не твои то руки сделали, бог послал ему смерть, ибо он замышлял зло против Иннокентия. А потому нужно служить богу, как присягал, выбрось из головы все, о чем не велел думать отец Иннокентий.

Герасим понял скрытый смысл благочестивых слов высокого седого старика с бородой и мохнатыми бровями. Убедился он и в том, что этого великана с узким лбом и маленькими глазками, спрятанными где-то глубоко в щелках век, приставили к нему в качестве надзирателя. И он подчинился. Умоляюще посмотрел на Григория Сырбула, что безразлично оглядывал хутор, но, встретившись со злыми колючими глазами, светившимися недобрыми огоньками и не обещавшими пощады, уныло опустил голову.

— Тяжело, отец Григорий. Покойник будто все за мной ходит и грозится...— пожаловался тихо Герасим.

— Молись,— коротко и сухо ответил Григорий Сырбул. —Да не забудь, что мы с Григорием твои батраки. Сегодня же пошли нас за тем, что нужно.

Герасим тупо посмотрел на него и кивнул головой.

На следующее утро оба монаха, переодетые в крестьянские одежды, ушли в село и слонялись там весь день. Поужинав, заперлись в риге и захрапели. Но, видно, не крепок был сон у апостолов. В полночь Григориан вышел во двор, прислушался и бесшумно направился к дому Герасима. Подошел, стукнул в окно и отступил за хату. В ту же минуту дверь открылась и вышел полураздетый Герасим. Тоже прислушался и на цыпочках пошел за хату к стоявшему у стены Григориану. А потом оба направились садом туда, где двор подходил к когда-то глубокому, а теперь уже засыпанному оврагу. Только дошли, как Григориан тихо свистнул. В ответ из терновника послышался приглушенный кашель.

— Вылезайте. Можно начинать,— кому-то шепотом сказал Григорий.

Герасим неподвижно стоял и следил за своим надзирателем. Он готов был крикнуть во весь голос: «Спа-

сите! Ради бога, спасите!» Готов был бежать от этого места, где снова затевалось какое-то страшное таинственное дело. Но при нем неотступно стояли два надзирателя — Григорий Сырбул и Григориан. Они распоряжались здесь, как хозяева. Из оврага к ним вышло двенадцать темных фигур.

— Так что же будем делать? — спросил один.

Григорий повернулся к Герасиму.

— Покажи, раб божий, самое укромное место, где бы ты погреб выкопал, если бы хотел получше спрятать его от людей?

Герасим не понял вопроса.

— Герасим, тебя спрашиваю: где тебе рыть погреб, чтобы спрятанного не нашли злые люди. Мы не можем ждать...

Герасим печально вспомнил наставления Иннокентия. Вздрогнул... и пошел в сад, за ним двинулись остальные. Возле первых деревьев Герасим остановился.

— Вот за этими кустами винограда пусть роют... — с болью в голосе проговорил Герасим.

Григориан и Сырбул обошли место вокруг и остановились на закрытом со всех сторон кусочке земли.

— Ты руби вот этот куст, — грубо, безжалостно сказал Сырбул, показывая на столетний куст винограда. Он был гордостью Герасима, во всей волости не было такого. Герасиму показалось, что Сырбул указал на него самого и что вот-вот сорвется топор и обрубит его жизнь, оборвет последнюю нить, связывающую его с этим миром, с хозяйством, с этими раскидистыми деревьями, с буйным виноградом, с солнцем, воздухом, землей... Что-то горячее обожгло ему грудь, невысказанная, непостижимая тоска и отчаяние стали раздирать сердце, голова отяжелела, словно он только что сильно ею ударился.

— Мэй, не руби его... Это еще дедовский, ему сто двадцать два года... Не руби, прошу, пожалей меня. Сними голову, заруби меня, а куст не тронь! Слышишь? Ты же человек, ты же когда-то был хозяином, неужели не жалко тебе такого добра?

Голос Герасима дрожал, сам он едва сдерживался.

— Раб Герасим, не зли меня. Позвал людей, так оставь их в покое, пусть копают... А здесь самое удобное место для погреба. Виноград у тебя другой вырас-

тет,— резко ответил Григорий, отталкивая Герасима от куста,— оставь их. Рубите.

Герасим не унимался. Он уже ничего не сознавал, жалость заслонила весь мир. Он видел только поистине страшное крушение своего хозяйства.

— Слышишь? Не тронь, говорю... Не тронь, а то убью... Как жабу, раздавлю,— шипел Герасим посиневшими губами, утрачивая разум.— Не трогай. Жизнь бери, душу бери, а виноград не трогай. Что хочешь бери...

— Перестань!— грозно сказал над самым ухом Григориан.— Отец Иннокентий, дух божий, велел. У него же есть сила наказать непослушного раба. Еще не сгнил отец Кондрат.

И, повернувшись, крикнул:

— Что ж стоите? Рубите!

— Г-а-а-ах! Ш-ш-ш! Ча-а-а-а-ах!— заходил топор в листве, сваливая ветви на землю.

Потемнело в глазах у Герасима. Он рванулся, вскрикнул и упал прямо на куст винограда, крепко обнимая его руками, да так и потерял сознание.

Очнулся у себя в риге на сене. Рядом с ним лежали Григориан и Сырбул. Оба укрыты зипунами, будто с вечера спали. Болела голова. Ныла грудь. Герасим попытался подняться и не смог. Снова упал на сено. Застонал сильнее.

— Ты чего стонешь? — спросил Сырбул.

— Что вам от меня нужно? Зачем мучаете меня?

— А раньше ты о чем думал? — с нескрываемой злобой спросил его Григорий.— Ты же присягал? Клятву дал богу? За это непослушание бойся кары его.

Он захлебнулся в своей злости, еще страшнее зашипел:

— Слышишь, ты, раб лукавый? Если не перестанешь сопротивляться, я извещу отца Иннокентия, и ты пожалеешь. Он умеет наказывать своих врагов. И знай: нам некогда с тобой валандаться, мы пришли выполнить веление бога. У нас срок четыре месяца. Слышишь? А теперь вставай, умойся и иди завтракай. О нас, смотри, ни слова. И что бы ты здесь ни увидел и ни услышал, не удивляйся. Все это мы делаем по твоему велению, а сами — только батраки твои. Так велел отец Иннокентий.

Герасим больше не удивлялся. Безразлично смотрел

на все, что творилось вокруг него, делал вид, что все это его распоряжения, и отсылал к Григорию, чтобы тот во всем наводил порядок. Он не удивился и тогда, когда во двор въехало двенадцать подвод с камнем, который свалили вблизи сада. Даже не вышел к подводчикам. Не вышел, когда въехали и подводы с цементом и свалили бочки прямо в ригу на сено.

Даже не посмотрел, какой вред причинили ему этим. Без всяких мыслей ходил он по горнице, сложив на груди руки. Не ответил и на приветствие, когда в хату вошли каменщики. Он только посмотрел на них и хмуро сказал:

— Что делать — спросите Григория. Я не вмешиваюсь, он сам все делает. И ко мне больше не обращайтесь.

Каменщики вышли, а он продолжал ходить. Спустя некоторое время вышел и тихо направился в поле. Там осмотрел пшеницу, кукурузу, подсолнечник и побрел межой прямо в степь.

— Бунэ сара!*

То был Синика. Герасим глянул на него и опустил голову на грудь.

— Чем это вы так опечалены? Все строитесь? Расширяете хозяйство? — заговорил Синика.

Герасим шагнул вперед и направился к дому соседа. Рядом с ним пошел и Василий.

— Строюсь, сосед, — ответил Герасим. — С вас пример беру. Хочу по-пански поставить хозяйство.

— Так что ж думаете делать? — с интересом спросил Синика, загадочно улыбаясь.

— Что? Думаю винный подвал построить. Виноградник расширить. Весной еще посажу кустов пятьсот-семьсот.

Синика стал серьезным. Причины строительства были уважительные и правдоподобные.

— Вино, да еще хорошее, всегда цену имеет. Правильно это вы делаете. Пора и нам уже по-человечески жить. Вон, за границей, говорят, во Франции, люди больше ничего и не делают, а только на виноградниках возятся. А живут как? Мы с вами всю жизнь быкам хвосты крутим, думаем, что лучше и быть не может.

---

* Добрый вечер! (*молд.*)

Я вот и сам... Наверное, буду проситься к вам в компанию... Самому-то непосильно,— говорил Синика.

— А почему бы и нет!— в самом деле загоревшись этой идеей, сказал Герасим.— А почему бы и нет, сосед? Почему бы и нам не стать панами? Вы же от барышничества вон как зажили! Не скрывайте, знаю, люди видели и говорили мне, как вы скот скупаете. Люди все знают. А я вот от виноградника!

Возле самого двора Синики перед ними выросла фигура Григория.

— Хозяин, там привезли материалы, нужно платить, а у меня денег не хватает,— крикнул он, запыхавшись.

— Скажи, пусть подождут...— вздохнув, молвил Герасим.— Сейчас приду.

— Да я говорил, а они ждать не могут. Идите сами, а то ведь они прибавки просят и ругаются, чтоб они сказились.

Герасим как-то сразу поник и тихо ответил:

— Иду. Ну, прощайте, сосед, дохнуть не дают... Какнибудь в другой раз поговорим.

И пошел к своему двору.

Синика долго стоял и смотрел Герасиму вслед. И ему показалось, что он что-то узнал, но поверить своему чутью еще не мог. Он догадывался, что Герасим скрывает от него правду, и его поведение казалось странным.

И Синика решил выждать и проследить за усадьбой Герасима. Внешне он проявлял равнодушие к суете во дворе Герасима, возился в своем хозяйстве и изредка при встрече с Мардарем говорил о всяких пустяках. А через три недели, когда суматоха во дворе Герасима еще больше усилилась — туда непрерывно везли камень, песок, цемент,— Синика уже не сомневался, что то не винный подвал. Он решил до конца разузнать в чем дело и выбирал для этого удобный случай.

Как-то темным августовским вечером Синика запряг лошадей и подъехал к дому Герасима.

— Добрый вечер, сосед. Не знаете, зачем я к вам? Одолжите мне рублей пятьсот на некоторое время. Не хватает на материалы, а тут мысль пришла и себе какую-нибудь постройку для хлеба поставить. И еще думаю пары две быков купить, чтобы зябь пахать. Не будет ли у вас? Как раз деньги в дело пустил...

Герасим подозвал к себе Григория.

— Григорий, не найдется ли у тебя свободных полтысячи? Вот хозяину нужно на базар. У меня сейчас при себе нет, так ты дай из своих, что на строительство,— сказал он Григорию.

Григорий пошел в хату, вынес деньги и подал Синике, Василий поблагодарил и, сев в телегу, выехал со двора. Он облегченно вздохнул, когда спустился в овраг. В конце оврага, где начинался лесок, Синика остановил лошадей, передал вожжи батраку. Как только батрак отъехал, Синика достал из-за куста узелок, развязал его и вытащил порванную свитку, шапку, постолы; торопливо переоделся. Сложил в узелок свою одежду и спрятал в кустах.

Надвинув шапку на нос, стал неторопливо подкрадываться к подворью Герасима. Еще издалека услышал шум. Чем ближе подходил, тем шум становился слышнее. Синика подошел к самой дыре, что должна была служить входом в подвал, и заглянул в нее. Там, опершись на лопату, стоял Григорий, за ним какие-то люди копали землю, другие выносили ее наверх, третьи таскали цемент, четвертые клали камень, скрепляли его раствором, выкладывали длинные коридоры, сходившиеся вверху сводом.

Пораженный Синика отошел и направился к колодцу. Там тоже суетились, сновали люди: подносили к отверстию колодца камень, опускали его туда. Синика заглянул в колодец. Внизу едва заметно блестел огонь, копошились люди, ежеминутно слышались выкрики:

— Эгей, подавай!

— Давай камень!

— Давай цемент!

В голове Синики мелькнула догадка, от нее стало жутко.

— А ну, кто еще полезет принимать? — вдруг послышалось над его головой.

— Я полезу,— откликнулся кто-то рядом с Синикой.

Синика оглянулся на плюгавенького старичка, испачканного белым. В ночной темноте он напоминал привидение.

Синика сделал шаг вперед и твердо сказал:

— И я полезу.

Надвинув шапку поглубже, он влез в бадью. С ним

село еще несколько человек, и бадья тихо поплыла в мрачную глубину колодца, остановилась. Прямо перед собой Синика увидел ярко освещенное отверстие в кладке стены. Четырехугольная ниша вдавалась глубоким коридором прямо в почву, а в глубине этого коридора горел не просто огонь, а какая-то большая лампа. Собственно, не одна, а множество их, подвешенных к потолку, к стенам.

«Электричество?!»

Синика шмыгнул в узенький проход, без конца тянувшийся под землей и с обеих сторон зацементированный. По обе стороны коридора были выдолблены какие-то норы, а за ними в обе стороны расходились такие же сводчатые коридоры. Здесь работало гораздо больше людей, чем наверху. Каждый из них торопился, спешил сделать больше другого, и работа кипела в их руках. Синика направился в самый дальний угол и оказался возле группы людей, возившихся у огромной каменной глыбы.

— Чего здесь стоишь? — гневно крикнул на него кто-то.

Сердитый работник бросил ему лопату. Синика взял ее и двинулся дальше по коридору. Сколько ни шел, коридоры все перекрещивались, по обе стороны чернели отверстия камер, выдолбленных в стенах. Спустя некоторое время он почувствовал, что и под ним, где-то в земле, копошатся люди... Синика завернул за угол коридора и опять очутился в освещенном месте. Прямо перед ним темнело небо. Он пошел наверх и оказался там, где в первый раз увидел Григория, прямо у входа в погреб.

«Вот так винодельня!» — с ужасом подумал Синика и, пригнувшись, юркнул за куст винограда. Свернул за деревья и поспешил к себе. Только во дворе остановился, в беспамятстве сел возле дома. Сидел и с опаской думал: «И снова он! Он на моем пути. Но что он задумал, этот отец Иннокентий?»

Стыли ноги, и что-то колючее перекатывалось у него в животе. Встреча была неизбежна, она не предвещала ничего хорошего Василию.

До рассвета сидел Синика думая. Только под утро вошел в хату и плюхнулся, как мешок, в постель.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

Эта обуза свалилась на губернатора каменец-подольского неожиданно. Перед прибытием Иннокентия в Каменец он получил секретное письмо из канцелярии оберпрокурора синода, в котором сообщалось, что в его губернию приезжает особа, происхождения не знатного, зато очень беспокойная для государства. Письмо вообще было сдержанное, но очень выразительное. В нем говорилось, что инок сеет «зловредный» молдавский сепаратизм, произнося проповеди на молдавском языке, в Российской империи запрещенном. А потому и должен начальник губернии следить, чтобы упомянутый инок публично не выступал и никаких проповедей не произносил, особенно среди молдавского населения губернии. Ибо за этими, дескать, религиозными проповедями кроется, как сообщают авторитетные лица, целиком вредная для безопасности державы Российской тенденция. При этом намекалось и на то, что влиятельный в определенных кругах владыка каменец-подольский, самой природой одаренный чутким сердцем и добротой, немного снисходительно относится к иноку, следовательно и за владыкой тоже необходимо наблюдать в пределах, не компрометирующих его власти.

Губернатор не замедлил сделать из этого надлежащий вывод. Тревожась об упоминаемой «тенденции», он перед самым прибытием Иннокентия в Каменец нанес визит каменецкому архипастырю епископу Серафиму. Разговор был серьезный; губернатор просидел у владыки три часа, составляя с ним пункты конститу-

ции церкви в пределах своей губернии в соответствии с письмом из синода, подтвержденным и подкрепленным посланием департамента полиции, где прямо указывалось: взять инока под усиленный и строгий надзор полиции, запретив ему всякие связи с паствой и миром. Как ни пытался владыка Серафим умалить впечатление губернатора от обоих предписаний, тот был непреклонен. Губернатор пожелал полной изоляции Иннокентия от мирян. Во всяком случае, чтобы инок не выступал нигде без разрешения, иначе — ему придется обратиться к высшей власти, гражданской и духовной. Отец Серафим довольно прозрачно намекнул, что такое рвение для губернатора будет убыточно, поскольку Иннокентий не просто инок, а... Но губернатор решительно махнул рукой.

— Я все прекрасно понимаю, ваше преосвященство, но не волен так рассматривать. Откровенно говоря, я не хочу пачкать свой формуляр делом какого-то монаха. Учтите это и не пререкайтесь. Указания моего начальства я должен выполнять, ибо это не какой-то воришка... Договорились?

— Кажется...— холодно ответил владыка, пожимая руку губернатору.

Губернатор, одернув мундир, щелкнул каблуками и вышел, слегка поклонившись владыке.

Проводив губернатора, отец Серафим сел писать письма. В первую очередь он написал отцу Амвросию в Балту, желая, чтобы отец Амвросий был осведомлен об этом разговоре с губернатором. Второе письмо написал в Петербург своему родственнику, управляющему канцелярией синода, в котором пожаловался, что его пастырский сан подвергается глумлению со стороны гражданской власти. Она перехватывает пастырские права над мирянами и монахами, и, очевидно, нет нужды держать в губерниях архипастырей консистории, верных престолу и отчизне, — можно все подчинить полиции, если она вмешивается в их дела и если они должны регистрировать в полицейских документах каждый свой поступок или распоряжение. В конце оскорбленный владыка писал, что каждый преданный слуга престола его императорского величества вправе требовать от высшей правительственной власти определенного минимума неприкосновенности на том

участке, который ему поручен, в противном случае пропадает весь смысл службы. Эти свои рассуждения он просил при удобном случае довести до сведения обер-прокурора синода.

Закончив писать, он тотчас же отправил письма, а сам стал ожидать прибытия Иннокентия. Он-то думал...

У преосвященного владыки Серафима каменец-подольского много планов. (Отцу Амвросию было отчего беспокоиться, отправляя Иннокентия в Каменец.) Срочная телеграмма от балтского епископа положила конец ожиданию. Иннокентий уже выехал. Отец Серафим велел приготовить в монастыре келью, а сам нервно заходил по кабинету, колеблясь, послать ли кого-нибудь встречать Иннокентия или, как ссыльного, не встречать, а ждать на месте. К тому же это будет противоречить строгим указаниям губернатора. А не встретить...

«Черт знает что! Такое глупое положение. Как быть?» Сомнения владыки рассеялись сами собой. Иннокентий не нуждался в том, чтобы о нем заботились. Задолго до его отъезда из Балты его брат Марк, женымироносицы, Семен Бостанику, Григорий Сырбул и Василий Панзиту отправились в пригородные села Каменца и широко оповестили население, что господь бог смилостивился над ними, грешными, и посылает в их город сына своего для утешения их; что великий пророк пэринцел Иннокентий должен прибыть в Каменец и православные обязаны достойно его встретить. В то время, когда преосвященного владыку Серафима одолевали сомнения и колебания, в кабинет влетел правитель епархиальной консистории и потребовал немедленного и секретного свидания с владыкой Серафимом.

Озабоченный архипастырь принял правителя, закрыл дверь и строго сказал:

— Говорите, в чем дело?..

Отец Серафим пробежал глазами одну бумажку, вторую — и обомлел.

В них сообщалось, что в селах губернии наблюдается большое религиозное движение крестьянства, среди которого бродят какие-то монахи, твердят о прибытии в Каменец великого пророка и призывают мирян выступить походом, чтобы достойно встретить его. Особенно распространилось это движение среди молдавско-

го крестьянства, которое слушает эти россказни на молдавском языке. В них Иннокентия называют царем, господарем молдавским, пришедшим освободить молдавский народ от лютой власти ымпэрата, угнетающего не только народ, но и веру.

Взволнованный архипастырь почуял опасность и сразу понял, что это за монахи.

— Ну? Что ж вы скажете? — спросил владыка правителя.

Правитель тупо смотрел на него и неведомо отчего дрожал.

Отец Серафим брезгливо скривил губы.

— Вы мне не нужны. Можете идти, ждите моих распоряжений.

Правитель консистории вышел, а отец Серафим продолжал мерять шагами свой кабинет, время от времени останавливаясь на одной мысли: «Сообщить губернатору?» Но всякий раз отказывался от этого намерения. Наконец овладел собой и решил ждать, что будет.

Через час в кабинет постучали.

— Войдите! — нервничая, крикнул владыка.

Вошел благочинный из кафедрального собора и заявил, что толпы людей собираются у церкви и хотят взять хоругви, чтобы идти с ними встречать какого-то духа святого.

— Идите, отче, и не приходите ко мне со сказками. Никаких хоругвей! Никаких встреч!

Благочинный вышел. Но вскоре снова вернулся и доложил, что из окрестных сел прибыла масса народа со своими попами и хоругвями и что к станции Ларга над Днестром направилась большая толпа крестьян.

Владыка даже позеленел.

— Отец благочинный! — бешено выкрикнул он. — Вы сегодня, как дитя! Сказано — больше не беспокоить меня этими известиями. Никаких сынов божьих быть не может. Идите!

— Но, ваше преосвященство...

— Я больше всего не люблю повторяться, отец, — прошептал отец Серафим. — Или вам захотелось непременно меня подразнить?

Благочинный мигом выскочил из кабинета, а преосвященный сообщил губернатору:

— Ваше превосходительство, монах Иннокентий, о

котором вы говорили, уже прибыл в Ларгу... Навстречу ему вышло множество крестьян, и я не знаю, что мне делать... Посылаете полицию разогнать церковное шествие? Да? А с каких это пор народная вера под полицейским надзором? Что? Не может быть такого приказа. Мой план: пошлите полицию, пусть соблюдает порядок, безопасность, но не вмешивается. Он и сам не посмеет сказать лишнего. А я здесь поговорю с ним. Согласны? Хорошо.

Повесил трубку.

— Черт возьми, «разогнать»! — прошептал злобно.— Я вам покажу «разогнать».

Тем временем торжественное шествие входило в город. Толпа крестьян и мещан двигалась за бричкой, в которой сидел Иннокентий, лицо его было печально, голова опущена. За ним — еще несколько повозок с женами-мироносицами. Впереди шли монахи, звеня веригами под черными рясами. Вся эта толпа остановилась перед домом епископа. Иннокентий сошел с брички и поднялся на ступеньки. Повернулся к толпе, перекрестил ее и грустно молвил:

— Молитесь, братья, молитесь. Бог милостив, он снимет с вас гнев свой.

Толпа загудела. Зашевелилась и застонала. Он еще раз оглянулся и вошел в дверь.

Владыка Серафим встретил гостя растерянно. Ужас и вместе с тем удовлетворение переполнили душу архипастыря, и он не знал, как себя вести с Иннокентием.

— Благословите, отец, служить богу под вашим началом,— тихо, но уверенно сказал Иннокентий, склоняясь под благословение.

— Благословен бог наш ныне, присно и на веки вечные... Аминь,— нетвердо ответил архипастырь.— Только напрасно, отец, вы не спросили меня, можно ли вам в мой дом входить. Не забудьте, что за вами следует дело, заведенное на вас в Петербурге, в синоде. А оно запрещает вам публично выступать в Каменец-Подольске. Об этом вам следовало узнать прежде, чем устраивать такие встречи.

Иннокентий самоуверенно усмехнулся.

— Не создавайте себе хлопот, ваше преосвященство, эти бумаги не должны были бы помешать вам встре-

тить меня ласковей, владыка. Вам и начальнику губернии, отче.

— Понимаю. Но поймите и вы, что Петербургом пренебрегать — чересчур смело и нерассудительно. Там очень интересуются вами. Скажу прямо: господину губернатору решительно приказано запретить вам выступать и...

— Это мелочи. А губернатор как?

— Опять же откровенно скажу — против вас.

— Это хуже. А впрочем, познакомьте меня с ним. А теперь, чтобы не навлечь на вас неприятностей и гнева начальства, я поеду в монастырь.

— С богом. А вечером и я там буду.

Иннокентий поехал в монастырь, где кормилось множество людей со всех концов Каменщины. В тот же вечер он отправлял службу, на которой присутствовал и губернатор. Служба прошла спокойно, губернатор был вполне удовлетворен как службой, так и проповедью, произнесенной Иннокентием на чисто русском языке. После службы губернатор познакомился сам и познакомил супругу с «эксцентричным» иноком, героем многочисленных легенд. Допоздна засиделись у преосвященного владыки Серафима. Под конец супруга губернатора пригласила Иннокентия бывать у них по средам и ласково подала ему для поцелуя свою холеную руку.

— Простите, мадам, но нам запрещено целовать даже такие прекрасные ручки, как ваши,— галантно произнес Иннокентий, вздыхая.— Не искушайте иноков, посвятивших себя богу.

Губернаторша ответила ему ласковой улыбкой и еще раз просила бывать у них непременно. А когда гости вышли, Иннокентий весело обратился к владыке Серафиму:

— Ну что, отец Серафим, вот мы и познакомились. Как видите, мы упустили одно — что при губернаторе есть еще его супруга, которую не интересуют никакие приказы ни консистории, ни синода, ни министерства. Вы этого не учли.

Владыка Серафим очарованно смотрел на инока и с восхищением думал: «Не каждый день рождается такая бестия. Если он и авантюрист, то высшего сорта. Пробу негде ставить».

А вслух сказал:

— Ну хорошо. Устраивайтесь у нас, а там как-нибудь еще поговорим.

Иннокентий вышел. Преосвященный владыка долго не ложился спать и все думал, как ему быть с этим иноком.

2

Приняв Иннокентия, господин губернатор успокоился и, положившись на владыку Серафима, уехал в отпуск. Заместителем оставил своего помощника — вице-губернатора Иовлева, молодого, еще не оперившегося чиновника министерства внутренних дел. Господин Иовлев, младший по чину, отнесся благосклоннее к пророку. Сначала он нанес ему визит, а потом закрыл свое начальственное око на все, что делал Иннокентий. Тот, почуяв ослабление надзора, вызвал к себе апостолов и мироносиц и провел с ними совет. Через несколько дней вокруг монастыря, как когда-то возле Балтского, шумел человеческий муравейник, собравшийся из ближних и дальних сел Бессарабии и Украины. Иннокентий не торопился встретиться с паствой, он вышел к ней только на четвертый день. Толпа приветствовала его громовым «осанна!» Иннокентий подождал, пока утих шум, затем обратился к паломникам с речью, которую уже давно готовил для этого случая.

— Братья и сестры! Бог отец послал меня на землю возвестить о приближении страшного суда. Страшный суд — для грешников и рай — для праведников. Но враг веры нашей восстал против меня и донес на меня ымпэрату. Ымпэрат не призвал меня к себе, но забрал меня от вас, чтобы не вещал я воли божьей. Я же вижу веру вашу, иду смело против врагов моих и готов принять смерть, как Иисус Христос. Этот враг веры — архиепископ кишиневский Серафим. Он завидует моей славе и хочет лишить меня духа божьего. Но дух божий, что сошел в образе голубя, не покидает меня, и я передаю вам волю господа. Настанет время, и больше не будет у нас ымпэрата. Все ж цари ко мне придут и поклонятся мне, кроме царей китайского и японского. И стану я тогда царем царей, владыкой владык и буду творить суд над всеми грешниками. Будьте готовы к этому, крепите веру свою, закаляйте терпение. Горе, горе

грешникам, которые не поклонятся мне. Горе тем, кто пренебрежет словом моим. Молитесь, молитесь и ждите страшного суда божьего! Молитесь и идите в мой сад Гайский, на землю обетованную, далекую от власти нечестивых царей, грешной власти. Аминь.

Толпа жадно и с удивлением слушала вещие слова Иннокентия. Наэлектризованная долгим ожиданием и страстной речью, она пала наземь перед всемогущим богом и заплакала. А когда возле Иннокентия выросли жандармы и потребовали, чтобы инок замолчал, он мученически обвел глазами толпу и громко крикнул:

— Крепитесь, братья и сестры! Вы видите, как мне запрещают говорить с вами.

Толпа грозной лавиной ринулась на побледневших жандармов. Иннокентий остановил ее одним взмахом руки.

— Не трогайте их, они не понимают, что делают. Бог сильнее их и вскоре проявит свою волю.

Жандармы повели его в монастырь, а толпа еще долго стояла, пока конная полиция не разогнала всех и не окружила монастырь.

Этот шаг был опрометчивым. Жандармский полковник ухватился за это дело и готовился сообщить о нем в Петербург. Архипастырю Серафиму и вице-губернатору немалых трудов стоило уговорить ретивого полковника не разглашать скандала. Тот согласился молчать, но предупредил, что это в последний раз. Перепуганный вице-губернатор насел на владыку Серафима.

— Как хотите, ваше преосвященство, но подобное не должно повториться. Вы понимаете, что если это повторится, нам с вами может быть очень плохо. Вам следует знать, что жандармский полковник не разделяет наших мыслей об иноке. И мы добровольно ставим себя под сильный удар. Мне неприятно, но...

— Но что же делать? — спросил владыка с иронией.

— Под замок его! Вы же понимаете, что...

Владыка Серафим подошел к молодому чиновнику, положил ему руки на плечи и вдруг громко, заливисто захохотал, словно Иовлев говорил о чем-то необыкновенно веселом и таком смешном, что его преосвященство даже задергался всем телом в неудержимом смехе.

— Го-го-го! Хо-хо, господин Иовлев! Вот так влипли! Гы-гы! Ха-ха-ха!

Иовлев изменился в лице.

— Ваше преосвященство, здесь, кажется, нет причин для смеха... Я не понимаю, чему вы смеетесь? Дело государственной важности, как вам известно.

— Известно, милый мой, известно. Всем известно, хо-хо-хо! Известно, что государственной важности дело. Но только мы с вами, господин заместитель губернатора, не государственные люди, а глуповатые, наивные простаки. Серьезно! Нет, вы только подумайте,— я буду с вами откровенен,— вы подумайте только: я забочусь о нем, вырываю его из когтей кишиневского епископа, чтобы тот его не растерзал, как дикий зверь, перевожу его к себе, беру его под свою охрану, приобщаю к этому вас, заместителя губернатора, и все... Для чего, вы думаете? А для того, господин мой, чтобы он нас, меня, старую лисицу, обвел вокруг пальца! Да, да, чтобы обвел меня, как дурачка, потому что он и не думает об этих наших услугах. У него свои планы, о каком-то своем царстве думает в Липецком. Думает, слышите вы это? О своем царстве! И свое пребывание у меня использовал для того, чтобы вселить в своих молдаван мысль, что мы с вами его гонители, что он у нас на муках, как Христос. И вы думаете, они не верят? Верят! Вся масса пойдет за ним, как бы мы ее ни останавливали. А ему только это и нужно. Ему наплевать на нас,— владыка перевел дух.— Все это его не беспокоит, потому что мы, то есть я и вы, и защищать же его будем, мы же ему и поможем. Слышите? Церковь и государство! А что же теперь нам делать? Поднимать шум? Звать полицию? Заковать его в цепи, как государственного преступника? Глупости! Мы этого не можем сделать, не обвинив себя. Его выпустят, выпустят без нас, а нам с вами намылят шею, ха-ха!

Владыка Серафим нервно прошелся по кабинету и остановился перед Иовлевым.

— Церковь и государство помогают! Слышите?— Он скрипнул зубами.— И отступать поздно и бессмысленно. Потому-то, мой господин, пишите своему начальству об этом событии, чтобы вас и в самом деле в крамолу не втянули да не опередил бы господин жандармский полковник. Пишите и немедленно.

— Не понимаю... Ничего не понимаю! «Отступать поздно»— и ставить в известность начальство...

— Пишите, говорю. А вначале пошлите ко мне судебного врача.

— Идея! Идея, ваше преосвященство! Она мне нравится чрезвычайно. Судебный врач будет здесь немедленно. Вашу руку, новоявленный гений! Вот вам записка, пошлите кого-нибудь из своих за врачом, он моментально будет здесь. И прикажите накрывать стол. Выпить, выпить за такую блестящую идею, она может родиться раз в тысячелетие!

Господин Иовлев даже вскочил с места и забегал по кабинету.

— Простите, ваше преосвященство, мою фамильярность. Но я не могу скрыть своего искреннего восторга.

Через полчаса тучный и округлый судебный врач Карл Михайлович прибыл к владыке.

— Ну, что здесь произошло столь чрезвычайное, что потребовался скромный лекарь? Кто у вас болен?

— Да, да, Карл Михайлович, у нас есть больной. Тяжело больной есть у нас. И вы должны его немедленно вылечить,— кричал Иовлев.

— Кто же? Что случилось? Ничего не понимаю.

— Сейчас, сейчас поймете! Хо-хо! Подождите! — заместитель губернатора глянул на владыку Серафима.— Пойдемте к столу, там мы вам расскажем обо всем.

В столовой Иовлев не то шутя, не то серьезно сказал:

— Больной у нас — авторитет, Карл Михайлович.

— Ничего не понимаю.

— Сейчас поймете, сейчас, сейчас.— И, приняв серьезный вид, он заговорил снова:— Карл Михайлович, наш монах Иннокентий болен. И настолько болен, что... произнес эту знаменитую речь, о которой и вы, вероятно, знаете. Понимаете?

— Я понимаю вас, ваше высокородие. Понимаю. Завтра же буду у вашего больного.

Заместитель губернатора налил всем по рюмке, и компания развеселилась за столом у преосвященного епископа. Здесь же обсудили все по порядку.

На следующий день Карл Михайлович созвал судебно-экспертную комиссию, в которую вошли врачи. Эта комиссия во главе с Иовлевым, вместе с жандармским ротмистром, городским головой и эскортом поли-

ции и жандармов прибыла в монастырь. Иннокентий встретил их сдержанно, почти спокойно, позволил себя осмотреть и ответил на вопросы.

Нетребовательная комиссия удовлетворилась поверхностным опросом Иннокентия по религиозно-бытовой, государственной части и записала его ответы. Наконец подписала акт и разошлась. В Петербург было послано письмо от правителя края с доносом на Иннокентия и с «приложением» акта судебно-экспертной врачебной комиссии. Она подтверждала следующее:

«1911 года, декабря 13 дня, г. Каменец-Подольск...

Чрезвычайная судебно-медицинская комиссия по требованию местных властей осмотрела монаха Иннокентия, пребывающего в Спасском монастыре. В результате осмотра упомянутая комиссия установила, что монах Иннокентий страдает манией величия на религиозной почве, чем и объясняется выступление перед многочисленной толпой темных молдавских крестьян. И, будучи в таком состоянии, инок Иннокентий, естественно, не может отвечать за свои действия и нуждается в пребывании в тихой обители; таковым требованиям вполне соответствует Спасский монастырь, куда определил его преосвященный Серафим под наблюдение человека, коему он доверяет.

Но все же комиссия считает, что как проповедника христианской веры его нельзя оставлять одного и при исполнении пастырских обязанностей, ибо он под влиянием своих навязчивых идей может оказать вредное действие на темные религиозные массы верующих».

Этот акт вместе с секретными письмами временно исполняющего обязанности губернатора к «влиятельным лицам» в департаменте полиции и министерстве внутренних дел был послан в Петербург. В письмах начальник края ясно намекал, что инок достоин всяческого внимания со стороны упомянутых «влиятельных лиц».

У владыки Серафима нашлись вдруг давнишние дела, потребовавшие немедленного разрешения в синоде, и он выехал в Петербург. Слишком доверять акту он не хотел, лучше всего самому убедиться, какое он окажет влияние на адресатов.

Дело пошло по инстанциям, наполнялось «присовокуплениями», «приложениями», «добавлениями» и «пояснениями», распухло от них, но не двигалось к окон-

чательной развязке. «Влиятельные лица» тормозили это трудное путешествие.

Чудотворец тем временем стал о нем забывать. Он свободно выезжал в Липецкое, отправлял там богослужения в новом монастыре и возвращался снова в Каменец, где его совершенно отстранили от богослужений. Он снова пытался устроить встречу с паствой, но владыка Серафим решительно отрезал:

— Как хотите, отче Иннокентий, но при первой же попытке не вернуться вовремя или собрать своих молдаван я уже не буду оберегать вас от ареста или определения в сумасшедший дом. Хватит чудотворить!

Иннокентий больше не возвращался к этому. Тихо выезжал в путешествия по Бессарабии и так же тихо возвращался домой.

На третьем году пребывания в Каменец-Подольске Иннокентий уже не слушал приказов владыки Серафима. Он махнул на дело в синоде и решил провести богослужение в монастыре. А для этого ему нужно было сначала побывать в Липецком. Он отправил своих мироносиц в Балту, Липецкое, Сороки, Унгены — оповестить, что отец Иннокентий победил дьявола, а по этому случаю в Липецком, а потом в Каменец-Подольске состоится торжественная служба. Собрал вещи и приготовился выехать в Липецкое, чтобы лично распорядиться.

Иннокентий был в пышной одежде, с роскошными чемоданами в руках. На мужественном и привлекательном лице — удовлетворение, глаза горели, когда он покидал стены монастыря. Важно ехал он до Проскурова, так же важно шагнул на ступени вокзала, чтобы сесть в поезд. Он весь был поглощен мыслями о будущей встрече с отцом Амвросием балтским. Не заметил даже, как рядом с ним появился жандармский полковник и тихо, но отчетливо произнес:

— Ваше преподобие, отошлите свой багаж назад, а сами следуйте за мной.

Ничего не понимая, Иннокентий посмотрел на него и приветливо улыбнулся:

— Мне некогда, господин полковник, сегодня должен выехать в Балту.

— Ваше преподобие, никуда вы ни сегодня, ни зав-

тра не поедете. Без шума отошлите вещи обратно, а сами следуйте за мной.

Иннокентий только сейчас почувствовал враждебный и сухой тон жандармского полковника, голос которого шелестел, как сухая канцелярская бумага.

— Что вы хотите этим сказать?— растерялся Иннокентий.

— Ваше преподобие, на перроне неудобно передавать приказ жандармского корпуса... пройдите со мной, я вам объясню.

Иннокентий пошел за ним в канцелярию вахмистра. Здесь полковник еще более сухо и жестко сказал:

— Ваше проподобие, мне приказано следить, чтобы вы никуда не выезжали. Простите, если я буду вынужден приставить к вам жандарма, прикажу ему не спускать с вас глаз, пока не получу распоряжения отменить этот надзор. Чтобы не компрометировать вас, я переодену его монахом, и он будет послушником, только, разумеется, при нем будет оружие. И вы понимаете, конечно, что не он у вас, а вы у него будете в роли послушника. Не иначе. Идемте. Прошу,— указал он рукой на дверь.

В монастыре его ждала еще одна неожиданность, более неприятная. В дверях своей кельи он встретился с отцом Серафимом, бледным и взволнованным: тот допрашивал о чем-то монаха. Увидев Иннокентия в сопровождении жандармского полковника, владыка Серафим долго не мог вымолвить ни слова. И только когда полковник поздоровался, он смущенно спросил:

— Откуда это вы вместе с отцом Иннокентием?

Полковник неопределенно развел руками и пожал плечами. Отец Серафим понял, очевидно, ибо прошептал побледневшими губами:

— Значит, двумя путями?

— Очевидно, двумя,— в тон ему ответил полковник.— Очевидно, двумя, ваше преосвященство.

Отец Серафим обрел дар речи и, достав из кармана рясы бумажку, поднял голову не то для того, чтобы сказать, не то для того, чтобы прочитать какой-то абзац. Но его прервал заместитель губернатора, вскочивший в келью тяжело дыша.

— Отец Иннокентий, черт побери, здесь?

И умолк. Перед ним были все власти — и духовные и светские.

— Господа! — нервно выкрикнул Иовлев. — У меня приказ немедленно выслать отца Иннокентия в Муромский монастырь.

— У меня такой же, — грустно известил владыка.

— Господа, мои функции здесь — самые скромные, — сказал жандармский полковник. — Мне поручено сопровождать его и проследить за выполнением предписаний и синода, и департамента полиции. До свидания.

Бледный Иннокентий сидел не двигаясь. Энергия вдруг покинула его, будто в нем что-то надломилось. Глаза беспомощно блуждали по полу, он стал жалким. Владыка Серафим с сочувствием смотрел на него. Иннокентий поднял голову и растерянно спросил:

— Что же делать, отче? В Муромский монастырь — это же...

Не кончил. Свесил голову и тихо, непроизвольно перебирая четки, заплакал. Страх отнял у него речь, сознание, волю. Иннокентий боялся показать это и еще ниже склонил голову.

Владыка Серафим отвернулся и вышел.

Растерянный, разбитый сидел Иннокентий в пустой келье. Рядом смущенно стоял переодетый жандарм.

3

Преосвященный Амвросий, получив от отца Серафима письмо, в тот же день выехал в Каменец-Подольск. Проклиная российский способ передвижения — на лошадях, преосвященный пастырь наконец одолел дорогу от Проскурова до Каменец-Подольска и почти вбежал в кабинет отца Серафима.

— Ну что? — сразу спросил он владыку Серафима. Понимал, что вопрос глупый, но другого придумать не мог.

— Неважно. В Муромский монастырь отправляют.

— Что же это значит, отче Серафим?

— Что? Это дело давнего происхождения. Обвинения те же: пять мироносиц в келье, молдавский язык, проповеди. Особенно проповеди, отче Амвросий. Подумать только, в цари захотелось! «Не будет, говорит,

ымпэрата, будет молдавский господарь, и я буду царем царей». Царь царей! Он — царь царей! Черт возьми этого вашего идиота! Поднять такую кутерьму в целой провинции, быть таким идиотом... А теперь он едет на царствование в Муромский, мне — строжайший выговор, вице-губернатору — нагоняй и т. д. и т. п.

— Круто, круто,— встревоженно сказал преосвященный Амвросий.— Теперь ничто уже не поможет. Мне это ясно. Но положение ухудшается тем, что бросить его тоже нельзя. Он сам запутается, церковь, епархию запутает.

— Да, это правда...— ответил Серафим.— Но что же делать?

Амвросий решительно кивнул головой.

— Бороться! В первую очередь не лишать его совета. Без нас он пропадет, и церковь понесет урон. Не порывать с ним отношений — это главное. Главное потому, что в Липецком он основал новую обитель. Она привлекла к себе всю Бессарабию. Ломать ее нельзя и... не нужно. Надо ее поддерживать и руководить ею, чтобы от нее не отшатнулся народ. Если отойдут от обители — отойдут от веры православной. Мы это твердо должны помнить, отче, и спасать дело для церкви. Синод видит Иннокентия, а мы должны видеть его работу и удержать синод от неверного шага по отношению к вере. Понятно?

— Не совсем.

— Ну, если так, то я должен добавить,— осторожно, обдумывая слова, говорил Амвросий балтский.— Я считаю, что отец Серафим кишиневский допускает серьезную ошибку. Это потому, что человек он ограниченный и дальше своего носа не видит, а руководствуется только завистью, но не ясным умом. Уничтожить Иннокентия как личность — это частное дело каждого, дело его симпатии или антипатии, это чисто личное... Но ведь Иннокентий не один, а со всей Бессарабией, которая верит в него. И получается, что уничтожить его — это уничтожить веру в сердцах многочисленного населения, сотен тысяч православных мирян. В этом ли интерес церкви? Интерес престола и державы? Разве без церкви удержится какой-нибудь престол? Нет. Это во вред церкви и государству, во вред престолу. Я не удивляюсь, что Серафима кишиневского поддерживают

Пуришкевич и Крушеван. Рука руку моет. Пуришкевич — человек светский, политик, а не пастырь церкви. Мы же, спасая Иннокентия, несем знамя веры. Правда,— выдержав секундную паузу, продолжил Амвросий,— если мы проиграем, то можем и сами попасть в Муромский, а это еще больше заставляет нас бороться, чтобы не стать жертвами.

— Но как это сделать?— развел руками Серафим.

— Как? Путь один — поднять против Серафима кишиневского и Пуришкевича сам народ. Осаждать святейший синод жалобами духовенства на самоуправство архипастыря кишиневского, ссылаясь при этом на требования народа возвратить Иннокентия, на свидетельства священников о праведных делах изгнанного инока. Нужно поднять все против Кишинева. Мой план: сейчас же — вы от себя, я от себя, а защитники Иннокентия в кишиневской епархии от себя — поднимем духовенство на протест, на требование пересмотреть дело Иннокентия. И все это направим в синод. Открыто нам с вами выступать нельзя, да и опасно. Поэтому пусть народ сам это делает. И под нашим руководством он спасет дело. Я уверен, что история церкви нас оправдает, ибо мы привлекаем к церкви народ целого края, мы спасаем государство от губительных последствий безбожия. Не Иннокентия спасаем мы, а бога в нем. Сам же Иннокентий — верный сын церкви и отчизны.

Князья церкви еще долго совещались и наконец согласились с этим планом. Разработанный в маленьком городе Каменец-Подольске, он еще долго будет привлекать историков грандиозными последствиями неприкрытого мошенничества и жестокости церкви, которая за митру бросила на гибель, на смерть, на одичание десятки тысяч молдавских крестьян, на разорение — тысячи хозяйств и семей. И все это в борьбе за княжение в церкви, за курорты в Крыму, за роскошь.

Владыка Серафим удовлетворенно пожал руку Амвросию и с уважением сказал:

— В вашем лице, отче, церковь имеет искреннего защитника. Я уверен, отче, что мы победим несчастье, а Иннокентия, себя и бога возвеличим. И я советую не откладывать этого надолго.

И он сел к столу писать письма своей пастве. Долго

обдумывал, как и что писать. Наконец нашел нужные слова и долго, старательно сочинял своеобразное историческое воззвание, поднявшее на борьбу за Иннокентия всю Каменец-Подольскую губернию.

Амвросий прочитал письмо и целиком одобрил его. Даже не увидевшись с Иннокентием, он выехал в Балту. Не встретился он с ним по многим причинам, которые скрывал от всех. Отец Серафим немедля передал чиновнику особых поручений епархиальный консистории приказ распространить письмо по всей Каменец-Подольской губернии и одновременно распорядился, чтобы благочинные посетили его по делам какого-то церковного устава, которого, дескать, не придерживаются духовные отцы. Во время этих посещений отец Серафим поучал их, какой линии каждый из них должен придерживаться в деле Иннокентия.

Письма пошли в низы. Духовные отцы, посетившие преосвященного владыку и получившие изрядный нагоняй за несоблюдение своего устава, разъезжались вполне уверенные, что наступили времена, когда ничего определенного нельзя сказать о своей парафии*. Сельские пастыри хорошо поняли свою роль, и ни один из них не упомянул о еретизме Иннокентия. Напротив, все единогласно утверждали, что инок этот, пребывая в епархии каменецкой и посещая их села, проявил себя преданным вере, а к церкви — почтительным. Одновременно отцы широко оповещали народ, что отец Иннокентий, гонимый за веру православную, терпит обиды и что его отнимают у паствы и ссылают в страну вечного холода, где и солнце только раз в году светит. А там закуют его в кандалы и будут держать так двадцать лет, пока он не отречется от намерения спасти молдавский народ.

Новое движение охватило Бессарабию. Всколыхнулись опять молдавские села, покатились новые волны в Балту, зашевелились бедняки в своих жилищах, ища отрады и утешения от своей безрадостной, тяжкой жизни, полной эксплуатации, глумления и грабежа. На волах, на лошадях, пешком двигались бесконечные караваны бедноты. Люди несли на своих плечах, везли на телегах последнее из хозяйства. В узелках тех были

* Приход *(молд.)*.

хаты, отошедшие за бесценок к кулакам, нивы, отданные почти даром, лошади, телеги, овцы, виноградники, проданные по дешевке, чтобы путешествие «преотулуй чел маре» было беззаботным и чтобы молился за них пэринцел Иннокентий.

А узнав по дороге, что пэринцел Иннокентий не будет проезжать через Балту, караваны поворачивали в другую сторону и бесконечной черно-серой лентой, как гигантское миллиардоногое насекомое, ползли болотистой дорогой на Бирзулу, через которую должен был проехать спаситель грешных молдавских душ.

Тоскливый осенний ветер свистел над головами, рвал хоругви из посиневших рук церковных старателей. Холод проникал сквозь потертые кожухи и валенки, сковывал движения. Босые ноги бедняков, вернейших заветам Иннокентия и не щадивших плоти своей, трескались на дорожных камнях и, глубоко погружаясь в жирную землю, оставляли в черной холодной грязи капли нищенской крови.

Боли не ощущали.

С поднятыми головами плелись длинные вереницы богомольцев к станции.

Большая площадь перед станцией Бирзула покрыта сплошь черно-серыми фигурами с посиневшими лицами. А к толпе прибывают все новые, толкутся друг перед другом, чтобы своими глазами увидеть того, кто так много должен был сделать для убогого пахаря-бедняка. Перед самым прибытием поезда из Липецкого на бугре против Бирзулы появилась новая вереница богомольцев. Впереди шел поп Милентий в праздничной одежде, за ним — многочисленный синклит мужей и жен «рая», а дальше двигался народ села Липецкого, поднятый фанатической верой в своего спасителя. Толпа дико устремилась вперед, бездумно, безвольно, с одним только желанием — услышать слово радости, слово отрады.

— Спаси, господи, люди твоя-а-а!..

— Осанна! Осанна! Осанна!

— Осанна тебе, великий спаситель душ грешных!

Жандармский вахмистр суетился на перроне, не зная, как вести себя с этой разношерстной толпой. Впервые за долгую службу не мог решить сложного вопроса: кем считать этих мужиков — то ли крамольниками,

то ли стадом духовным православной церкви, которое пришло воздать хвалу господу. В инструкции, касающейся переезда Иннокентия, об этом сказано непонятно. Он хотел получить по телеграфу дополнительные указания от жандармского полковника, но в ответ пришел короткий приказ: «Не разрешать сойти ему с поезда, а стоянку сократить до трех минут».

Страж самодержавного престола растерялся и решил проявить больше находчивости.

Поезд вынырнул из серой туманной мглы осеннего дня и, просвистев, остановился. Толпа с возгласами «осанна» повалила на перрон. Жандарм опрометью бросился к вагону первого класса, откуда показалась лохматая голова красивого, стройного монаха в высоком клобуке, и загородил ему дорогу.

— Выходить, ваше преподобие, нельзя. Жандармский полковник не велел. Строжайше запрещено, ваше преподобие... Мы на службе.

Иннокентий отстранил его рукой и устало ответил:

— Раб божий, не во власти твоего начальства задержать того, кто с именем божьим идет к народу. Отойди и не мешай. Выходить я и без тебя не буду, только посмотрю на своих детей вблизи.

И, обойдя жандарма, стал благословлять толпу. Он искал в ней духовных отцов, которые должны были встречать его, но их далеко оттеснила толпа. Тогда Иннокентий махнул рукой, и вся толпа, расступившись, пропустила вперед процессию во главе с Семеном Бостанику и Герасимом Мардарем.

— Дети мои! Рука господа ежечасно станет защищать вас, только будьте смиренны сердцем и не забывайте обители святой, не забывайте слов моих. Уже недалек час, когда царь царей и владыка владык возьмется судить праведных и грешных. И тогда на земле не будет никакого пристанища грешникам. Дети мои, за вас иду принимать мученический венок. За вас отдаю тело свое на посмешище дьяволу. Будьте верны мне и церкви моей. А я оставляю вам пастырей,— указал он на апостолов и мироносиц.— Аминь.

— Отче наш! Надежда наша! Не покидай, не бросай нас! — ревела толпа.

— Я с вами и снова говорю вам: уважайте себя и подчиняйтесь власти, пока я не прибуду на суд. А я

смело пойду на суд царский, чтобы потом представить его на суд господний за дела нечестивые.

Из тысяч грудей вырвалось одновременное громкое рыдание. Оно заглушило рев колоколов бирзульских церквей, пыхтение паровоза и свистки жандарма, вызывавшего полицию. Иннокентий только оглядел толпу, медленно повернулся и, вытирая слезы, пошел в вагон. Все рвались вперед, протягивали к нему руки.

— Спаситель душ наших, сжалься! Преотул чел маре!

Иннокентий хотел еще что-то сказать, но к нему подскочил перепуганный жандарм и решительно сказал:

— Прикажу, ваше преподобие, стрелять, если не уйдете.

Иннокентий вошел в вагон. Жандарм махнул начальнику станции. Трижды прозвучал сигнал, кондуктор торопливо дал свисток, и поезд тронулся.

Последний взмах руки. Последний крест на головы склонившейся к земле толпы, и черная ряса в дверях вагона превратилась сначала в пятно, потом совсем исчезла. А толпа все стояла. Тоскливый стон витал над ней, уплывая к оловянному небу.

4

Катинка возвратилась в Балту, на душе было тоскливо. Горе сжимало сердце. Непонятная истома лишала сил, и мысли тянулись нескончаемо, как осенняя грязь на молдавских дорогах.

Хотелось подойти к родному человеку, склониться ему на грудь, обнять за шею и выплакаться. Как плакала когда-то на груди старой Федоры у господ Грабских и Самийло...

Катинка тосковала в одиночестве. Даже мать-богородицу не могла видеть, не могла посоветоваться с ней. Той некогда, она должна выполнять завещание своего божественного сына Иннокентия и заседает где-то взаперти с отцами-апостолами. А среди братии нет доброй души. Очерствели, огрубели их души от бесконечных забот. Да и до нее ли им, если на обитель Балтскую свалилось несчастье. Катинка замыкалась в себе и наедине выплакивала свою боль. И все глубже заглядывала

к себе в сердце, перебирала в памяти прошлое, пересматривала его, пыталась узнать, зачем и как она здесь живет и что же томит ее.

И где-то в глубине души ощутила любовь. Глубокую, преданную любовь к тому, кто исчез за поворотом железнодорожной колеи, к тому, чьи агатовые глаза были полны в последнее время тихой грусти. Мысленно Катинка ласкала его, подбирала самые нежные слова. Она обнимала и как бы прижимала к сердцу самую мысль о нем, ласкала черную рясу. Она ушла от действительности, от жизни в обители и ночами мечтала, сидя на окне и наблюдая за полосками света, пробивавшимися из окон его покоев.

Она безразлично встретила у себя в келье мать-богородицу Софию, равнодушно выслушала ее распоряжение собираться в дорогу и так же равнодушно сложила самое необходимое в кожаный чемодан — подарок Иннокентия. Безразлично села в телегу. Черно-серая дорога к балтскому вокзалу, вьющаяся между двумя холмами, воскресила в памяти прошлое.

«Куда? Зачем?»

Томительно тянулась повозка на гору, потом свернула мимо станции на дорогу к Гидериму, а Катинка все недоуменно осматривала спину своей поводырши. Когда проехали вокзал, спросила:

— Куда мы поворачиваем, сестра?

— Не твое дело. Едешь себе с богом и не спрашивай. Так велел пэринцел Иннокентий.

Катинка снова съежилась и уже не пошевельнулась до самого Гефсиманского сада. Лишь когда остановились перед хатой Герасима и старая монашка велела встать с телеги, Катинка подняла глаза и огляделась вокруг.

— Где мы, сестра?

— В раю. Там, где господь велел быть семье Иннокентия. Иди за мной.

* * *

Катинка очнулась, посмотрела на деда, пришедшего неизвестно откуда, и снова погрузилась в свою скорбь, как в мягкое, пушистое одеяло. Потом встала и тихо пошла за дедом.

Остановилась перед каким-то погребом. Остановилась потому, что исчез вдруг дневной свет и все вокруг окутала непроглядная тьма. Проводник сурово окликнул Катинку. Снова пошла вдоль темного, тесного коридора. Шаги гулко отдавались под цементированным сводом.

Шли ровным, узким коридором. Через каждые пять метров он пересекался поперечным коридором, по обе стороны коридора в стенах что-то гудело, шепталось и стонало. Изредка приоткрывалось отверстие в стене, мелькал огонек и Катинка на мгновение видела пещеру, выдолбленную в стене коридора, откуда ее кто-то осматривал блестящими глазами. Катинка со страхом отворачивалась от них и быстрее шагала за поводырем. А тот сворачивал то в один боковой коридор, то в другой, минуя все новые и новые проходы, освещенные тусклой свечкой или прикрепленной к потолку лампадкой. Катинка лихорадочно двигалась, а бесконечные коридоры сменяли друг друга, и выглядывали все новые лица, и слышались разговоры. Они прошли так километра полтора. Наконец проводник остановился и сурово обратился к Катинке:

— Вот здесь будешь жить. Входи и подожди меня.

Катинка вошла, осмотрелась и, совсем ослабевшая, села. Она находилась в четырехугольной пещере, выдолбленной прямо в земле и гладко зацементированной. В келье не было ничего, кроме каменного ложа, покрытого грубыми молдавскими коврами и большими белыми подушками. Через минуту вошел дед-проводник, а за ним дряхлая старуха, слепая на один глаз. Проводник стоял посреди кельи, расставив ноги.

— Раба божья Катря, — обратился он к Катинке. — Здесь ты будешь жить и не выходи никуда, пока отцы наши не позовут тебя или не велят сослужить какую службу. Тогда выполняй, ибо их назначил отец Иннокентий. Понимаешь?

Катинка машинально кивнула головой, а проводник, опираясь на костыль, продолжал:

— И еще ты должна внимательно следить за сестрами, что живут здесь... Как увидишь, что какая-нибудь ходит в мужские коридоры, сообщай этой старшей сестре Понимаешь? И еще помни: ты должна покоряться отцам твоим — и телом покоряйся, и духом, ибо они

владеют нами по воле отца Иннокентия. Понимаешь? Плоть наша и дух наш в руках их. Понимаешь?

Катинка кивнула, хотя поняла из всей этой речи одно только слово — «Иннокентий». Ради него она готова на все. Для него она отдаст и тело, и душу, отдаст все, что осталось еще от изломанного, изувеченного существа.

Дед-проводник исчез. Катинка, совершенно обессиленная от нахлынувших впечатлений, вдруг одним прыжком очутилась возле старой монашки и, обняв, прильнула к ее груди. Горько, надрывно зарыдала.

— Где я, бабуся? Где я?

— Я тебе не бабуся, а сестра. А где ты — скоро узнаешь. Да ты не плачь, наши отцы не любят слез на молодых щеках. А груди у тебя, дочка...

Катинке показалось: то не старая монашка говорила, а шипела страшная гадюка и высовывала свое жало. И из этого жала исходило что-то зловонное, гадкое. Ей вдруг припомнилось ее прошлое в Балтской обители, которое она всегда так старательно заслоняла мечтами о светлом будущем. Резко отшатнулась от старухи и, как мертвая, упала на постель.

— Что же мне делать? — спросила тихо.

— Молиться... а услышишь звон — иди на него. Там святые отцы скажут, что делать. Без моего разрешения выходить из кельи нельзя.

Катинка невидящим взором смотрела на старую изуродованную фигуру, и ей казалось, что вот-вот упадет она в ту глубокую яму, куда так часто проваливалась. Махнула рукой старухе, а сама закрыла глаза.. Монашка вышла.

Катинка лежала как в обмороке. Услышала звон, он гремел, перекатывался тоскливым гудением под каменными сводами. Медленно встала и поплелась коридорами прямо на него. Но как ни пыталась попасть на дорогу, как ни прислушивалась, откуда этот звон, не могла понять. Побрела наугад, натыкаясь на одинокие фигуры, иногда на группы людей. Они двигались в разных направлениях. Казалось, этому блужданию конца-края не будет и она вот-вот окажется на какой-то дикой тропе, сорвется куда-то в пропасть навеки. Прижалась к холодной стенке и громко, надрывно зарыдала. К ней подошла женщина и ласково спросила:

— Чего плачешь, сестра?

Катинка рассказала о своих блужданиях, попросила провести. Женщина взяла ее за руку, и они пошли бесконечными лабиринтами, сворачивая то за один угол, то за другой, пока не вошли в просторное круглое помещение, освещенное множеством свечей. В центре возвышался аналой, а перед ним стоял отец Семеон, брат Иннокентия, в монашеской рясе.

— Что это за люди? Откуда они? — тихо спросила Катинка свою спутницу.

— Молчи, это райские люди, они покинули мир и поселились здесь, в пещерах, чтобы спастись от грешной жизни.

Катинка оглянулась. Перед ней стояла многочисленная толпа людей разного возраста с высохшими и померкшими лицами, которые при таком свете казались мертвыми. На этих желтых лицах как-то страшно блестели глаза, холодом смерти веяло от каждого. Вдруг отец Семеон повернулся и посмотрел прямо на нее. Она опустила глаза и вздрогнула.

— Не пугайся, богу нужен истинный слуга. Приди ко мне, дочь, ты сподобишься духа святого, что отец Иннокентий пересылает из ссылки.

Катинка не двигалась. Тогда к ней подошли двое мужчин, взяли за руки. Не слышала, как исчезла перед ней толпа, как очутилась в просторной келье. Проводники сидели у двери. Через несколько минут вошел отец Семеон и знаком отослал сторожей.

— Ты что это отворачиваешься, раба божья? Разве не знаешь приказа святого пэринцела Иннокентия, который велел всем подчиняться мне?

Катинка бессмысленно глядела перед собой. Отец Семеон подошел к ней, взял за подбородок, поднял голову к свету и посмотрел прямо в глаза.

— Раба божья Катинка, ты будешь приходить ко мне, когда позову. Дух божий выбрал тебя...

Катинка ощутила у себя на плечах его горячие лапы. Ей казалось, что зверь выполз из угла и она у него в когтях. Не билась, не сопротивлялась, а покорно согнулась под сильными руками. Замерла, безразличная к поцелуям и ласковым словам. Неподвижно лежала, пока острая боль не вывела ее из такого состояния.

— Ты что ж, стерва, заснула? А?

Катинка застонала. Одним движением настигла зверя. Острыми зубами впилась ему в щеку и почувствовала на языке что-то теплое и соленое. Это прибавило злости. Она обхватила руками обидчика, притянула к себе, чтобы растерзать на куски. Но в это мгновение ее ударили по голове, и Катинка потеряла сознание.

Очнулась в своей постели. Голова болела. Что-то противное ощущала во рту, словно съела гнилое.

— Пи-и-ть...— прошептала.

Над ней согнулась уродливая надсмотрщица, слащаво-злым шепотом спросила:

— Так что, сестра, сладок наш отец Семеон? А? Хи-хи... Как тебе после него?

Катинка отвернулась и накрылась одеялом. Уродина не уходила, она шипела свои циничные, похабные слова, высасывая последнюю кровь из Катинки, которая бессильно стонала и кусала губы, пальцы.

Шли недели. Катинка пластом лежала в келье. Жизнь тянулась невыносимо тоскливо, без дневного света, без живых существ, без живой речи. Иногда слышала, как прошаркает кто-то мимо занавешенной коврами дыры в стене. Иногда придет запыхавшийся отец апостол на беседу о духе святом, удовлетворит свою похоть и оставит ее, еще раз оплеванную, истерзанную объятиями, поцелуями и щипками. Тогда хотелось... высунуть сквозь каменную стену голову к солнцу, к небу и завыть так, чтобы услышал бог, чтобы услышал отец Иннокентий, чтобы весь мир услышал ее тоску, ее бесконечное отчаяние, скопившиеся в сердце.

В такие минуты она прижималась к подушке, рвала ее, стонала, плакала, задыхаясь от беспомощности, бесприютности... И в такие минуты она отдала бы последнюю капельку крови, последний вздох своей намятой всякими руками груди, чтобы увидеть солнце, поцеловать василек, приласкать травку, глотнуть воздуха, чистого, пронизанного солнцем, которого не было у семи тысяч человек, упрятанных Иннокентием под землю, в «рай» что был создан в селе Липецком, Ананьевского уезда. И за это готова была еще сто, двести лет терпеть издевательства. Тоска и отчаяние подняли ее с постели. Тенью выскочила за дверь и боком, украдкой пошла, прижимаясь к стене. В коридоре не было нико-

го. Катинка наугад свернула за угол, еще раз, еще, еще... Бессчетное количество раз сворачивала, пока не остановилась в совершенно темном коридоре. Опять побежала что было силы в неизвестном направлении. Сердце стучало в груди. Катинка старалась остановить его, чтобы никто не услышал. И, видно, своевременно уняла сердце, потому что где-то близко услышала знакомый голос. Говорил отец Семеон с какой-то женщиной. Катинка прислушалась.

— Некуда уже принимать людей,— говорил отец Семеон.— Набилось, как вшей в кожух... Пройти негде, поместить некуда... Уже женщин с мужчинами сажаем, а все тесно.

— Так нужно что-то делать... Не гнать же их отсюда? Я уж думала, не послать ли нам хоть немного к нему на богомолье. Пусть бы вышли... пока вернутся назад — пристроим кельи.

— А это, мама, дело... Это дело. Пошлем... Сейчас зима, пока дойдут...

Катинка отступила назад и притаилась.

«Что они замышляют? Что собираются делать?»

Пошла снова каким-то коридором, уже не думая, куда именно. Потом, задыхаясь, устремилась к полоске света — дневного света, блеснувшего впереди. Прибежала к огромному отверстию и полной грудью вдохнула чистый зимний воздух. Остановилась, ослепленная резким сиянием снега.

Одно мгновение. Одно короткое мгновение, и Катинка выскочила из отверстия на широкий простор, прямо в поле, покрытое белым снежным ковром. Упала. От радости целовала снег, целовала воздух, пила волю, жадно, как жаждущий пьет воду в зной. Да, это был зной. Он истощил Катинку, отнял у нее румянец на щеках и налил их лимонным соком, лишил резвости, сковал тело болью. Катинка полежала минутку и быстро поднялась. Оглянулась вокруг и побежала прямо к воротам Синики.

Но в тот же момент чья-то сильная рука схватила ее за плечо и рванула назад. В голову впилось что-то острое, оно пронзило болью до самого сердца, и сознание Катинки помутилось. Падая, она напрягла последние силы, собрала остатки воли и рванулась вперед.

Рванулась и пронзительно вскрикнула. Вопль растаял в холодном воздухе, и Катинка рухнула к ногам здоровенного инока.

5

— Темно... темно мне... Дайте хоть немного света...

Что-то живое зашевелилось возле Катинки, засопело и простуженным голосом процедило с болью, мукой и злобой:

— Не вой... так лучше. Если увидишь, где ты, не захочешь никогда видеть свет...

Катинка поднялась и, шатаясь, пошла прямо. Перешагивая через чьи-то тела, на кого-то наступила, и тот завертелся, как побитая собака. Затем кого-то зацепила, и на нее посыпались проклятия. Дикие, ужасные, похабные проклятия. Остановилась на мгновение, закрыла уши руками и склонила голову. Кто-то влажными руками ощупывал ноги, кто-то схватил шершавой рукой ее за руку и провел по коже. Она брезгливо скривилась, выдернула руку и стала поднимать высоко ноги и ступать осторожно, чтобы не встать на кого-нибудь. Но снова проклятия посыпались на нее... Тогда Катинка просто побежала, уже не остерегаясь. Побежала и с разгона ударилась о холодную каменную стену. Чуть постояла и двинулась вдоль нее ощупью. Стена образовывала круг. Катинка поняла это и бессильно опустилась на пол, подогнув ноги. Исчезла последняя надежда, иссякли последние силы. Села и тихо, жалобно заплакала.

— Кто здесь? Чего скулишь над головой? Мало без тебя здесь слез?

Катинка повернулась в ту сторону.

— Темно мне... боюсь...

— Не бойся темноты... бойся света.

Катинка прижалась к стене и в немом отчаянии замерла. Даже слезы, неудержимо лившиеся из глаз, както сразу высохли. Только в груди пылал огонь и стучало в висках. Уже не было страшно. Страх исчез, оставив жуткую пустоту. Она сидела у стены и прислушивалась, как рядом с ней чей-то голос дико, бессмысленно повторял без конца одно и то же:

— Все равно... все равно... все равно...

Катинке казалось: кто-то влез ей в голову, как гвоздь, и настойчиво выталкивает ее мысли. Так сидела она, пока тот, кто шептал надсадливую фразу, не придвинулся вплотную к ней и не дохнул могильным смрадом прямо в лицо. Запах был такой резкий и нестерпимый, что Катинка невольно откинулась назад и поползла дальше вдоль стены. Но тут же наткнулась на чьи-то ноги, и охрипший голос загремел над самым ухом:

— Какой тут черт толчется? Это тебе не на улице.

И кто-то больно ударил ее ногой в грудь. Катинка упала и ударилась головой о каменный пол. И эта боль вернула ее к действительности. Она снова ощутила страх, задрожала всем телом и, подняв голову вверх, завыла, как животное. Дико, жутко, тоскливо... И голос как-то не летел вверх, а стелился по полу, клубился вокруг нее и, словно отскочив от чего-то назад, бил в уши, в голову, в грудь, разрывая их на куски.

Вдруг где-то ударил колокол. В одно мгновение вся яма осветилась, свет резанул глаза. Катинка зажмурилась, но и сквозь веки яркий свет щекотал зрачки, выжимал непроизвольные слезы. Сквозь их кисею проникали лучи света, и постепенно она привыкла к нему. И вдруг... свет перестал резать глаза. Катинка могла смотреть. Катинка уже смотрит. Катинка...

Но нет. Катинка больше не хочет видеть. Катинка немо, глухо прокляла радостный свет, открывший перед ней серые заплесневелые стены глубокой ямы, показавший все, что здесь копошилось, извивалось и корчилось.

В цементированной яме, саженей пять глубиной, находилось более ста человек. Они ползали по черному конусообразному полу. Кто сидел, кто лежал, кто перекатывался с боку на бок, поднимался и снова падал. Лиц не было. Какие-то уродливые черные заросшие морды или желтоватые маски, покрытые грязно-зеленой пылью. На тех жутких масках, как фосфорические огоньки, блестели точки безумных глаз, из которых навеки ушло сознание, уступив место испугу и отчаянию. Взлохмаченные волосы вздымались на головах, как пучки курая, снесенного ветром. Руки, шеи, лица многих были покрыты струпьями чесотки, экземы. Раны гноились. Один вытирал свою кровавую рану — нос, другой

обтирал сукровицу на губах или выхаркивал сгустки запекшейся крови. Кто корчился от боли, кто скулил от нестерпимого зуда или бился о пол головой. Дико выли, рычали и рвали на себе одежду, волосы, раздирали тело и кричали, кричали... Непрерывно, отчаянно, протяжно, произнося какие-то имена, отдельные слова: то ли мольбы, то ли проклятия, то ли горестные желания. Безумный взгляд Катинки блуждал по каменным стенам. И всюду — от темного свода вверху до черного грязного пола — видела она эти изуродованные фигуры, искалеченные, искромсанные тела — страшную, непостижимую картину отчаяния. Катинка все дальше и дальше отодвигалась от того места, откуда исходил свет фонаря, и, не мигая, смотрела.

Сверху в яму на веревке опустился большой котел горячей пищи, а за ним в мешке — хлеб. Голодные люди дико набросились на еду, и в одно мгновение вокруг котла поднялся крик, визг, гам. И только опустел котел, как снова зазвучал колокол, и яркий свет мигнув, потух.

Яма снова окуталась мраком, и Катинка обессиленно легла на пол. Так лежала она без дум, без мыслей, безразличная ко всему. Она почти не обращала внимания на то, что возле нее что-то сопело и кто-то начал лизать ее лицо. Катинка не пошевелилась и тогда, когда чьи-то сильные руки схватили ее и стали сжимать в объятиях. Она почувствовала, как по телу ее забегали чьи-то лапы и что-то треснуло в одежде. Она только прошептала:

— Пусти... Не тронь.

Но и этот шепот она, собственно, услышала как что-то далекое, что ее не касалось, хотя было бесконечно гадким и противным.

— Пусти... Не трогай меня.

Но в ответ услышала только дикое рычание.

Сколько издевались над Катинкой — она не знала. Как мертвая, лежала на холодном полу и почему-то считала свои годы. И чем больше считала,— когда родилась, когда и как прожила свою короткую жизнь,— тем больше удивлялась. Удивлялась, где взялось столько терпения, откуда появлялись силы, чтобы пройти... Многое не могла даже вспомнить. Да разве она теперь вспомнит все подробности своей жизни, всю боль и муки, которые

пришлось перенести, все раны, что ноют где-то глубоко. Эти раны жгут так, что боль застилает память... И об одно из всех этих воспоминаний будто споткнулась вдруг Катинка. Споткнулась, упала и больно ударилась лбом. И боль словно что-то открыла ей.

Ах, ведь это он. Он, сильный, прекрасный, освещенный сиянием святости. Это ж он, Иннокентий! Покой ее израненного сердца, утеха ее скорбным мыслям, надежда на счастливое будущее с маленьким ребенком, разительно похожим на него. Вот он протягивает свои розовенькие ручонки, ласково улыбается ей, хватает за шею, крепко обнимает, прижимается к ней, и, сложив розовые губки, тихо, ласково и утешительно говорит: «Мама, мамуся». Она отвечает на детскую ласку своей материнской, своей горячей любовью, нежно, как может только мать, и произносит: «Крошка моя». А вот и он. Весь в черном, высокий, стройный, полный силы и красоты, с магнетическими агатовыми глазами. Он садится рядом с ней на чистую белую постель, ласково смотрит на сына, нежно гладит ее голову.

Катинка чувствует, как что-то сжимает ей горло, щекочет грудь, как что-то теплое набегает на глаза, и она тихо-тихо плачет.

— Не плачь...— говорит он.— Не плачь...

Катинка поднимает голову, чтобы посмотреть ему в глаза, поцеловать родное лицо.

Черный мрак глянул Катинке прямо в глаза, заслонил милое видение. Она протянула руки, хотела поймать это видение, привлечь к себе, хоть на мгновение удержать. Но руки наткнулись на холодную скользкую стену. Она снова завыла. Глухо, протяжно, дрожащим пронзительным голосом, со скрытой, неосознанной тоской и отчаянием.

— Ты чего? Не тужи, не поможет... Ты лучше сделай, как я... Шестой день не ем и не буду. Четвертый месяц я уже здесь. Сто двадцать первый обед сегодня. А ты?

— Не знаю.

— А как здесь очутилась?

— Хотела удрать отсюда... Из подземелья.

— Дура. Удрать отсюда? Отсюда никто не удирает. Я вот не удирала... Сошел на меня дух святой, я... забеременела от отца Григория. Должна была пойти в

село рожать, но опоздала, родила здесь. Ребенка забрали, а меня — сюда. А недавно, еще одна, пятнадцатилетняя, родила...

Разговор оборвался. Женщина захрипела и сквозь хрип молвила:

— Слушай... Если выйдешь, возможно... посчастливится, пойди в Дубовку, возле Дубоссар...

Досказать не успела. Смерть сдавила горло, и она скончалась у Катинки на коленях. Катинка и к этому отнеслась безразлично. Уже не воспринимала ничего.

На следующий день сверху ее позвали. Но у нее уже не было сил откликнуться. Лежала, словно колода, с закрытыми глазами. Тогда вспыхнул яркий свет, и в колодец спустился пожилой инок. Освещая каждого фонарем, он громко звал:

— Катинка! Катинка!

Она молчала, сама себе улыбалась. Мысли блуждали. Инок наткнулся на нее и, приглядевшись, отпрянул. На него смотрели стеклянные глаза, полные ужаса, а искривленные, покрытые пеной губы шевелились в страшной усмешке. Инок подхватил ее, понес к веревке, привязал под мышки, себя — за руку и приказал тащить. Веревка натянулась, и они отделились от земли, но в этот момент несколько человек подскочили к ним и с диким криком ухватили за инока. Он с ужасом отбивался, а они цеплялись за одежду, за ноги... Инок изо всех сил крикнул вверх:

— Тяните! Спасайте!

Веревка натянулась и быстро пошла вверх. Но чересчур много человек повисло на ногах у инока. Рука хрустнула в плече, что-то обожгло грудь, и он полетел вниз. Рука пошла вверх с Катинкой. Дикий рев провожал Катинку, но она этого не слышала и не сознавала.

6

Брат Семеон, заместитель Иннокентия в «раю», позже всех узнал о бегстве Катинки и о ее заточении. Это известие разгневало его. Он бешено зарычал на мать Софию, докладывавшую о происшествии, и, не дослушав, сказал:

— Мама, ваш глупый бабий ум не должен вмеши-

ваться в такие дела. Прочь отсюда, сидите в своем стойле и носа не показывайте, не то будете там, куда посадили Катинку.

И он свирепо ударил кулаком по столу. Мать София не стала противоречить и, согнувшись, вышла. Семеон шагал по келье в глубокой задумчивости: заточение Катинки, ближайшей к особе Иннокентия мироносицы, в братскую могилу разрушало его план, так старательно составленный при переписке с Иннокентием. Он хищно сжимал кулаки и все кричал:

— Дураки же вы, дураки! Дураки, черт вас возьми!

И снова ходил, стараясь найти способ исправить положение, создавшееся по глупости матери.

Катинка, как самая близкая Иннокентию, пользовалась особым авторитетом среди женщин подземелья и в миру. И именно теперь, когда ее нужно было еще раз использовать, еще раз поставить ему на службу, ее загнали в эту страшную дыру, из которой или не возвращались совсем, или возвращались не в своем уме, ни на что не способными людьми. Семеон выглянул за дверь и громовым голосом гаркнул:

— Семена, Семена позови мне, старый боров!

Послушник бросился исполнять приказ. Брат Семеон нетерпеливо ждал Семена Бостанику. Наконец тот пришел.

— Где был ты? Где была твоя глупая голова, кто разрешил бросить Катинку в эту яму? Мигом беги, вытащи и вези в больницу. Или постой, лучше вези ее в чей-нибудь дом в Липецкое и позови доктора. Слышишь? Умрет она — и тебе не жить.

Семен Бостанику побежал исполнять. Брат Семеон остался один, все ходил и проклинал ошибку апостольского суда, испортившего всю хитрую комбинацию. А комбинация была действительно непростая. В «рай» набилось много людей. Уже не только в подземелье не помещались, но и вокруг километра на три теснились подводы. Балтский исправник мог обратить внимание на «рай», заглянуть в погреб во дворе Мардаря и поинтересоваться, чем он живет, этот Гефсиманский сад. И кто знает, какой вывод сделал бы Станислав Эдуардович. Тем более, что сам Иннокентий отсутствует и не может бороться за обитель. К тому же Липецкое — в Ананьевском уезде, и балтский исправник мог осмелиться

пойти против Иннокентия и Амвросия. Серафим кишиневский тоже страшным призраком стоял перед «раем». Он мог кого-нибудь сюда подослать, сообщить в Петербург, получить оттуда разрешение на обыск и тогда... Сибирь. Тогда пожизненная каторга, всему конец. Эту перспективу ясно представлял брат Семеон, видевший, как вокруг обители толпился люд со всего края, как по сторонам то и дело шмыгали неизвестные монахи и куда-то исчезали.

А тут еще письма Иннокентия. Он писал, что освободить его из неволи может только народ, который придет к нему из Молдавии. И чем больше будет паломников из Бессарабии, тем ближе желанный конец неволи. Тогда он сможет возвратиться назад, снова повернуть все по-своему и не только увеличить доходы монастыря, а и приумножить то, что без него накопилось, но начало́ уже разваливаться. Отсутствие Иннокентия все явственней сказывалось на жизни обители. Постепенно спадала волна восхищения, уже слышалось недовольство в подземных владениях духа божьего. Вот-вот могло начаться всеобщее неповиновение. Тогда ничем не вернуть такой глубокой веры, такого преданного подчинения одному слову, одному взмаху руки брата Семеона. Тогда пропадет многолетний труд Иннокентия, сама по себе опустеет касса, уже ограбленная балтским исправником. Брат Семеон невольно вздрогнул, представив себе этот конец.

«Каторга. Вечная каторга».

Мысль бежала быстро. Нужно предотвратить опасность, и это может сделать только Катинка с матерью Софией. Она любимица женщин, бабы ее обожествляют. А с баб и нужно начинать. Мужчин труднее поднять. Мужики уже пить начали, гуляют по ночам, и Семеону приходится притворяться, что он не слышит, как по коридорам иногда разносится пьяная ругань. А прекратить это может только новая волна веры.

— Глупцы!

Семеон бешено, злобно сжимает кулаки.

— Дураки! Что натворили?!

Он и сам себе боялся признаться, что два дня пребывания в братской могиле могли серьезно повлиять на состояние Катинки и она может умереть. Умереть — это еще ничего. А что если она сейчас все расскажет ко-

му-нибудь из врагов? А если она поколебала в вере и тех, кто в яме, и поколеблет тех, кто наверху?

Ему стало очевидно, что «рай» накануне смерти. Нужно действовать быстро, немедленно. Нужно любой ценой спасти Катинку и от смерти, и от неверия. Нужно вернуть ее снова в обитель, расшевелить народ, поднять его и повести на освобождение Иннокентия. А потом, когда паломники уже выйдут, станет легче: в кельях поселятся новички, которых можно заставить подчиняться, а всех старых — выловить. Тогда наверняка можно будет покончить с пьянством, руганью, навести порядок.

Не дождавшись Бостанику, брат Семеон стремглав побежал к братской могиле. Навстречу ему шли монахи, кланялись, но он их не замечал. Он спешил собственными глазами увидеть, что не все потеряно. Хотел убедиться, что можно еще ухватиться хотя бы за последнюю ниточку, связывающую Катинку с жизнью, и вырвать ее из рук смерти. Зубами грызть смерть, свою голову подставить под ее острую косу, а вырвать. О, он вырвет! Он не отдаст, не отдаст ее. Он еще не хочет в Сибирь, не хочет...

Брат Семеон бежал. Полы его рясы развевались, он спотыкался, прыгал через несколько ступенек. И вот, наконец...

Но что это? Она лежит? Над ней склонились Бостанику и Ефим? А Кирилл? Зачем он заглядывает в яму? Неужели поздно?

Ужас охватил брата Семеона. Сделав последний прыжок, он склонился над Катинкой.

— Жива? Жива?

— Жива. Только в очень тяжелом состоянии. Кто знает, выживет ли,— ответил Семен Бостанику.

— К лекарю! Живо! Мигом!

Пара лошадей понесла Катинку к врачу в Липецкое. Никому не доверил, сам привез земского врача. Врач осмотрел помешанную.

— Покой ей нужен,— хмуро сказал врач.— Выйдите все, оставьте меня с ней.

— Господин доктор, очень прошу, сделайте все, чтобы она жила. Я не поскуплюсь.

Лекарь насупился.

— Выйдите. Я не монах, выйдите.

Брат Семеон вышел. Приказав Семену Бостанику и Ефиму не отходить от дома, он сел на лошадей и помчался снова в «рай», чтобы отвлечь внимание жителей подземелья от этого происшествия и направить его в другое русло — на подготовку к походу в неведомые края, к Иннокентию. И как можно быстрее, пока еще святость апостольского суда не вызвала ненависти, пока не разбушевалось море, начинающее уже шуметь.

Семеон прискакал в «рай» и мигом переоблачился. Приоткрыл окно, выглянул, не подсматривает ли кто, и, откинув на полу ковер, открыл деревянный люк с железными кольцами. Постоял мгновение и шмыгнул в отверстие, прикрыв за собой люк, который вел в подземную церковь.

Колокол набатом загудел под землей. Словно муравейник, зашевелился в кельях народ. Раяне недоуменно спрашивали друг друга, что это могло случиться? Почему так внезапно загудел колокол? Ведь сегодня не праздник. И, заинтересованные, двинулись в подземную церковь. За какие-нибудь четверть часа церковь наполнилась людьми. А колокол все гудел и гудел...

Звон вдруг утих. Из алтаря вышел облаченный брат Семеон. Толпа окаменела от удивления. Никто не видел, чтобы он входил. А вход ведь один.

— Братья и сестры! Не удивляйтесь моему появлению среди вас, как и этому звону. Сила отца Иннокентия всегда нерушима. Это он звонил, он вас звал сюда.

Богомольцы стали на колени и запели величальную в честь Иннокентия. Потом брат Семеон обратился к ним со словами:

— Братья и сестры! Отец Иннокентий приходил ко мне, когда я отдыхал. Он велел низко кланяться вам и напомнить, что дух нечистый насел на него, каверзы дьявольские обессиливают его, но он крепко стоит за веру нашу святую. Бьется один на один с дьявольским духом, и нет ему в том помощи никакой, нет дружественной руки, нет верного сердца. О горе нам, горе! Горе нам, братья мои, без него. Везде неправда и зло. Они уже и сюда пробираются, и дух нечистый одолевает его ближайшую мироносицу Катинку. Бросил ее кто-то в глубокую яму. Но не убилась она, не покорилась темному духу. Она жива и сейчас с ним, с духом святым, с Иннокентием беседует. Скоро придет сюда к вам, пе-

редаст волю его. Молитесь, молитесь и подумайте о том, как помочь святому Иннокентию одолеть духа злого.

Толпа набожно слушала эти вещие слова.

— Послать, послать к нему!

— Пойдем к нему. Будем терпеть муки вместе с ним!

— Все пойдем или найдутся среди нас и собаки неверные, которые отвернутся от него в минуту мук его крестных? Или отыщутся и такие, что откажутся пострадать за имя его святое и не пойдут на страдания за правду! — гремел голос Семеона.

Церковь загудела. К алтарю двинулись самые верные дети Иннокентия. Вопли истериков, эпилептиков наполнили воздух неистовыми звуками.

— Все пойдем! Все пойдем! Только ты не уходи от нас, не покидай нас, как покинул отец Иннокентий.

Вперед вышел важный седой дед Михайло Триколь:

— Братья, я пойду с вами. Я поведу вас к нему. Хоть и на край света, хоть и за море, только посмотрим на него, потрогаем святую одежду. Мне девяносто два года, но я пойду с вами.

— Пойдем! Пойдем!

И вдруг толпа расступилась. Взлохмаченная Катинка, тихо ступая, шла к алтарю, глядя потускневшими глазами перед собой.

— Пойдем! — крикнула она.

Все умолкли. Катинка обвела богомольцев отсутствующим взглядом, подошла к ближайшему иноку, стоявшему перед алтарем. Губы ее неслышно что-то шептали, глаза пылали.

Брат Семеон искал глазами Бостанику, который только и мог объяснить, как попала сюда больная Катинка. Но Бостаники не было, а перед испуганным Семеоном стояла страшная Катинка с безумным взглядом.

Брат Семеон решил не тянуть дела с отправкой делегации к Иннокентию, чтобы скорее избавиться от этого ужаса.

— Так как, братья и сестры? Какова будет воля ваша? Что передать отцу Иннокентию? Пойдете ли вы на муки крестные за его имя святое?

— Пойдем! Пойдем!

Катинка встрепенулась. Напоминание об Иннокен-

тии чуть прояснило сознание. Из недавнего мрака выплыло одно какое-то желание. Желание неясное, туманное, но настойчивое, болезненное. Высказать его Катинка еще не сумела бы, не смогла бы подобрать ему название. Но она уяснила своим затуманенным разумом одно: она не сможет не сделать того, что вымучила своим сердцем.

— Пойдем! Пойдем! Я поведу вас, куда и птица не сможет залететь. Я понесу вас и через горы, и через моря... Я достану его со дна моря, с высоты небес. Пойдем. Я найду его...

Его? Какое странное слово. Странное и непонятное. Оно только бередит какую-то незаживающую рану в сердце Катинки. Оно больно пронизывает затылок.

Катинка смущенно улыбается. Улыбается так, что передние в ужасе отступают от нее, а те, что стояли с улыбкой на устах, — бледнеют, становятся печальными, а у кого слезы на глазах были — рыдают. Ее глаза... Смерть не взяла Катинку, испугавшись ее нечеловеческих глаз.

Но нет! У Катинки нет больше глаз. Это только два уголька, они жгут ей веки, не дают им сомкнуться.

— Пойдем! Пойдем, братья и сестры. Мы выпросим милости, вымолим себе рай. — Она повысила немного голос: — Я спрошу его и за вас, и за себя... Спрошу, как жить должны, если уж и слез нет, если они не льются больше из глаз, если горе уже некуда девать.

— Пойдем! Пойдем! — гудела церковь.

Толпа зашевелилась и двинулась к выходу. Катинка впереди. Она высоко держит голову, а глаза устремлены вперед.

И только вышла из церкви толпа, как брат Семеон разделся и бросился через тайный ход наверх предупредить мать Софию о выходе. Не успел он созвать поводырей, как из узких отверстий пещер полезли, словно муравьи, страшные, истощенные люди. Те, кто спасался в липецком «раю», выглядели жутко при дневном свете. Лица желтые, восковые или словно покрытые зеленой кожурой, сквозь которую выпирали челюсти, синие жилы. Одежда оборванная, грязная. Воспаленные глаза блестели. Больные — туберкулезники, ревматики, чесоточные, сифилитики — переступали с ноги на ногу

на жестоком холоде, кашляли, плевали черным перегаром свечной копоти или красно-черными сгустками запекшейся крови. После подвального смрада чистый морозный воздух пьянил людей, они захлебывались.

Ждали благословения. Брат Семеон не торопился. Он не видел Катинку, которая должна возглавить поход женщин, а ведь без нее не обойтись. Охладеют женщины без живого примера.

Но вот и она. Измученная, бледная, как тень. Казалось, кости, обтянутые желто-зеленой кожей, вот-вот рассыплются.

«Не дойдет,— мелькнуло в голове брата Семеона.— А впрочем, пусть, лишь бы вышла».

Катинка что-то сказала женщинам. Те стали подходить к ней, перешептываться. А потом начали строиться по четыре в ряд, перебросили узелки за спины и на минуту умолкли. Перед ними стояла Катинка. Глаза пылали. Уста были сомкнуты. Подняла руку. Выкрикнула что-то, и... первая шеренга женщин двинулась в путь, не дождавшись благословения. За ней — вторая, третья, четвертая... За женщинами — мужчины, на ходу пристраиваясь к колонне.

Холодный северный ветер резко дул им навстречу. Он колол, жег лица, забирался под старые кожушки, под рваные армяки, до боли сковывал тела холодными обручами, толкал назад, угрожал смертью... Но, движимые слепой, фанатичной верой, они шли, не останавливаясь. Ноги глубоко погружались в сугробы жалобно поскрипывавшего снега. Катинка, легко одетая, как и все, шла во главе колонны все быстрее и быстрее.

Перепуганный брат Семеон выскочил во двор, чтобы остановить, наказать тех, кто осмелился нарушить волю его. Но сдержался. Он понял, что такого движения обезумевшей толпы не остановит никакая сила. Чтобы скрыть свою растерянность, он снова вернулся в дом, взял святую воду и стал ею кропить им вслед. А полубосый и полураздетый ослепленный людской поток, не обращая на него внимания, двигался мимо. Словно гигантский черный уж простерся по дороге к Бирзуле. Навстречу дул бешеный ветер, мел снег в глаза, выл жуткую песню погибели. Он свистел, гудел, играя растрепанными головами, слепил глаза холодным снегом и тоскливо выл, издевался над обманутыми людьми. А уж,

черный, широкоспинный, состязаясь с ветром, полз вперед.

Зима 1912 года вошла в историю «рая» как первый выход на смерть двух тысяч богомольцев во имя лживого бога и его представителя на земле молдавской — отца Иннокентия балтского.

Брат Семеон долго стоял, глядя на толпу, долго машинально кропил ее след. Не заметил, как из рук выпали ведерко с водой и кропило. Не мог освободиться от ужаса и тревожного вопроса.

«Что же это будет? Поможет ли? Вырвут ли они Иннокентия из цепких лап святейшего синода или погибнут в снежных полях севера? А если победит отец Серафим кишиневский? Тогда Сибирь... Каторга. За всех этих замученных».

Страшно ему.

В пещерах стало свободнее. В темных коридорах гостеприимно открылись кельи для новых овец «стада Христова».

7

Вот уже два года, как вернулась улыбка на уста Василия Синики. Второй год, как в доме слышна веселая речь, приходят гости да и сам он перестал смотреть волком. Даже те, кто никогда не думал бывать у него, приглашались отведать хлеба-соли и вина, выдержанного в погребе. Будто переродился человек. Радость пришла неожиданно, словно заблудившийся ребенок вернулся.

И большая радость. Домаха, побывав в монастыре, как-то объявила Василию, сияя от счастья:

— Слышишь, Василек, я... беременна.

Василий грустно посмотрел ей в глаза и вышел из дома. Долго сидел под ригой, а потом вошел и сказал:

— Дома... я, знаешь, не очень верю попам. Но тут... сходи помолись, может живой будет.

Домаха молилась. Усердно молилась в Липецкой церкви. К самой земле припадала лбом и все умоляла, чтобы рос, чтобы утешил исстрадавшееся сердце Василия. Не переставала молиться до самого того дня, когда стало под вечер плохо. Молилась, когда и в кровать с криком ложилась. А под утро, улыбаясь счастливой улыбкой матери, позвала Василия к себе:

— Сын у нас.

— Живой? — тревожно спросил Василий.

— Живой. Здоровенький, не сглазить бы. И полненький такой...

— А будет жить? — забеспокоился Василий.

— Бог даст... Молиться за него нужно. Верить.

Синика замер от счастья. С любовью поцеловал жену, мигом запряг лошадей в телегу и помчался в Липецкое за кумовьями. И только влетел в село, как увидел старую бабу, нищенку Ониську, которую не раз прогонял со двора. Остановил лошадей, соскочил с телеги и упал на колени перед ней. Протянул умоляющие руки, просил не отказать быть кумой. Только тогда поднялся, когда бабка села на телегу. Синика поехал искать кума*.

Сегодня ему везло. Еще лошади и не разбежались, как встретил поповича, важного панынча, заносчивого и гордого студента из университета святого князя Владимира. Спрыгнул с телеги Синика и подбежал к нему. Стал перед ним, весь дрожа.

— Очень прошу простить меня, уважаемый панычек, золотой мой соседушка. Мы с вашим батюшкой, отцом Милентием, приятели... так не откажите.

Студент сначала даже не понял, о чем речь. Но разобравшись, не посмел отказать, дабы отцу не доставить неприятностей. Посадил его Василий Синика в телегу и вихрем полетел домой. Через ямы и канавы прыгала телега, храпели кони, несущиеся со всех ног.

А Синика еще и кнутом подстегивал то одного коня, то второго, чтобы летели проворнее.

«Эгей, буланые, несите быстрее! Несите радость в мой дом! Где-то было заблудилась она, бросила меня. Да вот, видите! Нашлась, вернулась ко мне. Так несите ж, лошадки мои, чтоб не удрала снова, чтоб не искать ее в степи, не сохнуть по ней! Эгей! Несите, кони! Несите счастье в мой дом!» — пело все существо Синики, когда он стегал лошадей, правя ими от Липецкого до своего хутора.

— Емелька, выпрягай этих и запрягай других. Да побыстрее мне, не копайся! — крикнул Синика, не въезжая даже во двор.

* У религиозных людей раньше существовало поверье; чтобы ребенок остался жив, брать в кумовья первых встречных людей.

Емельян перепряг лошадей, а Синика влетел запыхавшись в дом и стал на колени перед роженицей.

— Дома, Домочка... Дай кумовьям ребенка... крестить будем... кумов на дороге взял. Пусть живет здоровым да веселым.

И нежно-нежно поцеловал Домаху. Так нежно, как никогда ее не целовал, и обнял ласково, и тихо гладил голову, и заглядывал в глаза. И руки ее брал в свои, и глаза целовал, и к ногам ее припадал.

— Дома, будет жить?.. Жить будет он?.. Наш сын, наш ребенок?

Пел, радовался Синика своему счастью, Домаху тоже захватила его радость. Даже сама одела ребенка к приходу попа.

Крестины были пышные. Больше сотни людей насобирал Синика на всех улицах и в переулках. Целую неделю гуляли. Вино, водка лились бочками. Шесть кухарок едва справлялись с приготовлением закусок. Старой Ониське счастливый Синика пятьдесят рублей на дорогой платок подарил.

— Носите, кума, на здоровье и к нам наведывайтесь. Мы же теперь не чужие. Крестника проведывайте. А может быть, и воспитывать его станете, чтобы счастливым рос на руках своей крестной.

А когда разошлись гости,— вот тогда-то насладился своей радостью отец Синика! Глаз не спускал с сына, все присматривался к нему.

— Ты только смотри, какой носик у него. Длинный и прямой, вроде и не твой, а кого-то другого. Эй, эй, сынок, не одолжил ли ты носик?

И так изо дня в день. За каждым движением своего единственного сына следил, к каждому звуку прислушивался. Не давал и пылинке упасть. Даже осунулся и работу забросил.

Через полгода Василий стал хмурым. Посидит возле люльки, посмотрит, посмотрит и отойдет, тяжело вздохнув. А Домаха вроде и не видит. Что-то обдумывает ее царь-голова Василий. Наверное, для сына все мудрит. На десятки лет вперед загадывает. Верно, о судьбе маленького беспокоится. И в мыслях не было, что ее царь-голова от иного сохнет, что сердце Василия точат сомнения и подозрение, что мучается он, видя чужое лицо в люльке. Походит-походит — и снова

к сыну. Станет, словно окаменевший, и смотрит пристально-пристально, будто что-то припоминает.

Синика припоминал. Все думал, на кого очень похож этот младенец. Вот так, как посмотришь прямо,— вроде и маленькое личико Домахи выглядывает, а как повернется в люльке, ляжет бочком, поднимет головку немного выше — чужое лицо. Чужое, но знакомое Василию. Где-то он видел это продолговатое лицо, эти черные угольки глаз, этот прямой, не вздернутый нос. Но где? Где?

И вдруг словно споткнулся Василий.

«Ай-я! Что же это такое? Неужели это правда?»

Вновь присматривался к личику своего единственного сына, искал сходства с тем образом, который всплывал в памяти.

— Он...— леденея, простонал Василий.— Он! — Страшная догадка обожгла мозг. Она разрушила окончательно уже и без того омраченную радость.

Синика ощутил мрачную опустошенность, холодную безнадежность и тоскливое отчаяние.

Сон ушел от него вслед за радостью. Он словно умер и сам у себя на похоронах был, провожал себя в могилу. Всё смотрел на Павлика, но уже так, как смотрят на дорогого покойника, которого вот сейчас должны вынести из хаты и захоронить от глаз навсегда. Уже не радовался его чарующей улыбке, она жгла его, разрывала сердце, сверлила мозг, выматывала из него жилы и выцеживала по капле кровь. Синике казалось, будто его душа и каждый кусочек его тела истекают кровью.

Домаха заметила перемену и что-то припомнила. Припомнила — и тоже замолчала. Все по хозяйству возилась. Уж и не подходила к Павлику, когда возле него был отец. А только наблюдала за ним, тайком утирая слезы. Иногда хотелось упасть и прижаться лицом к крепким и стройным ногам Василия, выплакать то, что жаром опалило ее тело, горячей смолой налило сердце. Но не могла пошевелить языком, слова не клеились, застревали в самом горле, оставались на кончике языка. Даже не готовилась к неизбежному разговору, ибо знала, что не хватит сил соврать, не выдержит мужниного горя, знала и понимала, что ложь только сильнее ранит его сердце, полное любви к ней

и младенцу. Ждала неумолимого, страшного вопроса.

— Чей сын? — вдруг взорвался он.

Домаха отвернулась... Вопрос этот словно камнем упал в пустое дупло вербы, глухо ударившись о гниль.

— Чей сын? — повторил он холодно.

Домаха молчала. Василий присел рядом с ней и еще тише, со скрипом в голосе прошептал:

— Говори же, женушка милая, чей он?

— Может быть, ты поспал бы, Василий, а завтра...— неизвестно для чего сказала Домаха.

— Нет! Мои глаза больше не могут спать. Кто-то украл у меня сон вместе с моим сыном... Слышишь? Я не могу спать. Кто-то взял мой сон и унес его куда-то далеко-далеко и там бросил посреди дороги... Бросил и плюнул на него. И он сидит теперь у чужой дороги и скулит... О-о-о! То не сон скулит. То мой сын, моя кровь скулит там... Э... нет, нет! Не мой, не мой!.. Не мой!..

И он заплакал. Тоскливо-тоскливо, сиротливо заплакал. Но вдруг умолк и повернул свое бледное лицо к Домахе. Его глаза сверкнули.

— Говори же, шлюха, чей сын? С кем ты его приспала на моей постели?

Молчала, словно ее не было в хате, словно она вышла куда-то и издали пугливо слушала, как ее любимый Василек, который до сих пор грубого слова ей не сказал, бросил страшное, оскорбительное — «шлюха»!..

— Ну говори же, говори, женушка моя, кто был здесь? Кто переночевал так сладко в моей постели с моей милой женой?

— Василий...

— Знаю!.. Знаю, чей он. Знаю, моя хорошая, знаю... Но нет! Я ничего не знаю. Скажи ты, скажи, чей сын? Хочу от тебя услышать...

— Василий... Слушай...

— Не мой? Не мой? А?

Домаха упала на колени и дико завизжала.

— Василий, прости. Прости меня, Василий, я не...

Тяжелый кулак Синики прервал визг. Домаха свалилась на пол. Василий, как зверь, бросился на нее, сел на грудь и методично, вдумчиво стал бить. По голове, по груди, по рукам... Он чувствовал, как что-то

дико рычало у него внутри, скулило, и он все сильнее бил кулаком. Бил с ощущением сладостного удовлетворения.

Домаха от острой боли пришла в сознание и снова завизжала, извиваясь под тяжелым телом мужа. Василий опомнился и словно впервые увидел своего врага, залитого кровью. Тогда бросил и, тяжело дыша, пошел из хаты. Уже у выхода остановился и оглянулся. Что-то шевельнулось в сердце, и он, сжав зубы, взял ведро воды и облил ее. Она открыла глаза, будто с того света глянула на него, и, не в состоянии громко сказать, зашептала прямо в лицо:

— Сын... не твой... Сын не твой, зверь... Ты же не можешь... быть отцом...

— Чей? Говори, а не то задушу.

— Души... сын не твой. Иннокен...

— Знаю-у-у! Я догадался. Молчи...

— Сын не твой...— замирая, шептала она.— Иннокентий отец...

Этого он уже не слышал. Вышел из хаты и направился в ригу. Хотел остыть немного. Спросить ночь темную, что делать, если так внезапно у него похитили и счастье, и радость.

Буланый жеребец, буйный и злой, почуяв хозяина, заржал. Он никому не давался в руки, никто не мог его вывести из конюшни, запречь. Только Василию подчинялся. Ржание коня навело Синику на мысль. Страшную, отвратительную, но сладостно-приятную мысль.

И, уже не раздумывая, не останавливаясь, Василий подошел к конюшне, открыл ее, вошел и стал спокойно отвязывать буланого. Отвязывал и гладил его шею, обнимал и лил слезы на буйную заплетенную гриву коня. Отвязал, быстро выбежал из конюшни, прикрыв за собой дверь. А затем подошел к хате и на цыпочках вошел в горницу, где лежала Домаха. Стал над ней, бросил прощальный взгляд, быстро нагнулся и взял ее на руки. Вынес во двор, поставил возле телеги так, чтобы не упала, и оглянулся. Кругом было тихо. Пошел в конюшню.

Домаха стояла неподвижно. Она не слышала ничего. Кровь лилась на землю, в голове гудело, перед

глазами плыли красные круги. И где-то урывками проносилась мысль:

«Хоть бы Павлик не плакал...»

А Синика тем временем готовил месть. Он взял палку и бил ею буланого по бокам. Конь метался, щелкал зубами, ржал и злился, удивленный странным поведением хозяина. Он то вставал на дыбы, то бил задом, то налетал на прикрытую дверь и ударялся головой о нее... А когда пена покрыла его, когда глаза стали гореть, как два больших угля, Синика открыл дверь.

Буланый выскочил из конюшни, повел ноздрями и молнией полетел на врага, так неосторожно остановившегося возле телеги. Налетел и... ударил изо всех сил грудью. Враг застонал и свалился. Упал, слабым голосом выкрикнул последнее:

— Павлик... дитя мое...

Буланый не слышал этого. Разъяренный, второй раз налетел и передними копытами раздавил голову с длинными растрепанными косами...

На похоронах было почти все село. Старухи плакали и причитали, а Василий стоял в стороне под стеной и смотрел на то, что осталось от красавицы Домахи. Она лежала на столе, завернутая в рядно и зашитая, словно какой-то сверток. Так и в гроб положили. Иначе нельзя было: всю побил и раздавил ее буланый. Смотрел Василий и чувствовал себя как-то неуверенно. Ему не жаль было убитой жены, из-за нее не болело сердце. Нет, Василий все понимал и не волновался. Словно это не у него произошло, а где-то по соседству, просто какая-то неприятная мысль не давала покоя. Где-то глубоко в сердце, куда Василий не осмеливался заглянуть, что-то вертелось, словно неповоротливый жернов. Не жалость, не раскаяние, а глухое недовольство, глухой протест и сожаление о том, что у нее была только одна жизнь, одна короткая жизнь, и он, Василий, не смог отомстить как следует. И не только ей. О нет! Василий глубоко чувствовал — именно не понимал, а чувствовал,— что не он убил Домаху, не он толкнул ее под коня, а кто-то другой, что-то большее, чем он.

Но что? Что это такое, то бóльшее, что толкнуло ее на эту дорогу? Иннокентий? Да? Нет, он только кос-

венная причина... Откуда он сам, откуда возможность творить все это? Откуда такая благосклонность к нему высшего начальства, так терпеливо переносящего все его мошенничества? Откуда это все? Вот на минувшей неделе сельского батрака бросили в тюрьму за то, что он украл полмешка зерна, и еще били как! А разве это бо́льшее преступление, чем всё, что творит Иннокентий. Ведь только в эту нынешнюю зиму две тысячи человек, по́лураздетых, полубосых, пошли навстречу смерти.

Нет. Сам Иннокентий не справился бы. Ему давно скрутили бы рога, и теперь моя Домаха не лежала бы на столе, зашитая в рядно. Нет, это не один Иннокентий. Но что же тогда? Бог? Церковь?

Беспомощно ломал руки и сжимал ими голову.

Когда пришел поп, Василий передал хозяйские дела Емельке, велел всем распорядиться, а сам позвал Варьку, что была при Домахе.

— Вот что, Варька... не умела за живой присмотреть, за мертвой поухаживай. Я не смогу видеть, как будут выносить из хаты. Не выдержу, сам в могилу лягу... Пойду пройдусь,— хмуро сказал ей.

— И куда это, когда вашу жену в последний путь провожают?— всхлипывая, спрашивала Варька.

— Не могу... Жжет у меня вот здесь,— показал он на грудь.— Не спрашивай меня лучше, нужно было... спрашивать тогда ее...

Выскочил из хаты, сел на тачанку и уехал. Уехал, чтобы не видеть попа, чтобы не слышать его взываний к богу, к которому у Василия появилась такая лютая, непримиримая ненависть.

Уехал Синика и целый месяц где-то блуждал. Вернулся домой пешком, ободранный, худой, как с креста снятый. Так допекло человека, что не брился, не стригся и, наверное, не мылся целый месяц. Зарос весь, борода поседела. Вошел в хату, сел и уставился в одну точку. Только тяжело-тяжело вздыхал. Но будто веселее стал. Что-то новое в глазах появилось, какое-то решение. Твердое, непреклонное. Около часа сидел так, потом встал, потянулся, будто пробудился от тяжелого сна. Как-то странно вел себя. Варька стояла и из-за двери наблюдала. Боялась, что пить начнет. Но нет. Ничего, видно, плохого в мыслях у него

не было, даже улыбнулся. Это Варька сама видела. Улыбнулся и попросил:

— Варька, дай-ка мне чего-нибудь поесть. Или ты уже отвыкла подавать хозяину? А?

— И-и-и! Чего там. Каждый вечер стояла еда на столе. Каждый день ждала вас...— ответила Варька. А про себя подумала: «Видно, прошло, раз есть захотел. Слава тебе, царица небесная, вернулся на путь человек».

Принесла ему поесть, сама стала у печки и смотрела на него. Слезы непроизвольно катились из глаз: таким жалким он выглядел.

— Вы бы, хозяин, хоть умылись. Хозяйка, наверно, так не пустила бы вас, будь она жива, царство ей небесное...

Вскочил, как змеей ужаленный. Хриплым голосом заговорил:

— Варька... никогда, слышишь, никогда твой язык не должен произносить ее имени. Слышишь? Ни во сне, ни наяву чтобы ты о ней не напоминала. Так и Емельке скажи и всем, кто будет приходить, скажи, всем скажи... Слышишь?

И он так страшно посмотрел на нее, что она даже отпрянула.

— А мальчишку воспитывай, как своего. Больше ничего не делай, только смотри за ним...

И снова сел за стол. Но погодя все же отправился мыться да и замешкался. Пришел уже побритый, вымытый, переодетый. Словно другой человек.

— Ну, а теперь кушать и хозяйничать,— почти весело сказал Варьке.

И с этого времени в усадьбе все пошло по-старому.

Хозяин стал обо всем заботиться: велел побелить хату, кровать перенести в другую комнату. А еще через месяц по вечерам начал отлучаться из хутора. Домой возвращался поздно. Был веселый, напевал себе под нос. Но к ребенку даже не заглядывал, не спрашивал о нем. Бывало, и смотрит на мальчика, а не спросит, как спал, ел...

Прошло еще два месяца. Синика совсем окреп. Такой проворный, веселый и разговорчивый, будто жениться собрался. А однажды приехал домой, разбудил Варвару и приказал ей готовиться к свадьбе.

— Молодую, Варька, приведу в хату. Хватит бобылем жить, а то все хозяйство развалится.

— А почему бы и нет. Разве уж531 вековать вдовцом. Пусть бог помогает,— искренне сказала Варька.

Каждый вечер Василий запрягал лошадей и уезжал. Ехал прямо в степь, прочь от своего двора, который до сих пор казался ему пустынным. А там, вдали от своего хутора, останавливал лошадей, спутывал их и отпускал пастись. Сам же ляжет на телегу, уставится взглядом в небо и следит, как легко передвигаются облака. Слушает, как поет, шумит степь. Лежит и думает, наслаждается ароматом степи.

Здесь он обдумывал все, что намерен был осуществить. С одной степью делился. Она не обманет и не скажет никому. Думал и одну думу к другой складывал, как складывает хороший хозяин снопы. И надумал, окончательно решил. Легко стало Синике. Легко и радостно. Не будет он больше под открытым степным небом ломать себе голову такой загадочной ночью, когда вокруг нет никого и только кукуруза шумит или пшеница волнуется. А решив, вздохнул облегченно и поехал домой.

— Ну, Варька, в воскресенье венчаюсь. Готовь все, что нужно к венцу. Да заодно готовься переезжать на новое хозяйство. Жить на хуторе не будем, я только буду сюда наведываться, пока Герасим не купит. В село поедем.

Варька недоуменно смотрела на него.

— Воля ваша, но только не советовала бы я вам в приймаки идти. Барбос в приймаки ходил да хвоста лишился.

— Думаю, хватит у меня и своего добра, чтобы у жены приймаком не быть.

— Ну, если так, то и бог в помощь!

Переехали в новый дом. Хозяйничал Синика, как никто в селе. Новая жена Ульяна любила работящего мужа. Она была вдова, бездетная, ей очень хотелось иметь ребенка — на утешение и радость, но Василий отговаривал ее. Он утверждал, что, бывая в городах, узнал такое средство, которое позволяет не иметь детей. Это средство стоит больших денег.

— Подожди еще немного,— говорил Василий,— вот хозяйство поднимем, тогда и... детей будешь иметь.

Полгода — небольшой срок. Ульяна и не заметила, как привыкла к своему второму мужу, словно к старому, с которым прожила семь лет. Да и Василий уже освоился в новом хозяйстве. Так все поставил, что иной и за три года такого бы не сделал. А все мало было. Все старался и старался...

— И другим детям чтобы хватило, и моему было...

Эта жадность толкала его на испытанную уже дорогу. Он опять продавал то лошадей, то коров в Балте или Бирзуле. Скупал в одном месте — в другое вез продавать. Деньги, как и раньше, складывал в банк. И то не на свое имя, а на Ульяну и на сына Павлика. Но торговля не пошла впрок. Уехал однажды далеко, в другой уезд,— и не вернулся. Ждала Ульяна неделю, две, месяц — нет. Только через полтора месяца обратилась в полицию. Но ничего не узнала.

Ульяна плакала день и ночь. А потом слез больше не стало. Опять одной пришлось хозяйничать.

И вот как-то позвали ее в волостное управление. Побежала опрометью.

— Не везет вам, Ульяна,— сказал старшина.— Погиб в Вознесенске муж ваш. Вот одежда его прибыла и деньги... Неизвестно где делся. И еще здесь письмо какое-то.

И он дал писарю прочесть это письмо. То было извещение банка о вкладе двух больших сумм на ее имя и на имя сына Синики — Павла.

Ульяна поднялась и вышла, не проронив ни слова. Будто очень замерзла, даже языком не могла пошевелить. Пришла домой и упала на кровать. До самого утра не поднималась. Только утром обняла чужого сына и дала волю слезам.

— Сыночек мой, деточка моя... Нет у меня своего, будешь ты мне сыном... а я стану смотреть за тобой, пока сил хватит...

Павлик обвил ручонками ее шею и заплакал. Старая Варька стояла у двери и тоже плакала.

8

Черно-серая дорожка тянулась по снежным просторам украинских степей, что гудели от морозов и выли от метелей. Пересекая Украину с юга на север, бого-

мольцы не знали отдыха. Только длинными зимними ночами, когда пурга валила с ног, захватывала дыхание и слепила глаза, останавливались на ночлег в каком-нибудь селе. Расползались по домам бедных крестьян, чтобы отогреться, восстановить истощенные силы. Уставшие женщины падали замертво, не уложив даже измученных детей. А утром снова вставали, кутались в тряпье и шли в заснеженную степь. Увязали в глубоких сугробах, падали, поднимались и снова падали, роняя из рук святые реликвии. Женщины с детьми на руках напрягали последние силы. Руки млели, заходились от холода, опускались сами собой, словно чужие. Ребенок падал в снег, жалобно ныл, цеплялся за ноги, плакал. Снова брали на руки и, спотыкаясь, плелись за длинным черным ужом, что вытянулся на целые версты. Горячий пот пропитывал насквозь одежду, в глазах темнело, мельтешило. И пока исчезала вдали последняя фигура, на том месте, где только что сидел человек, был уже снежный холмик. Он подмерзал, его снова заносило снегом, и высокий белый сугроб прятал навсегда непрощенного грешника.

Когда утихал ветер, крепчал мороз. Лютый, жестокий мороз севера. Он проникал сквозь кожушок, зипун, охватывал холодом грудь и сжимал ее сильным объятием. Слабые начинали кашлять кровью, часто останавливаясь на дороге. А отдышавшись, с трудом догоняли передних, присоединялись к толпе и шли дальше, едва передвигая ноги.

Версту за верстой, день за днем все дальше уходили от теплых пещер. Хотелось возвратиться назад, зарыться там в глубину черной влажной земли, навсегда отказаться от солнца, травы и воздуха, лишь бы не подставлять больше обмороженного тела этому нескончаемому холоду. Но лента двигалась дальше, дальше, дальше... Без остановок, без отдыха двигалась на север.

А за нею следом шел тиф. Сначала он тряс лихорадкой, дышал жаром из-за воротника, потом бил обухом по голове, валил кого-то из толпы. А черный уж двигался... двигался... Он становился короче, тоньше, от его боков отваливались омертвевшие частицы, но голова жила. Она продвигалась на север и тащила за собой жалкие остатки.

Катинка в дороге немного отошла. К ней снова вернулась память, голова стала светлой. Физическая усталость ослабила психическое расстройство, уменьшила боль. Тело наливалось силой, и ум прояснялся. Иногда Катинка оглядывала странников, внимательно всматривалась в обезображенные лица. Кое-кого она узнавала.

«Где мы? Куда идем?» — спрашивала себя Катинка.

С этими вопросами родилась мысль: стоит ли, нужно ли идти? С ужасом думала об этом страшном путешествии и все чаще присматривалась к черно-серому ужу, что полз за ней.

«Куда идем? К кому? Чего ищем?» — спрашивала себя.

«Правды? А где она? Говорят, у бога, а бог где? Где он? Почему не спасет вон ту маленькую девочку, что выскользнула из материнских рук, упала на снег и кричит, просит тепла, воды?»

И она уже не боялась этих вопросов. Все чаще задавала их себе. А когда они слишком донимали ее, обращалась к сестре Соломонии:

— Сестра, что же это будет? Что будет, если люди умирают? Видишь — они, как собаки, дохнут?

Соломония так же остро ощущала уместность этих вопросов. Но вместе с тем радовалась, что Катинка, любимая мироносица, которую истязали в яме, мучается и здесь. И эта радость заслоняла ей правду. Она резко и сурово отвечала:

— Молчи... Не тебе об этом думать. Об этом думает он, Иннокентий. Он рассудит, кому куда...

В тот же день состоялся совет. Герасим Мардарь и мать София решили разделить богомольцев на три группы: одна во главе с Семеном Бостанику пошла направо, в села; вторая с Катинкой — налево, а мать София и Соломония повели третью группу прямо. Договорились о месте встречи.

Опять потянулись долгие холодные и голодные дни. Разделенный на три части, уж потянулся тремя лентами. Снова падали люди. Шли без остановок, без отдыха, все дальше и дальше в холодную степь, в лес... на север. Меньше становилось тех, кто шел из Молдавии. Но присоединялись русские крестьяне, зараженные фанатизмом. Отряды росли. Становилось все больше желающих увидеть великого пророка. Днями, неделя-

ми полз черно-серый уж неизмеримыми просторами заснеженной Российской империи, стремясь к спасению от безрадостного бытия. Измученные люди закипали гневом к чему-то неизвестному. И гнев этот иногда прорывался в непочтительных вопросах к отцам-проводникам. Беспокойство охватывало обессилевших верующих. Нарастало, сильнее становилось недовольство, угрожая взрывом всеобщего бунта.

Святые отцы предупредили события. На двадцать второй день после разделения на группы Герасим остановил отряд Катинки. Разместили паломников по селам и ждали отряд Бостанику. Но появился становой с жандармским офицером и выгнал людей снова в поле, в лес, на снег. И отряд тронулся, гонимый христолюбивыми властями. Тогда Герасим, по предложению Катинки, решил взять вагоны, чтобы хоть как-нибудь доставить паломников в Муромск. Весть об этом всколыхнула и оживила толпу, прибавила сил. И уж свернул на столбовую дорогу в поисках железнодорожной колеи.

Катинка радовалась своей победе. Она бодрее шагала впереди отряда и то отбегала в сторону — узнать, нет ли недовольных или потерявших веру, то отставала, чтобы утешить отчаявшегося, склониться над умершим, то подхватывала ребенка и несла его некоторое время. Она горячо вмешивалась в ссоры богомольцев, вспыхивавшие всякий раз из-за лишней крошки хлеба или капли горячего, которое доставали в дороге.

Катинка подбадривала, уговаривала, умоляла дойти до железной дороги, а там...

На шестой день после совета старшин, когда все уже окончательно валились с ног, когда никто не верил, что дойдут до станции, на горизонте показалась высокая насыпь, над которой шпилями высились столбы.

— Друм де фер!* — единым вздохом вырвалось у толпы.

Этот крик словно электрическим током пронзил паломников. Стоголовый черный уж зашевелился быстрее, торопливее зашуршал по снегу, задышал чаще, порывистее. В глазах появилась надежда. И будто утихла

* Железная дорога (*молд.*)

боль в ногах, будто прошло все, что перенес стоногий уж в дороге.

— Друм де фер!

— Железка!

— Чугунка!

— Друм де фер!

— Быстрее!

— Скорее! — неслось со всех сторон.

Строй смешался. Каждый хотел как можно быстрее увидеть собственными глазами колею, которая положит конец невыносимым мукам холодного и голодного путешествия.

Толпа торопливо взбиралась на насыпь, садилась в изнеможении на рельсы, чтобы убедиться, что это не мираж, не обман, не привидение. Садились и любовно гладили блестящую стальную ленту, что приведет их прямо в обещанный рай, избавит от холода, голода, нужды, которые их преследовали на всем пути с юга на север империи. Кто плакал, кто смеялся. И ничто уже не могло сдвинуть с места этот караван. Ни холод, ни окрики святых отцов, ни близость теплого жилья. Толпа жила сейчас единственной радостью: двумя спасительными стальными лентами, что обещали конец трудной дороги.

Начальник станции, добродушный рыжебородый русак, к которому зашел Герасим с просьбой дать вагоны, от неожиданности вытаращил глаза. Он долго не мог понять, чего хочет от него это странное, лохматое существо, больше похожее на упыря, чем на человека.

— Не понимаю, — говорил он, — зачем ты ко мне пришел. Кто тебе сказал, что здесь есть вагоны? Какие вагоны? Для чего?

Герасим снова обьяснил, что на станцию пришло много людей из Бессарабии и эти люди обязательно должны добраться до Муромска. А вагоны нужны, чтобы отвезти всех этих людей туда, в рай.

— В какой рай? Что ты плетешь? В какой Муромск, если там и железной дороги нет?!

Герасим не слушал его. Он не верил этому. Упал на колени перед начальником станции, молитвенно сложил руки и поклонился ему до земли.

— Дай вагоны, домнуле. Дай, просим тебя именем самого бога.

Начальник станции плохо понимал, чего просит Герасим на своем смешанном молдавско-украинско-русском языке. Он вышел на перрон и остановился пораженный. Перед ним стояла толпа существ, очень мало похожих на людей. Изорванное тряпье висело на них лохмотьями, из рваных постолов вылезали грязные портянки, головы были покрыты мешками, щеки обморожены, руки и ноги стянуты красно-черной коркой, за плечами котомки. Они были страшны.

Толпа вдруг молитвенно воздела руки и завопила, кланяясь до самой земли. Начальник отступил назад и велел тому, кто знает русский язык, выйти и объяснить, чего они хотят. Вперед вышла Катинка. Она рассказала начальнику станции коротко, в чем заключается их просьба, и стала умолять дать вагоны, помочь людям доехать туда, куда они идут вот уже два месяца.

— Глупые ваши головы, — сочувственно покачал головой начальник. — Куда вас понесло, черт знает сколько верст отсюда до нужной вам дороги...

И он долго толковал ей, как и куда должны были они идти, чтобы ближе и дешевле доехать. И в конце концов с сожалением сказал:

— Вагонов у меня нет. На нашей станции их никогда не бывает, вас обманули. Идите на большую станцию, отсюда верст восемьдесят, там вам дадут вагоны.

Но его не слушали. В один голос толпа взревела:

— Нет, не пойдем! Здесь околеем, а с места не тронемся!

— Пан начальник, пожалей нас, дай вагоны, спаси нас!

Напрасно уговаривал начальник станции. Толпа упорно, тупо умоляла:

— Пан начальник, дай вагоны...

Измученные, уставшие люди уже переходили к глухим угрозам, к неистовому, отчаянному крику. Окружили начальника станции, прижали его, и он, задыхаясь от терпкого смрада, исходившего от этой массы лохмотьев, перепуганный насмерть, в конце концов обещал похлопотать. Толпа ввалилась в маленькое

здание вокзала. Стоило людям попасть на площадку, не занесенную снегом, почувствовать тепло, как они стали падать полумертвые и засыпать непробудным сном.

Начальник станции побежал к аппарату и послал телеграмму в жандармское управление. Вскоре на станцию прибыл специальный поезд с начальством. Оно приехало узнать, что это за люди и куда направляются. Жандармский полковник, стройный, высокий старичок с красными щеками, обошел станцию, осмотрел всех и велел позвать к себе старшего. Герасим пошел к полковнику.

Но их разговор мало что прояснил. Полковник понял только одно, что богомольцам куда-то нужно ехать, что они рвутся в Муромск, и велел немедленно же связаться с узловой станцией и требовать оттуда вагоны.

Наконец вагоны дали, и они с радостью разместились в них.

Катинка забралась в один из вагонов, выбрала место в самом дальнем углу и, устало свалившись на доски, сразу уснула. Сколько проспала, она не знала. Разбудили ее стоны и плач семидесяти человек, запертых в вагоне. За те несколько дней, что паломники провели на станции, они не успели разглядеть себя. А когда все волнения были позади и каждый увидел свое искалеченное тело, распаренное в душном, переполненном вагоне, когда отошли больные и обмороженные места, люди зашевелились. От грязных портянок, смоченных сукровицей ран, лохмотьев, что отрывали от обмороженных рук и щек, к потолку поднимался ядовитый смрад, который дурманил, вызывал тошноту. Тяжкие стоны, крики, плач превращали вагон в какую-то страшную камеру заключения.

У кого-то нашлась свеча, кто-то раздобыл спички. Свеча бледно замигала. Перед Катинкой развернулась страшная картина. Семьдесят человек, изнуренных тяжелой дорогой, болезнями, наполняли вагон.

Кто метался в предсмертной агонии, сваленный гангреной, кто кричал от болей, а иной раздирал тело отросшими ногтями и стонал, проклиная жизнь. Катинка накрыла голову мешком. Но перед глазами по-прежнему мелькали страшные, искаженные болью

лица, жуткие тела, корчившиеся в муках. В ушах звенели безнадежно тоскливые голоса. Катинка тяжко застонала, вскочила с нар и опрометью бросилась к дверям. Открыла их пошире и... выпрыгнула из вагона.

Но в то же мгновение чьи-то сильные руки схватили ее и бросили снова в вагон. Она больно ударилась головой и потеряла сознание.

— Кто здесь? — очнувшись, спросила она.

— Это я, Герасим... Ты чего бесишься? Куда ты?

— Отче, не могу больше... Не выдержу...

— Терпи. Отец Иннокентий оценит твои страдания. Там отдохнешь, у него.

Катинка смирилась, легла на свое место и уснула.

Утром на какой-то станции вагоны открыли, вынесли мертвецов. Их было сорок три. Почти вдвое больше обнаружила врачебная комиссия безнадежно больных.

Богомольцы высыпали из вагонов, направились к начальству просить разрешения ехать дальше. Начальство же наотрез отказалось пускать по колее эти коробки с заразой. Пришли жандармы, тупые, жестокие, выбросили паломников из вагонов и погнали их в медицинский карантин.

Тогда перед толпой появилась высокая фигура Герасима:

— Братья! Снова нечистая сила задерживает нас, не пускает к нашему спасителю Иннокентию. Не поддавайтесь на уговоры, а то вас покарает бог.

Останелая толпа дико взревела и бросилась на жандармов. Передний свалился с разбитой головой. Снова заработал телеграф. Мчались по проводам тревожные, путаные слова о сопротивлении богомольцев. И в ответ пришло распоряжение из Петербурга: «Препятствий не чинить. Религиозных стремлений возбранять нельзя. Пропустить молящихся к цели».

Катинка все меньше и меньше проявляла интереса к происходящему. Отупела. Смерть людей уже почти не доходила до сознания, и она безразлично смотрела на трупы, которые выносили из вагонов. И только на время очнулась от этого безразличия, когда почувствовала острый зуд кожи. Подняла юбку, посмотрела на грязно-красные ранки в паху и с холодным безразличием заключила:

— Шанкр... Сифилис...

И так же безразлично легла на нары. Она уже больше не ходила к начальству. Лежала, даже не сознавая времени, и только ощущала всем своим существом сильную, непреодолимую усталость. Хотелось лежать, лежать без движения. И даже лежа чувствовала, что устает все больше и больше и что ей пора...

Вагон выстукивал на рельсах монотонную песню, и эта песня убаюкивала ее. Катинка уснула летаргическим сном, и сонную ее привезли на место.

9

Святой Иннокентий прибыл в Муромский монастырь в начале зимы 1912—1913 годов. Уезжая в ссылку, он не все показал своей пастве. Из вагона сквозь занавешенные окна выглядывало еще три пары глаз — самых молодых мироносиц Иннокентия — Анны, Химы и Горпины. А кроме этих трех, ехали две послушницы — молоденькие девочки, которым не пришло время вкусить благости Иннокентия, ибо даже он, сластолюбивый отец, считал преждевременным приобщать их к наивысшей святости божьих нареченных — ночевать с ним в его келье.

Всю дорогу, от южной Бирзулы до далеких снегов севера, смиренные жены ехали в отдельном вагоне и видели Иннокентия только на больших станциях во время пересадок.

Только в местах, куда слух о нем дошел как далекий отзвук, и то лишь в административные кабинеты, Иннокентий решился поселить к себе Химу. Перед концом пути, на последней остановке, Иннокентий вышел из вагона, пересел на лошадей и вместе со «свитой» помчался в ближайшую обитель небольшого села у Онежского озера. Здесь он хотел провести совет и устроить своих людей, пока станет известно, как примет их игумен Муромского монастыря. Прощаясь с женщинами, Иннокентий еще раз приказал не тратить времени даром, ибо если не удастся упросить игумена, то придется начать осаду и принудить его.

— Только вот что,— говорил Иннокентий,— бросьте свою бабскую натуру. Одна должна руководить, а

не все. Остальным нужно слушать ее. Этой одной будет Хима. Поняли?

Иннокентий сел в сани и помчался в Муромский монастырь к грозному и требовательному отцу Меркурию — игумену, чтобы определиться под его надзор. Этого отца рекомендовали Иннокентию как очень требовательного и сурового князя церкви, настоящего инквизитора, безжалостного и немилосердного исполнителя приказов синода. Иннокентий ехал к нему с тяжелым сердцем. Его беспокоило, удастся ли поймать в свой невод руководителя муромской паствы или придется смиренно отбывать назначенное наказание и, кто знает, может даже ликвидировать дело в Бессарабии. Тревожился, как примет его святой отец, в особенности свиту мироносиц. Боялся, не известило ли светское и духовное начальство о багаже своего статного и нахального узника.

Но, видно, слухи быстрее поездов и гонгов. Иннокентий еще не выехал, а отец Меркурий знал уже многое о своем новом узнике и потому встретил его не очень сурово, хотя говорил с ним, нахмурив брови. Первое же знакомство заложило прочную основу будущего содружества. Отец Меркурий отнесся к Иннокентию благосклонно, продержал у себя в келье более трех часов и только потом показал братии и познакомил с будущим товариществом. Вскоре мироносицы были при Иннокентии. Он поселил их под самыми стенами монастыря и получил разрешение проведывать своих «пестуемых чад». Чада, в свою очередь, легко могли попасть к отцу Иннокентию. В общем, в его жизни немногое изменилось по сравнению с Липецким. Даже проще стало, поскольку здесь «недреманное око» синодальное не так уж ощущалось, а администрация еще не успела понять ни того, что̀ это за узник и как он может быть опасен формуляру, ни того, чем он может быть полезен карману, который в этом бедном крае проявлял все признаки упадка. Иннокентий часто бывал в городе, ездил в Никольское и возвращался оттуда с большими пакетами для своего туалета и стола. Часто ездили с ним и мироносицы. А потом оставались на неделю или две за городом, возвращались с таинственными лицами и запирались в келье у отца Иннокентия.

Отец Меркурий ради формы иногда спрашивал, где и зачем был Иннокентий, но вскоре ему все стало ясно. Игумен понял, что этот инок обманул даже его прозорливость. Раньше в убогий монастырь, куда заточили Иннокентия, изредка заходила на богомолье какая-нибудь отчаянная бабка. Теперь же количество богомольцев все увеличивалось. Они приходили не в самый монастырь и спрашивали не отца Меркурия, а отца Иннокентия — великого пророка, мученика за веру Христову. Приходили и сидели целыми днями перед воротами обители, если их не пускали к бессарабскому чудотворцу.

— Пусти, отче,—говорил какой-нибудь горемыка,— этот грех на моей душе будет, если он не пророк. Нам люди знающие сказывали, а тебя, инок, в обман вводят, нечистая сила дурачит, чтобы не показать грешным милости божьей.

Отец Меркурий вначале сопротивлялся, не пускал, велел прогонять настойчивых богомольцев.

— Гнать их к чертовой матери,— гневно кричал он.— У нас есть обитель, а не какие-то пророки.

Однажды при таком разговоре старший брат, дежуривший у ворот, осмелился возразить отцу Меркурию. Он сделал это довольно деликатно, лишь намекнул, но так, что отец Меркурий сразу изменил свое поведение. Брат Анисим просто сказал:

— Отче Меркурий, разве вы не видите, что прогонять их не только нельзя, но и не нужно. Если мы теперь станем их прогонять, то это будет означать, что гоним-то мы не от себя, а от церкви, от бога.

Иннокентий начал осаду обители осторожно, но продуманно. Он располагал надежными силами: мироносицы ежедневно ходили по селам, хуторам, щедро раздавали иконы с образами отца Феодосия Левицкого и Иннокентия балтского шестикрылого и духа святого, сидящего в троице с богом-отцом и богом-сыном. Тексты агитационных прокламаций переводились с молдавского языка на русский и ходили по домам, проникали в самые укромные уголки далекого севера, будили новые слои забитого крестьянства, уже не молдавского, а русского, такого же темного и нищего, как и их братья, «инородцы» Бессарабии. Молитвы Иннокентия распространялись быстро, его пророчества о наступле-

нии страшного суда в недалеком времени пугали и тревожили темные головы, производили тяжелое, угнетающее впечатление на крестьян. Зашевелились в селах. Стоустая молва о великом святом, гонимом ненасытным начальством за страшную правду и заступничество за грешный бедный народ, привлекала в обитель целые орды убогих, калек, слепых, хромых и припадочных, что надеялись на милость божью. Прибавилось народу на базарах. Цены на скот и зерно совсем упали. В Муромский монастырь двинулись караваны паломников, которые хотели хоть перед смертью увидеть светлую особу пресвятой троицы.

Зазвенел кошелек у казначея обители. Отца Меркурия окончательно покорил этот новый денежный поток. Победил его отец Иннокентий. Мироносицы уже жили не за стенами монастыря, а в кельях суровой обители, трапезничали вместе с монахами и даже получили решающий голос в некоторых монастырских делах. Отца Меркурия несколько тревожило одно: как бы об этом не узнали в Петербурге, в святейшем синоде.

Потому и позвал к себе Иннокентия и мягко, но с беспокойством обратился к нему:

— Смотри, отец Иннокентий, если узнают там, вверху, плохо нам будет.

Но к Иннокентию вернулась его самоуверенность, и он ответил:

— Будьте спокойны, отче. Ничего они мне не могут сделать, поверьте.

Больше они к этому не возвращались. У игумена не было причин для личного недовольства... Муромский монастырь, построенный почти специально для ссыльных монахов, редко видел паломников и существовал за счет государственной дотации. Игумен едва сводил концы с концами, а потому решил теперь не замечать всех дел Иннокентия и загребать за его счет обеими руками. Фактически он передал свои функции молодому монаху. Оставалось только его имя. А чтобы полностью оградить себя от неприятностей, поехал посоветоваться с местной администрацией, дабы она тоже снисходительно отнеслась к делам инока. И администрация не возражала. Наоборот, Меркурий почувствовал, что администрация станет даже помогать ему — в том случае, если игумен не забудет их,

Меркурий рассказал обо всем Иннокентию, и тот согласился на дополнительные расходы.

Это окончательно решило судьбу Муромского монастыря. Из места заточения он превратился в место усиления влияния Иннокентия на события в Бессарабии, куда иеромонах надеялся возвратиться, как только прибудет делегация из Липецкого. С ней он должен был выступить или по крайней мере отправить необходимые бумаги в святейший синод, который бы снял с него наказание. А его поведение и деятельность в Муромской обители давали все основания для того, чтобы светская и духовная власти составили на него самую лучшую характеристику.

Потому-то так нетерпеливо он ждал делегацию. Но нетерпение свое никому не высказывал, хоть оно и возрастало. Он боялся, что по дороге могут разогнать поход, и тогда задуманное не осуществится.

Он снова и снова обдумывал всевозможные варианты, как вызвать помощь из Бессарабии, освободиться от неволи в далекой провинции. Писал письма, требовал от брата Семеона, чтобы торопился с отправкой делегации, и как можно более многочисленной. Наконец получил ответ, что две тысячи человек вышли и еще многие отправились поездами. Иннокентий чуть не целовал это письмо.

— Две тысячи! Две тысячи? Это же большая сила! Эгей, слепые синодальные кроты, я перехитрил вас! Теперь-то вы меня выпустите!

И он еще и еще раз перечитывал письмо, готовился встретить паству. Но сдерживал свою радость, а письмо утаил от игумена. Иннокентий решил поставить всех перед фактом и показать свою силу. Теперь-то начальство будет бороться не с ним, а с «народом», который глубоко верит в него. Он хотел, чтобы начальство вынуждено было поднять руку на паломников, объединенных вокруг церкви, которую и он, и они защищали по-разному. Он постарается бросить эту силу, присоединив к ней местных верующих против седоусых, седоглавых ученых из синода, и заставить бороться не с ним, а с тем, на что опирается церковь,— с верой народа.

— Вот это будет работа! Вот забегают отцы. Не

поймут, кому что говорить! Нет! Война есть война, панове!

И он представил себе, как перед стенами Муромского монастыря вырастет многочисленная толпа молдаван и завопит об освобождении Иннокентия, как одним движением руки он бросит ее на стены обители, разрушит их, а сам выйдет живым и невредимым, как Даниил из раскаленной печи, и обретет еще бо́льшую, более громкую славу, против которой синод побоится поднять руку. Он представлял, как эта измученная в дороге толпа станет разрушать монастырь, избивать сидящих здесь иноков, «нечестивых защитников нечестивого начальства», как на это побоище приедут власти и как молдаванин бросится защищать своего духовного отца. И тогда...

— О-о-о, тогда я покажу вам, насколько сильна моя власть над их душами! Мы еще поборемся! Только бы они пришли! Только бы они в дороге не задержались! Только бы...

10

Скорый поезд мчится в далекие заснеженные российские степи, к маленьким полустанкам, разбросанным среди полей, к большим городам, занесенным метелями, развозя российских подданных разных сословий. Он ненадолго останавливается на маленьких станциях, выбрасывает одного-двух случайных пассажиров, иногда берет пару новых и снова летит. Время от времени из вагона выглянет кто-то, лениво спросит, что за станция, и, не получив ответа, опять устремляет взгляд в газету или книгу или продолжает жевать.

В вагоне третьего класса на верхней полке лежит русый монах, очень худой, лохматый, в залатанной рясе. Он ни минуты не спит — перебирает четки, бубнит молитвы. Вид у монаха очень печальный; он не вмешивается в разговоры, лишь иногда поднимается со своего ложа, да и то для того, чтобы выйти из вагона на перрон, спросить что-то у дежурного по станции или жандарма и снова вернуться и лежать пластом на своей полке.

Монах, видимо, нервничал. Но наконец успокоился, даже четки свои оставил. Он и не спал, а

просто отлеживался во время своего долгого путешествия. В вагоне уже привыкли к нему, никто не обращал на него внимания, словно его и не было. Но вот поезд остановился. Небольшая станция, освещенная несколькими бледными огнями керосиновых ламп, отразилась в окне вагона расплывчатыми контурами. Снаружи донесся какой-то шум. Пассажиры бросились к окнам, прислушиваясь к крикам. Монах тоже поднялся с места. Долетали только отдельные слова, разобрать их было невозможно, потому что язык был какой-то странный, непонятный.

— Видать, восточные «человеки» куда-то едут,— бросил один из пассажиров.

Другой возразил:

— Нет, это «тринадцатая вера» собралась. Молдаване. Я их хорошо знаю. Четыре года вино бессарабское пил. Доброе, стервецы, вино умеют делать, и винограда много у них...

Какой-то скучающий пассажир, радуясь случаю завести разговор с соседями по вагону, стал было подробно рассказывать о молдаванах. Вначале монах напряженно слушал, время от времени то краснея, то бледнея. Потом вдруг засуетился, начал торопливо собирать свои вещи. Монах свернул небольшой узелок, соскочил с полки и выскользнул из вагона. Он опрометью побежал, перепрыгивая через рельсы, к толпе, галдевшей на перроне. Прибежал и стал позади всех. Поезд свистнул и умчался дальше, а монах остался на перроне.

Когда поезд отошел, монах облегченно вздохнул. В вагоне он побоялся, что за ним кто-то следит, а сейчас стал самим собой, бросил четки и узелок и присоединился к толпе, выкрикивая те же слова, что и она. Смиренный монах — пассажир скорого поезда — сразу узнал некоторых из толпы, знал и то, куда они едут. Поэтому-то он еще ниже надвинул на глаза шапку, закутался в рясу до самого носа и принялся кричать и суетиться, подобно всем. Это был отряд матери Софии, ехавший в Муромск, и именно на этой станции жандармы хотели поставить поезд с богомольцами на карантин.

— Эй, не слушайте его! Не слушайте! Это слуга сатаны, он хочет нас задержать, чтобы мы не видели

пэринцела Иннокентия! — кричал неистово монах, прорываясь к жандарму.

Жандарм в конце концов плюнул и махнул рукой. Он что-то крикнул начальнику станции, и тот подозвал одного из толпы:

— Вам разрешено ехать. Идите в вагоны.

Бросились к вагонам, но смиренный монах забежал вперед и, подняв руки, закричал:

— Братья и сестры! Стойте! Не садитесь в вагоны, они хотят обмануть нас. Они посадят нас в вагоны, закроют и тогда сделают, что захотят. Стойте, не верьте этому обману.

Он, очевидно, угадал, потому что начальник станции зло заскрипел зубами и выругался, увидев, как все остановились возле вагонов. Он доложил жандарму, что маневр не удался и что толпа готовится к решительным действиям: вооружается камнями, палками. Тогда начальство решило отправить богомольцев. Вагоны подцепил паровоз и потащил к составу. Паломники же сели в вагоны, лишь когда подали паровоз. Но и тогда следили, все ли в порядке. Инициатива была на стороне смиренного инока, он последним и зашел в вагон, почти на ходу. Забился в самый дальний угол и уснул. Спал долго, не просыпаясь. Но это была видимость. В действительности же монах не спал, он долго сидел, обхватив голову руками, потом лег и погрузился в свои думы.

Наконец дорога кончилась. Отряд прибыл на станцию и, высадившись из вагонов, стал готовиться к пешему походу в обитель. Достали хоругви, иконы и построились в колонны. Но уставшие люди долго идти не могли. Они жаждали отдыха, а потому, как только вошли в первое село, стали врываться в дома и валиться спать.

Утром, когда мать София созывала паломников, в село прибыли становой и жандарм. Они приказали остановиться. Но нечаянно проговорились, что прибыли еще два отряда богомольцев, и тем испортили все дело. Поднялся шум, паломники побежали на холм, за село, встречать своих. Вскоре на холме появилась громадная толпа, которая лавиной ринулась в село. Отряды объединились; целовались, расспрашивали, кто остался жив, кто куда девался.

Руководители похода тем временем посовещались и приказали собираться.

— Пэринцел Иннокентий, — кричал Бостанику, — уже недалеко. Уже конец нашему пути, завтра мы предстанем пред его светлые очи. Он принесет нам долгожданную радость.

Собрались быстро. Забыты болезни, раны, смертельная усталость и голод. Толпа снова поднимает голову, готовая идти в неизвестное, — лишь бы к нему, источнику света, здоровья, к нему, кто спасет на том свете от страшных мук, избавит от тягостной жизни на этом свете.

Поход продолжался. Двигались медленно, но упорно. Черный, страшный стоногий и стоголовый уж потянулся снегами вдоль Онежского озера к Муромской обители.

Смиренный монах был тоже здесь. Он находился в хвосте колонны, шел прихрамывая и бормотал молитвы. Иногда поднимал голову, шептал что-то и продолжал идти. Иногда спрашивал соседа:

— Ну, и долго шли?

Вопрос не мог вызвать подозрений, потому что только здесь объединились все три потока, и каждый, кого он спрашивал, мог быть из другой группы.

— Долго, брат. Ох, долго и трудно было идти. Но там, где находится отец Иннокентий, мы уж отдохнем. Он даст нам возможность отдохнуть. Мы заберем его назад в Липецкое.

— В Липецкое? Заберем? Как же мы его заберем, если сам ымпэрат посадил его в Муромский монастырь? Да нас оттуда прогонят жандармы.

Сосед с воодушевлением отвечал:

— Наша вера сильнее ымпэрата. Все равно и ымпэрату не усидеть на своем высоком троне. Пэринцел Иннокентий его сбросит и будет сам ымпэратом ымпэратов, будет сам царем царей, и тогда мы все при нем будем как дети подле отца.

Смиренному монаху ясна уже цель. Эта цель, очевидно, ему по душе, потому что он усмехается себе в бороду и тихо бормочет:

— Мы освободим пэринцела Иннокентия, освободим, хоть бы пришлось идти к самому ымпэрату.

Смиренный монах бодрее шагает по мерзлой доро-

ге, ни на шаг не отстает от других, да еще и поддерживает отстающих.

Соседи смотрят на него с благодарностью. Преданный брат идет с ними, глубоко верит. Жмутся к нему те, кто в пути пал духом, жмутся, как всегда жмутся беспомощные к более сильному, жмутся, чтобы черпать бодрость. И смиренный монах понимает это, ибо охотно делится своим упорством с каждым, кто к нему присоединяется. И уже на полпути вокруг него объединилась большая группа единомышленников.

Толпа двигалась быстро. Ветер, дувший в спину, не так донимал холодом, а близость цели поднимала дух.

Наконец показались колокольни Муромской обители. Толпа взревела и, словно ураган, ринулась вперед. Миновали какие-то здания, сараи и летели, летели в темени ночи. На первый стук в ворота никто не ответил. Тогда толпа на разных языках, но с одним чувством заорала бестолковую, но трагическую песнь «Достойно есть...»

Трагическую, ибо в ней невыразимо страшное, изувеченное дорогой людское скопище изливало всю свою боль, все муки сотен и тысяч долгих верст, устланных трупами. Это были муки загнанной в тупик морального отчаяния толпы, которая шла на смерть, лишь бы увидеть того, кто хоть там, по ту сторону мира, обещал избавить от ненавистного и тяжкого ярма.

Песня вмиг разбудила обитель. Игумен велел покрепче запереть ворота. Но Иннокентий его опередил. Он выскочил из кельи почти в одном белье и побежал открывать ворота.

— Мать моя, где ты?

— Мы здесь! Мы здесь! Осанна тебе! Осанна!

Буря плача. Море слез. И тех слез, того плача и радости той ничем не измерить. Не описать того отчаяния. Толпа гудела, как страшный вулкан, который только что прорвал толстую кору земли и несет в своей лавине громадные камни.

Иннокентий стоял, закинув голову, гордый своей победой, протянув руки для благословения.

Как только прошла первая волна упоения, руководители похода велели размещаться по кельям. А утром наметили места, где надо было рыть пещеры, как и в

Липецком, чтобы осесть здесь, пока можно будет выйти с Иннокентием.

Грандиозный план демонстративного и молниеносного выхода Иннокентия из Муромского монастыря таким образом провалился. Иннокентий не использовал первой минуты, растерялся при встрече. Да и сама масса была не в состоянии сделать что-либо, ибо пришла измученная, утомленная, истощенная.

Только много лет спустя Иннокентий понял, что все получилось к лучшему. Он ничего не выиграл бы, а только проиграл, если бы бросил толпу на разрушение Муромского монастыря.

Но в ту ночь он до полусмерти избил Горпину, подскочившую под благословение с Семеном Бостанику. Он тогда шагал по келье и кусал пальцы до крови, что так неудачно, так скромно подошел народ, не предупредив о своем прибытии.

— Пропало! Пропало все! Теперь они только спать способны, а их нужно было заставить разбить эти стены! — кричал он Семену и донимал его, как только мог. Мать София сидела хмурая и молчаливая, а Катинка, уставившись на него, с болью в сердце ждала, когда он забудет о делах и узнает ее, он, для кого она столько выстрадала и вытерпела до Муромска.

Но он не узнавал Катинку. Он грубо погнал всех из кельи, позвал к себе Химу и заперся с ней. Пошатываясь, Катинка вышла и упала. К ней подошел смиренный монах, поднял ее и понес в келью, где остановился. Дорогой она очнулась. Он приласкал ее и спросил:

— Что с тобой? Плохо?

— Плохо, брат!

— А ты, Катинка, не печалься... когда-нибудь отомстишь, если захочешь.

Смиренный монах произнес это шепотом и отвернулся. Но Катинка вся встрепенулась, ожила. Слово о мести вызвало в ней массу энергии, и она, сжав руки, поднялась на мгновение. И, почувствовав в смиренном иноке своего союзника, шепнула ему в самое ухо:

— Отче, я бы хотела... не откладывать этого. Посоветуйте... У меня уже нет сил...

— Не сейчас... Подожди, я найду тебя. Жди!

Катинка слишком уж долго ждала...

Монах круто повернулся и исчез в темноте.

Такой зимы не помнят даже старожилы берегов хмурой и холодной Онеги. Не помнят, чтобы так мело, так выло над вросшими в землю хатенками убогого селения Муромского, так кружили вихри и швыряли тучи, так заносило улицы и переулки. Страшный буран — своевольник далекого холодного моря, перелетев болота, степи, перелески и ворвавшись в убогое селение, лютовал неимоверно. То тоскливо завывал над крышами, гудел страшными угрозами, то вдруг утихал на какое-то время и ласково щекотал мертвую природу. Но после этого опять упирался мощными ногами в землю, тряс плечами гигантские столбы, поднимал снежную пыль, гнал тяжелые тучи белоснежного тумана, крутил их, дико бесновался, наметая высокие сугробы снега.

Не видно уже ни верхушек деревьев, ни труб невеньких домишек. Только одна высокая колокольня Муромской обители не подчиняется бурану. Свистит, стонет над ней ветер, воет в оконных проемах, дергает за колокола, и они, тихонько покачиваясь, жалобно позванивают. А ветер, подхватив этот тихий звон, несет его на болота, в леса, к хмурым водам Онежского озера и там топит в свинцово-синих волнах.

Подворье Муромской обители пустынно. Изредка выскочит одинокий монах, пробежит куда-то и исчезнет в коридоре. И снова пусто.

В кельях днем и ночью горит свет. Тихо и уютно в светлице игумена. Он сидит в глубоком кресле, вытянув ноги, закутанные пледом. Столик возле кресла заставлен бутылочками, баночками с лекарствами, которыми он лечит давнишнюю подагру. Лицо его кривится от боли, а брови, густые, черные, сходятся над переносицей. Отец игумен задумчиво щурит глаза. Он молча слушает завывание бури, плач и рыдание ветра.

— Метет сегодня крепко, отец ризничий...

— Да, метет... на ногах не устоишь...

Пауза. Она обоих смущает, ибо оба чувствуют, что не молчать нужно, а говорить.

— А чем занимается теперь Иннокентий? — не выдержал Меркурий.

— Не знаю, отче, не видел... Наверное, сидит вот так же, как мы, в келье и развлекается... с монахами.

Игумен презрительно посмотрел на ризничего, и его вдруг затошнило от вида этого обезьяньего лица. Хотелось собрать все эти склянки, банки и все их содержимое — микстуры, мази, натирания — выплеснуть ему в лицо. Но вслух игумен сказал:

— Пошли бы... узнали, как там трапеза обедняя. Готова ли? Да сказали бы мне.

Ризничий поднялся, поклонился и вышел. Он окончательно убедился, что ему не быть уже ризничим у игумена, так как здесь происходит борьба двух систем, двух тактик. Если выиграет игумен, все равно прогонит, если же проиграет, тогда надо самому уходить: заест старый черт. И ризничий вместо трапезной пошел к Иннокентию — поделиться некоторыми мыслями и планами. Он не застал его. Тогда ризничий, закутавшись в шубу, направился в подземную келью, где Иннокентий обычно вел беседы. Подошел и осторожно заглянул внутрь.

В полутемной келье было полно людей.

Иннокентий сидел в центре и, свесив голову, слушал.

Старый бородатый дед говорил что-то на чужом языке. Глаза его горели, речь была решительная, пламенная. Ризничий прислонился к двери и замер. Вот вышел вперед другой старик.

В этой толпе не видно было тех, кто своим отвратительным видом наводил ужас на жителей Муромского монастыря. Хоть и огрубели, обветрились их лица, но все же они принадлежали к более свежей, откормленной части паломников. И с первых слов старика ризничий понял, что это совет старшин.

Так и было. Он оказался свидетелем собрания старшин страшного похода. Они обсуждали план своих действий в монастыре и определяли пути дальнейших своих отношений с теми, кто остался в Липецком. И потому-то старик говорил так горячо. Говорил он на украинском языке, примешивая чужие слова.

— Там, в Липецком, у нас вера гаснет, отче Иннокентий. Все старшие к тебе вышли. Остались только новенькие. Отцу Семеону трудно поддержать в них веру. Народ слабодушный. То и дело нарекания, жа-

лобы. Нужно отправить хотя бы весточку о себе или послание какое. Наши головы не способны мудрить. Не умеют служить богу, как ты.

Иннокентий махнул ему рукой и поднялся, будто хотел что-то сказать. Но снова сел и опустил голову.

— А ты сидишь здесь, — говорил старик, — и мало, видно, думаешь о нас. Или у тебя и желания уже нет! Не жалеешь нас, наших душ грешных, бросил на произвол...

Старик потрясал кулаками и гремел, словно катил пустую бочку по неровной мостовой.

— Нет, так сидеть нельзя! Надо что-то делать! Чтобы спасти веру, нужно спасать обитель нашу...

Старик сел. Его место занял другой, чернобородый. Заговорил горячо, но на чужом языке.

— Говори, чтобы все понимали и знали о чем, — сказал ему Иннокентий.

Чернобородый, коверкая слова, перешел на русский язык.

Говорил он почти то же, что и предыдущий. Иннокентий нетерпеливо прервал его:

— Слышал уже. Знаю. Все знаю, Герасим. Все слышал, Григорий. Не об этом вы должны речь вести, но... Но что это? Не сижу же я здесь даром! Я подготовил уже почву для будущего и только ждал вас. Я вас давно ждал, чтобы сделать то, что замыслил в Липецком, в Балте. Камня на камне не останется от моей тюрьмы, камня на камне не останется от этих стен. Я сотру в порошок всех надзирателей, приставленных ко мне синодом и властью. Я сотру в порошок и того, кто будет говорить, что Иннокентий, дух святой, бросил народ и не приведет его в рай. О-о, мы еще вернемся со славой и почетом к своим прежним местам. Еще узнают меня, когда увидят окруженного моей паствой.

Он сильно стукнул кулаком по столу и, подняв голову, крикнул:

— О-о-о! Слуги диаволовы! Вы думали, что заперли меня среди снегов в клетку и я покорился? Вы думали, что из этих стен мне не выбраться и здесь я погибну? Нет! Вы ошиблись. Я покажу вам, кто такой Иннокентий! Я покажу, кто сидит за вашими стенами, кто сильнее вашего синода.

Иннокентий легко согнулся в поясе и уставился горящими глазами на слушателей. Заговорил тише, почти зашептал:

— Мы выйдем отсюда. Выйдем скоро. Завтра, послезавтра. И выйдем так, как подобает сыну божьему. Я покажу чудо. Готовьте людей, чтобы могли по первому же моему зову идти и делать все, что я скажу, готовьте народ. Так велит мне отец мой небесный.

Он сделал паузу. Потом хищно улыбнулся одними глазами и продолжал:

— Мы выйдем отсюда. Выйдем, и здесь ничего не останется, кроме кучи пепла и руин. Они еще не знают, как опасно держать под замком посланцев божьих. А игумена и этого лютого пса ризничего...

Иннокентий сделал выразительный жест обеими руками, который означал его решимость завершить свое пребывание здесь страшной местью «народа» над слугами престола и синода. Местью, которая бы заставила учитывать не только силу религиозных убеждений паломников, но и готовность этой толпы к физической защите пророка.

— ...Только тогда они поверят, что сына божьего нельзя держать под замком, нельзя запретить веру нашу! И тогда я стану царем царей и пророком пророков и выведу вас в рай, спасу души грешные. Я поведу вас в Петербург, к ымпэрату.

Ризничий отпрянул от двери, словно отброшенный сильным потоком. Ноги его задрожали, в голове замелькали обрывки мыслей. Он ясно увидел грозную опасность для своей жизни, выскочил и стремглав помчался...

Куда?

Он не знал, куда бежать. Растерянно, беспомощно оглянулся. Через минуту рассудил, что единственное его спасение — быть вместе с игуменом, если тот сможет предпринять оборонительные меры, если успеет сделать все необходимое. И теперь-то игумен уже не станет к нему придираться, оценит его заслуги.

Он помчался к келье игумена и, не постучав, ворвался к нему. Игумен сидел в том же положении.

— Беда приближается, отец игумен. Мы пропали. Разрушит, убьет. У него сила... Приказал готовить всех...— путаясь, захныкал ризничий.

Меркурий понял сразу, о чем речь. Понял и задумался. Он уже не слушал, о чем бормотал перепуганный ризничий, не обращал внимания на подагру. Вскочил на ноги, нервно заходил по келье. И вдруг нашел выход.

— Не дрожи, отец ризничий, тебя еще не вешают. Слушай внимательно. Выступают не завтра — это хорошо. Он такой дурак, даже этого не понял. У нас есть время. Немедленно спустись в подвал и закрой железную дверь. Запри ее изнутри. В правой стене есть потайная дверь. Пойдешь через нее, куда выведет. Из сокровищницы все перенеси туда, и бумаги всякие тоже. Но это после того, как запрешь. А потом... Куда ты бежишь? Стой! Об этом ни одна живая душа не должна знать... А потом пойди в церковь и под престолом открой люк. И тоже смотри, чтобы никто не видел.

Ризничий снова хотел уйти, но игумен его остановил:

— Стой. Не дрожи! Все делай немедленно, сегодня же! В церковь пройдешь через звонницу. А ключи принеси мне. У меня будешь спать. Да позови еще Остапа-неподвижку и Василия-молчуна.

Отец Меркурий словно вырос. Казалось, прошли все его болезни, вся хворь, и он помолодел по крайней мере на тридцать лет. Бывший штабс-ротмистр, сменивший мундир отставного офицера «доблестной» и «непобедимой» армии на игуменскую рясу, он сейчас почувствовал себя в своей стихии.

...Площадь. Толпа. Какие-то песни. Знамена. Черно-серая масса движется по мостовой, что-то выкрикивая и чем-то угрожая. Штабс-ротмистр дает команду разойтись. Камень летит прямо ему в грудь. Тогда...

— На врагов веры, царя и отечества, эскадрон, шашки...

Пауза. Штабс-ротмистр смотрит, какое это произведет впечатление, наслаждается своей властью: прикажет и... полторы сотни шашек станут крошить эту толпу. Но он не отдает приказа. Он стоит и упивается властью, правом силы, правом неумолимого мстителя за... свою оскорбленную недворянскую честь, за то, что он происходит не из дворян и даже не из тех, кто брезгует бить эту черно-серую массу. Он — отвергну-

тый землей и не принятый небом, он — ни голубой, ни алой крови.

— Шашки... к бою! Галоп... Руби!

Конь врывается в гущу тел. Сабля опускается со свистом, как на рубке лозы. Ротмистр показывает пример, он считает: раз, два! Раз, два. Сабля врезается в тела — и брызжет кровь.

А дальше... Дальше чем-то грохнуло его по голове, и он упал с лошади. Потом лазарет, благодарность в приказе по полку, но... но ни одной звездочки на погонах не прибавилось. Станислав — рубиново-алый, желанный — достался кому-то другому. Лютая ненависть ко всему миру охватила его. А дальше...

Но тут уж вспоминать совсем неприятно. До сих пор невольно сжимаются кулаки, и он кипит от оскорбления, нанесенного полковым командиром, принимавшим от него рапорт об отставке.

— Господин штабс-ротмистр, вы напрасно надеялись на повышение по службе. Командование полка, уважающее честь офицерской полковой семьи, не могло к сожалению, сделать этого. Нет оснований вводить вас в товарищество заслуженных дворянских фамилий. Нынче, в соответствии с законом, вы получите повышенную пенсию. Но мне лично жаль, что вы оставляете службу. Некому будет поручать... работу палача. Уходит выдающийся мясник, — закончил полковой командир.

Хотел было снести голову седому генералу за эти слова, но... он не дворянин. Он проглотил обиду и, поклонившись, вышел. До сих пор помнит тот поклон свой и холодное лицо генерала...

Все это в одно мгновение пронеслось в голове Меркурия, который перенес свою скрытую ненависть сюда, в обитель. Перенес ее на свою братию, на монастырскую жизнь. Уже совсем было уснул в нем ротмистр, обласканный дальним родственником, олонецким епископом, но дерзкий вызов зазнавшегося инока разжег в нем боевой дух, запах крови защекотал ноздри.

Военная школа пригодилась. Он ждал уверенно и спокойно, он не боялся возможных результатов. Он просто жаждал действий. И одновременно испытывал уважение к Иннокентию. Его дерзость, решительность

импонировали Меркурию, и он восторженно размышлял, как нанесет Иннокентию страшное поражение и придумает для него наиболее оскорбительное наказание, от которого не только болело бы тело, но и горела душа.

— Э-эх, черт! Умная голова, да дураку досталась! Далеко ты, дурень, занесся, да низко упадешь! Даю тебе слово, не позже чем дня через два ты будешь сидеть в тюрьме.

И он еще раз взвесил силу замысла Иннокентия. Он сразу разгадал высокий «полет своего нового подопечного и удивился смелости его намерений. Поднять тысячи замученных существ, озверевших выродков, похожих на выходцев с того света, присоединить к ним столько же, если не больше, местной голытьбы, забитой нуждой, раздразнить их проповедью о жестоком земном начальстве и о гонениях на веру со стороны жестоких слуг императора — это смело! И пусть тогда придираются власти. Пускай тогда запрещает синод. Он же никакой ереси нигде не проповедует и не утверждает. Он верный сын престола и церкви, благочестивый инок, оцененный и понятый народом. И сам народ пришел из Бессарабии за своим мучеником, сам этот православный народ борется за своего православного бога, оскверненного местным духовенством. И тогда, вынесенный на руках отсюда, увенчанный хоругвями, двинется селами, захватит армию верующих, зажжет их диким фанатизмом и на их спинах въедет в рай. И нечего тогда думать о расстрелах, потому что так можно расстрелять и православную церковь, уничтожить и власть над миллионным населением «Святой Руси». А ему это и нужно. Вот и рай: митра, слава, почет.

Нет, он не дурак!

Вошли Остап и Василий — сильные мужчины, угрюмые и неприветливые на вид. В их глазах горела лютая ненависть, скрытая под масками смирения, одетыми добровольно и навеки. Игумен так же люто посмотрел на них и въедливо сказал:

— Вот что, иноки божьи, пора вам доказать свою преданность богу и его святой обители, а не возле... баб. Мигом седлайте коней и поезжайте с моими

письмами. Только никто не должен вас видеть и никто не должен знать, что вы уезжаете. Слышали?

— Слышали. Только пурга сейчас, отец игумен, света не видать.

— Пурга пургой, а то, что нужно для бога, то нужно. Ни минуты не теряйте, если вам не хочется в Сибирь.

И, не глядя больше на иноков, сел к столу, достал монастырские бланки и размашисто написал:

«Его высокопреосвященству епископу олонецкому.

Ваше высокопреосвященство! Произошел у нас такой случай, о котором следует немедленно сообщить властям: инок Иннокентий, пребывающий под моим наблюдением, готовит целое восстание против монастыря и назначил выступление своего сброда, который он привел, через несколько дней. Намерение его — разрушить монастырь и идти куда-то добиваться прав. Выводов не делаю, поскольку мудрость вашего преосвященства способна сделать их сама.

Игумен Муромской обители
иеромонах Меркурий».

Во втором письме он был по-военному краток.

«Господин полковник!

Срочно нужны полсотня бравых забайкальских казаков и десятка два жандармов. Операция — арестовать Иннокентия и выпороть несколько сот спин взбунтовавшихся богомольцев, намеревающихся разрушить мой монастырь. Немедленно снаряжайте экспедицию, чтобы не было поздно.

Игумен Муромской обители
Меркурий».

Окончив писать, игумен обратился к Остапу и Василию:

— Нигде и ни за чем не останавливаться. Если лошади не пройдут, берите лыжи. Вспомните молодость. К жандармскому полковнику торопитесь изо всех сил, это наиболее важно.

Монахи взяли бумаги и вышли. Отец Меркурий, набросив шубу, решил сам проследить за отъездом иноков. Прошел с ними за ворота и постоял, пока оба не скрылись в непроглядном мраке бешеной метели. И

только тогда возвратился в келью, сел в кресло, укутал ноги английским пледом и, закурив сигару, достал бутылку вина.

— Теперь посмотрим, чья возьмет.

Игумен налил себе вина и погрузился в думы.

Муромскую обитель объяла какая-то зловещая тишина. Только ухарь-ветер вертелся по опустевшему подворью, завывая в створах высокой стройной колокольни, и слегка позванивали колокола.

Непрерывно вихрился и сыпал снег...

12

Бледно-желтое солнце выглянуло из-за туч. Пурга улеглась. Ясная морозная погода оживила подворье монастыря: засновали люди, зажглись лампады перед иконами, с высокой колокольни поплыл гулкий звон, сзывая верующих к службе.

Игумен стоит суровый и хмурый перед алтарем, сердито читает первую часть литургии. На клиросе чинно поют монахи, безразлично перелистывая давно уже вызубренный текст молитв. Они тихо переговариваются, неловко переглядываются. В церкви, кроме монахов, — никого. Это удивляет братию: последнее время в церкви было полно людей. Заглядывают монахи за царские врата: интересно, как чувствует себя отец игумен и какое впечатление производит на него такое внезапное безразличие богомольцев к службе.

Отец Меркурий читает, выглядывает, прислушивается, сходятся ли богомольцы.

Но в церкви пусто. Только свои монахи перешептываются да поют на клиросе. Меркурий подзывает пономаря:

— Позови-ка ризничего. Пусть немедленно зайдет ко мне в алтарь.

Пономарь послушно засеменил. С притвора вернулся к алтарю взволнованный.

— Выйти, отче, нельзя. Паломники запрудили выход, что-то по-своему лопочут и никого не пускают ни в церковь, ни из церкви.

— Не может быть! Кто смеет не выпускать, если я велел? Пойди и позови ко мне ризничего.

Пономарь снова вышел и через минуту возвратился опять.

— Не монахи, а кретины, — люто прошептал игумен. — Если нельзя через притвор выйти, иди через пономарню. Быстро!

Пономарь ушел и, пробравшись через пономарню во двор, незаметно, за сугробами снега, побежал к келье ризничего. Добежал и вдруг попятился назад. Перед кельей стояла толпа паломников и о чем-то советовалась с апостолом Герасимом. Тот что-то тихо говорил им, указывая на дверь. Тогда от толпы отделились двое. Они постучали в дверь. Ответа не было. Снова постучали — снова никого. Герасим что-то сказал, и... толпа, вскрикнув, навалилась на дверь. Дверь устояла. Вторично ударили в дверь, но и на этот раз безрезультатно. Тогда один из них достал где-то огромную дубину и ударил ею по окнам. Стекло вылетело вместе с рамой, и паломники один за другим бросились в окно.

Пономарь сорвался с места и — опрометью в церковь. Но опоздал. Около престола стоял ризничий и, дрожа от страха, рассказывал игумену о происшествии. Игумен стоял спокойно и смотрел мимо ризничего.

— Да не дрожи, как пес... — злобно прошипел он. — Ничего страшного нет. Лети немедленно к жандармскому полковнику. Если встретишь кого из начальства, расскажи обо всем. Проси поторопиться.

Ризничий шмыгнул под престол и закрыл за собой люк.

Меркурий, совершенно спокойный, стал возле престола и задумался на минуту — как затянуть развязку, пока подойдет подмога?

Движение во дворе вывело его из задумчивости. Игумен отогрел дыханием окно и выглянул. Перед домом Иннокентия у крыльца тысячная толпа застыла в молитвенном экстазе. Передние держат большую икону, посматривают на дверь. Задние, сняв шапки, стоят неподвижно. Но вот все кланяются двери, крестятся.

Дверь открывается. Выходит Иннокентий. Он прекрасен, словно озарен каким-то внутренним огнем. Голова гордо поднята, глаза блестят, привлекательное лицо сияет красотой и мужеством. Медленно благословил толпу. Она шумно приветствовала его выкриками:

— Преотул чел маре!

Благословив толпу, Иннокентий спокойно сходит с крыльца и направляется к церкви. Он не торопится, не спешит. Он предоставляет инициативу массе. И поэтому спокойно, чарующе улыбается. Вот уже шагнул на ступени. Еще шаг — и он на крыльце. Оглядывается и что-то говорит своим паломникам. Толпа отвечает на его слова неистовым криком и разом бросается к церкви. Иннокентий делает последнее движение: берется за ручку церковной двери, чтобы открыть ее. Дверь открывается. Иннокентий переступает порог и... вдруг отскакивает назад, словно отброшенный электрическим током. Толпа, стремившаяся за ним в церковь, тоже останавливается на секунду и пятится.

Иннокентий внезапно меняется в лице. Сначала желтеет, потом бледнеет, движения становятся вялыми, он сутулится, сжимается весь в комок и отступает. Дрожащей рукой подает паломникам сигнал остановиться, уйти... Потом поворачивается, соскакивает с крыльца и, пригибая голову, ныряет в толпу.

Отец Меркурий, не отрываясь, смотрит в окно, наблюдает.

«Слава тебе, господи!» — вырывается у него.

Он выходит из алтаря и бежит к двери. Спотыкается на ковре, едва удерживается на ногах и протягивает обе руки вперед.

— Здравствуйте, господин полковник! Как раз вовремя, как раз кстати.

Жандармский полковник деловито подходит. За ним сорок казаков и тридцать жандармов.

— Что здесь у вас?

— Да вот...— указывает игумен на толпу.— Бунтуют. Своего молдавского царя выбирают, господин полковник. Новый мессия пришел из Бессарабии.

— В нагайки! — командует полковник.— Выбить им царя из головы!

Казаки и жандармы бросаются из церкви, стегают нагайками всех, кто попадает под руку. Крики, грязная брань и тихие, со свистом, удары по черно-серой массе заглушают разговор игумена с полковником. Они стоят спокойно, будто в церкви продолжается служба. Вой и крики усиливаются, доносится неимоверный шум. Игумен подзывает пономаря.

— Скажи, чтобы на клиросе продолжали петь. Служба не прекращается.

Он спокойно направился к алтарю, уверенным голосом начал службу. Ни один мускул не дрогнул, ни одно движение не выдало волнения владыки, у которого эти события полностью разрушили все планы, связанные с Иннокентием, а вместе с планами пропала и многолетняя мечта о мести. Кому? Старый генерал давно умер, а те гороховые шуты из полка, что провожали его насмешками, теперь неизвестно где. Впрочем, план стоил игры. Он приближал к действительности сладкую мечту побывать в Петербурге.

А со двора все сильнее слышались пронзительные крики избиваемой нагайками толпы, плач детей. Все громче и громче долетало:

— Ой боже ж мой, боже ж мой! За что же вы? Спасите, люди добрые, спасите!

Утих на клиросе на мгновение хор и снова загремел. Игумен и глазом не повел. Спокойно и уверенно взял чашу с дарами и таким же спокойным, уверенным шагом вышел причащать.

— Со страхом божьим и верою приступите.

Не дрогнула рука, когда брал первую ложечку причастия для себя. Так же, как всегда, поднял он ее и... Повисла рука в воздухе, задрожала. Пролилось причастие на пол, выпала из руки ложечка. С глухим грохотом покатилась чаша.

Игумен остолбенел, глядя перед собой.

От двери прямо на него медленно шла женщина. Рваная ее одежда висела клочьями, седые космы волос растрепались, босые иссиня-красные ноги оставляли кровавые следы. Старческое сморщенное лицо походило на маску из потрескавшейся морщинистой коры, залитой красно-черной краской. Ступала ровно и осторожно. На окровавленных руках ее сидел ребенок. Острая жандармская шашка рассекла малыша пополам, на руке женщины повисли его еще свежие внутренности. В такт шагам женщины голова ребенка покачивалась, и со лба тоненькой струйкой стекала кровь. Правая рука его как-то странно свисала, словно тянулась, чтобы ухватиться за землю.

Перед этим зрелищем расступились монахи. Отшатнулись к стенам, полные нечеловеческого ужаса. Румя-

ный жандармский полковник вдруг побледнел и попятился к алтарю. Он сжал зубы, затаил дыхание и закрыл глаза, чтобы не видеть этого жуткого зрелища. Пятился все дальше, пока не исчез в алтаре. Сел на стул и склонил на грудь голову.

Но растерянность игумена длилась не больше минуты. Усилием воли он прогнал прочь страх и строго приказал:

— Выведите ее во двор. Пусть не мешает службе божьей. Это господь покарал ее за грехи и ересь.

Никто не шевельнулся. В мертвую пустоту канул голос игумена.

— Кто не подойдет тотчас, тот союзник еретика и бунтовщика Иннокентия. Вам я говорю? Выведите ее отсюда.

Снова зловещая тишина. А привидение все приближалось к алтарю. Отец игумен впился горящим взором в ближнего монаха и прошипел:

— Ты, свинопас, тебе говорю, выведи ее. Слышал? Сейчас же выведи.

Окаменевший монах не тронулся с места.

Кровь ударила в голову игумену. Свет помутился, лицо посинело, жилы вздулись. Сжав кулаки, сошел со ступенек и твердым шагом направился к монаху, которому велел вывести женщину. Монах подался назад. Осатаневший игумен зверем кинулся на него и по-собачьи зарычал. Но тот не сделал и шагу. Игумен странно как-то вдруг икнул, захрипел и упал на пол, хватая руками ковер и стискивая зубы.

Перепуганная братия стала поспешно покидать церковь, обходя тело своего владыки. Последним вышел жандармский полковник. Втянув голову в воротник и низко надвинув на глаза фуражку, он быстро засеменил к своей лошади.

13

Как только казаки галопом влетели во двор монастыря, Иннокентий сразу понял, что его планы, связанные с торжественным выходом из обители, провалились. В первую минуту он хотел было вскочить в церковь, закрыться там и попробовать договориться с самим полковником. Но в то же мгновение отбросил

этот план. Он понял, что может попасть в западню, паломникам же не устоять против вооруженной силы. Молнией мелькнула в голове другая мысль — спасать сокровища, приобретенные за время пребывания в монастыре. Но и ее он отбросил, так как времени было мало. Тогда Иннокентий решил пробиться к воротам, поднять бунт в селах, вызвать волнения среди верующих, запрудить улицу толпами людей и вместе с паломниками выйти в поле. А там, среди глубоких снегов, конным казакам и жандармам негде будет разгуляться.

Иннокентий приказал Семену и Герасиму выходить с паломниками за ворота, прикрываясь святыми — иконами и хоругвями.

Зареяли над толпой хоругви, взятые из монастыря, зазвучала молитва. Паломники лавиной хлынули к воротам. Казаки в первый момент отступили. Эти несколько минут дали толпе возможность подойти к воротам. А когда казаки во главе с вахмистром бросились с нагайками, шашками — паломники уже были у ворот. Упали первые жертвы. Толпа вытолкнула засевших там жандармов, повалила ворота и вырвалась на свободу.

Казаки кинулись было на людей, но разъяренные фанатики встретили их налет таким отпором, что те отступили. И в то же мгновение донеслась какая-то команда, и казаки исчезли во дворе.

Иннокентий остановил толпу и обратился к ней со словами:

— Братья и сестры! Все вы видите, как враги рода человеческого преследуют нас, хотят погубить наши души. Меня и здесь преследуют, муками хотят заставить отступиться от веры святой нашей церкви, от моего дела — спасения душ грешных. Но я не боюсь мук. Пойду на самые ужасные пытки, что готовит мне начальство, вытерплю все, но не брошу вас. Сегодня же пойду к царю и расскажу ему, какие обиды причиняют нам его неверные слуги. Царь несколько раз уже посылал за мной, но я не шел, не хотел осквернять себя. Ныне бог отец отпускает меня, повелевает стать перед царем и добиваться возможности служить господу так, как мы хотим...— Он осмотрел всех, словно хотел убедиться, понимает ли его речь паства, и продолжил: — Так кто пойдет со мной? Кто поддержит меня в этом походе? Или оставите меня, как оставил Петр Иисуса Христа?

Кто не хочет идти, становись по левую сторону, кто пойдет — по правую. Пусть отойдут слабые духом, кому не мила церковь божья, кому не нужно спасение грешной души.

Толпа колыхнулась и взорвалась:

— Возьми! Возьми и нас с собой! Все, все пойдем! Все пойдем и не бросим тебя, не дадим тебя, дух святой, осквернить. Бери, бери и нас с собой.

— Все ли пойдут по доброй воле? Может, кто страшится пути долгого? Пусть отойдет тот, кто слаб духом.

Толпа фанатиков готова была броситься в холодное Онежское озеро.

— Бери! Бери нас с собой! Все пойдем! Все!

Иннокентий надел шапку, кожух, сел в сани и махнул рукой. Лавина тронулась, растягиваясь по снегу длинной полосой. Более трех тысяч человек вышло из Муромского монастыря в неведомое странствие вслед за санями, на которых сидел отец Иннокентий. А к колонне все пристраивались и пристраивались люди, гонимые религиозным экстазом.

В воротах обители стоял жандармский полковник. Он с тупым равнодушием проводил взглядом толпу, затем отправился писать рапорт.

«18 февраля 1913 года. Его высокопревосходительству господину начальнику жандармского корпуса.

Инок, о котором я извещал вас, сегодня оказал сопротивление жандармам и во главе четырехтысячной толпы богомольцев вышел из Муромской обители в неизвестном направлении. Остановить поход у нас не хватило сил...»

Дальше не мог писать. Жег стыд. Он велел оседлать коня и выехал из обители, даже не повидавшись с игуменом.

* * *

До самого вечера Иннокентий не останавливал людей. Тревожные думы овладели бесшабашной головой бессарабского авантюриста. Он неподвижно сидел, завернувшись в кожух, и анализировал весь пройденный путь. И чем больше размышлял, тем меньше оставалось у него прыти, все туманнее видел он перспективу

своего похода. Вывести из монастыря четыре тысячи человек — штука не хитрая. Вырваться из заключения — тоже. Но дальше, дальше что? Куда пойти? Как вывести их в лютый мороз из этой холодной пустыни? Надолго ли хватит этого пыла? Не развалится ли толпа в такой ужасной дороге? А если и не развалится, так что? Разве есть такая сила, которая не только привела бы их в Бессарабию, но и помогла бы устоять перед приказами синода? Ведь сегодня он бросил на них вооруженную силу. Сегодня погибли десятки. А завтра? Не перестреляют ли всех и не придется ли в конце концов предстать перед военно-полевым судом как бунтовщику, как врагу престола?

Настроение упало. Растерялся великий авантюрист перед решительным шагом. Заколебался перед активными действиями. Серенький вездесущий страх свинцом налил жилы. Иннокентий глубже закутался в кожух, толкнул Семена в бок и шепотом сказал:

— Я немного отъеду, а ты собери апостолов на совет. Вон в том лесочке, что виднеется впереди. Там и заночуем.

Семен вылез из саней, а Иннокентий рысью помчался к лесу. Морозный воздух, резвый бег лошадей немного рассеяли страх. В лесу Иннокентий вышел из саней и стал выбирать место для раян. И уже увереннее обдумывал свой план.

«Ну что ж, удрал не удрал, а попытаться можно. Пойдем в Петербург, в синод, пусть там поговорят... не со мной, а с ними всеми. Не станут же стрелять в безоружную толпу! Да еще на улицах столицы!»

И он уже спокойно затянул какую-то молдавскую песню. Тем временем первые группы паломников подошли к лесу.

— Братья мои, первую ночь суждено нам, как и всем мученикам, ночевать где придется. Разложим костры и согреемся, чтобы мороз не пронял.

Толпа радостными криками приветствовала ласковые слова пророка:

— Осанна! Осанна!

Люди расположились вокруг его саней. Утоптали снег, натащили хвороста, развели огонь, стали рассаживаться вокруг — слушать проповеди апостолов.

Иннокентий ходил от группы к группе, прислуши-

вался, что говорят апостолы, как реагируют на их слова верующие. С радостью сознавал, что ему верят. Довольный отошел к своим саням, оперся на них и задумался. Не слышал, как тяжелыми шагами подошел к нему Семен и тронул за рукав.

— Совет ждет тебя, отче. Все уже собрались.

Иннокентий удивленно посмотрел на него:

– Совет? Какой совет? Ах, да! Я же говорил. Пойдем.

Вялой походкой направился к группе апостолов, что сидели вокруг пня.

— Отче Иннокентий, люди хотят знать, куда мы идем? — сурово спросил Григорий.

Иннокентий, не поднимая головы, грустно ответил:

— Об этом я вас хочу спросить. Посоветуйте вы хотя бы раз, не все же время жить моим умом. А то все я да я, теперь ваша очередь. Свое мнение я сказал еще в Муромском монастыре.

— Не нашего ума это дело, — глухо и недовольно ответил Григорий. — Ты же у нас всему голова, всему порядок даешь. И теперь ищи выход, если не хочешь, чтобы на тебя завтра бросились те, что спят. Ты же поднял людей, царем обещал стать, а теперь? Что им сказать?

Иннокентий сердито посмотрел на него. Он представил себе вполне реальную картину: апостолы, а за ними и более сознательные паломники вдруг перестанут ему подчиняться и разоблачат его перед толпой обманутых верующих. Все поймут, что он вовсе не святой, не пророк, не дух божий и что все это обман. А затевает игру, чтобы ценой здоровья и жизни темных крестьян набить себе карман, вволю налакомиться винами, яствами, женщинами, и весь его рай — это сундуки, наполненные деньгами, большие счета в банках, роскошные кельи в Балте, Каменец-Подольске и Муромске. Все поймут, что он просто обыкновенный, но ловкий жулик. Тогда эта толпа не только отвернется, не только не станет подчиняться, а лютым зверем набросится на него и зверски, жестоко отомстит. Отомстит за все обиды, причиненные десяткам тысяч молдавских, украинских и российских крестьян. И люди, одичавшие в холодных степях, голодные, измученные в далеких просторах России, превратятся в зверей и в одно

мгновение не только разобьют все его планы, но и его самого уничтожат, раздавят, растерзают.

Он зябко поежился и сжал кулаки. Затем поднял голову и тряхнул гривой.

— Значит, бунт? А? А думал ли ты, против кого? Против бога? Против церкви? Против веры нашей? На гибель людям? Так помни же, что толпу на меня бросить можно. Но в этом водовороте первым погибнешь ты. Ты, а не я! Сибири тебе не миновать.

Солнце выглянуло из-за горизонта и осветило страшную картину. Громадную лесную поляну сплошь заняли спящие паломники. Большие костры, растопив снег, провалились глубоко в грязно-черные снежные ямы, из которых еще курился дымок. Мужчины, женщины, дети лежали на охапках осиновых и сосновых веток, придвинувшись поближе к огню.

Лагерь стал просыпаться. Зашевелился, загудел. Люди поднимались, снова падали и снова поднимались. Многие так и не встали с ледяной постели. Некоторые были с обгоревшими ногами, руками; оскалившись на солнце, разбросав руки, лежали навзничь. Другие, проклиная и себя, и жизнь, и бога, беспомощно шевелили окостеневшими ногами, будучи не в силах подняться. Рыдания, плач, стоны слышались отовсюду, катились лесом, доносились далеким эхом.

Лагерь проснулся. Готовились снова к походу. Иннокентий с ужасом осмотрел ночевку и, завернувшись в кожух, дал сигнал трогаться. Кони с места взяли рысью. А следом потянулись ряды паломников, оставляя позади себя трупы и живых еще людей, умирающих на морозе. Они провожали уходящих рыданиями и проклятиями.

Колонна двинулась к станции Няндома. Здесь должна была окончательно решиться судьба четырех тысяч людей, что слепо шли сейчас за бессарабским авантюристом.

14

Катинка поднялась со своей снежной постели и, дрожа от холода, осмотрела место стоянки. Трупы замерзших людей уже не вызывали в ней такого жуткого чувства, как во время первого похода, когда она впер-

вые увидела их. Она ощущала только тупую боль в голове да ноющее покалывание в сердце. Катинка уже не сознавала ужаса самой смерти. Хлопая рукой об руку, дыша в ладони, она тихонько побрела вдоль лагеря. Невольно наклонялась, спотыкаясь о трупы. На минуту останавливалась, присматривалась к мертвым и опять, будто во сне, узнавала кого-либо из вчерашних своих соседей. И тогда вспоминала, что всего несколько часов назад у этого человека теплилась вера и надежда на спасение своей души, на тихое пристанище под сенью Иннокентия. Совсем недавно умерший мечтал о «рае» Гефсиманского сада.

Кое-где еще тлели головешки от костров. Синий дымок вместе с запахом горелого мяса устремлялся вверх. Катинка ощущала этот запах, видела, как синий дымок поднимался от ног или рук тех, кто лежал возле костров. Но и это не поражало ее. Усталая голова не в состоянии была четко осмысливать факты, не могла справляться с тяжелыми картинами, запечатлевшимися в памяти, и отличать боль собственную от боли окружающих ее людей.

Катинка мучилась и умирала за всех этих людей сразу, страдала за каждое искаженное лицо. И эта смерть, и страдания, и муки, собранные в ней, были гораздо сильнее, глубже ее злобы.

Споткнувшись о шевелящуюся кучку лохмотьев, Катинка остановилась. Что-то взвизгнуло и схватило ее за ногу, прижалось к ней, кутаясь в полы кожушка. Она нагнулась. Под тряпками скулил ребенок.

— Что тебе, деточка?

На нее глянуло посиневшее личико маленькой девочки с голубыми сухими глазенками и искривленными губками. Растрепанные волосенки ее беспорядочно торчали из-под материнского платка, маленький носик заканчивался срезанной наискосок пластинкой с двумя дырочками и был неестественно белым. Катинка поняла, что отмороженный носик сломался у самого хряща, и девочка не ощущает сейчас боли и не ощутит ее, покуда не отогреется.

— Что тебе, малютка? — еще раз спросила Катинка, поднимая девочку с земли.

Девочка прижалась к ее груди и облегченно вздохнула.

— Мама... Мама там... У мамы болит...

Катинка нагнулась над кучей тряпок, сбросила черную свитку — и на нее глянуло синее окровавленное лицо уже не молодой женщины с дико вытаращенными глазами и оскаленными зубами. Женщина была в одной кофтенке, разорванной на груди. Развязанный пояс лежал рядом с ней, из-под задранной юбки виднелся запавший живот. Синие жилистые ноги, раскинутые на снегу, вмерзли в лужу крови. В ногах ее лежал младенец. Его левая ножка была обвита пуповиной.

Катинка отвернулась и отошла. Крепко прижала к себе девочку, невидящими глазами повела по сторонам, словно ища ответа на один надоедливый вопрос, который постоянно мучил ее, не давал покоя. Этот вопрос терзал и всех тех, с кем она путешествовала:

— Где правда? Кто виноват?

Этот вопрос не покидал ее больной мозг, не оставлял в покое исстрадавшееся сердце. Он вызывал страстный протест против дикого странствия, против бессмысленного движения снегами, против слепой веры. Катинка видела, как играли кони Иннокентия, как сам он тихо разговаривал с Семеном и Герасимом. Видела, как благословил их, как сел в сани и завернулся в кожух. Видела, как возле него примостилась Хима и еще какая-то молодая мироносица, как он склонился над ней и о чем-то спросил. Видела, как та ответила ему веселым смехом и как при этом засветились ее глаза. Катинка безразлично смотрела на все. Только в последнюю минуту, когда Герасим взял в руки вожжи и занес ногу в сани, Катинка рванулась вперед. В голове мелькнул ответ на выстраданные вопросы, словно она вдруг увидела то, что искала последнее время,— страшного преступника, повинного в муках многих сотен людей. И она опрометью бросилась к саням, ухватилась за них рукой и кинула на колени Иннокентия девочку с отмороженным носом. В этот миг кони рванулись. Катинка растянулась на снегу.

А за санями снова потянулась черно-серая полоса людей, и Катинка слепо поплелась в хвосте похода, бессмысленно глядя перед собой. Так же бессознательно видела она, как вязли в снегу люди и, обессилев, падали. Безразлично обходила трупы и порывисто отталкивала руки умирающих, тянувшихся за ней. И только

вечером, когда остановились на ночлег в лесу, Катинка присела возле дерева.

— Встань, Катинка, мы хотим свалить эту сосну. Иди погрейся возле нашего костра,— сказал кто-то рядом.

Подняла глаза. Сквозь туман отчаяния разглядела знакомые черты, но не могла вспомнить, где видела этого человека в монашеской рясе. А он еще ниже склонился к ней и в самое ухо прошептал:

— Встань и иди вон к тому костру. Посиди там, пока уснут, я потом что-то скажу тебе.— А затем добавил:— Врага найдем, Катинка, и твоего и моего.

Это кольнуло Катинку в самый мозг, расшевелило, зажгло в ней новое желание. Она поднялась и пошла к костру. И вдруг... ощутила, как с глаз спала пелена, а мысль начала работать четко, желания стали яснее. Подошла к костру и села поближе к огню. Сидела так до тех пор, пока кто-то не тронул ее за рукав. Она подняла голову — то был монах.

— Что, отче? С чего начинать? Голова моя трещит от дум, и сердце наливается кровью от одного желания отомстить. Говори, что делать, и я пойду сейчас же.

— Тише, мы здесь не одни.

Он придвинулся ближе.

— Не ходи как обреченная. Крутись меж баб, говори им, чтобы бросали поход или требовали заходить на ночь в села. Поговори с Соломонией, ее нужно приблизить к нам. Соломонию бабы будут слушаться.

— Ну и что же дальше?

— Что? Нам нужно баб возмутить, а мужчины наверняка пойдут за ними. В таком деле баба должна пример показать. А дальше я уж знаю, что делать.

Монах скрипнул зубами.

— Потом, слышишь, я постараюсь сам. Слышишь? Я сам всажу вот этот нож в его грудь и выворочу ему кишки. И уйдем отсюда. У меня хватит средств и домой доехать, и прожить всем. Слышишь? В этой кутерьме никто и не заметит.

Катинка хотела еще о чем-то спросить монаха, но он поднялся и отошел в сторону. Стал на колени и начал молиться. Катинка тоже отошла и, укутавшись в кожух, легла на снег. Но лежала недолго. Сон не брал ее, она гналась за ним, словно скряга за вором, украв-

шим у нее деньги. Катинка встала и пошла вдоль сонного лагеря искать Соломонию. Та спала, завернувшись в кожух.

Соломония проснулась, как только подошла Катинка.

— Ты чего не спишь? — спросила Соломония.

Катинка промолчала. Та опять повторила вопрос, и тогда Катинка с болью ответила:

— Постарела ты, сестра, осунулась... А какая была, словно цветочек.— И, помолчав, добавила: — А ты ведь еще не старая. В твои годы только бы жить и жить в каком-нибудь тихом уголочке с детками.

— Ты это к чему? — насторожилась Соломония.— Чего про годы завела?

— Потому как и сама замучалась, молодости жаль. Ты не гневайся, сестра, что было — быльем поросло. А молодости жаль, жизни жаль.

Соломонии вдруг жалко стало Катинку. Она обняла ее и прижала к себе.

— Не горюй, может, еще и поживем. Может, еще...

И заплакала на плече у Катинки.

— Не плачь, сестра, слезы не помогут. Ты подумай, как спасти хоть эти годы. Идем-идем, умираем-умираем, а конца не видно...

— Ай-я! Да разве я знаю? Это же все он.

— Знаю. Я о том и говорю. Но он один, а нас много. Может быть, ты бы поговорила с Химой, с другими женщинами, пусть смилостивится хоть над детьми.

Соломония сразу перестала плакать. Лютая ненависть шевельнулась в ее сердце к... кому? Она удивленно смотрела на Катинку и не понимала, что предлагает та.

— Что ты? Химе ведь не холодно. Нужно нам об этом подумать,— ответила она тихо. И, повернув к Катинке голову, впилась в нее взглядом: — Ты сама это придумала или тебя кто-то подослал, или, может, затаила зло на меня за прошлое? С чистым сердцем или...

— С чистым, с чистым, сестра! Никакого зла у меня на тебя нет. Не хватает сил терпеть больше, нет сил смотреть, как страдают, как умирают люди.

Катинка склонила голову. Внутренне она вся содрогалась от желания отомстить. Это желание кипело в ней и толкало на немедленные действия. Соломония

смотрела на Катинку и чувствовала, что в ее сердце тоже просыпается протест против этого бессмысленного замерзания в снегу, против этого страшного путешествия. Разве не дурманит он их призраком счастья, в то время как умирают люди, гибнут дети? А он сам? Разве мерзнет, как все? Не несут ли они ему лучшие из выпрошенных кусков, не отдают ли лучшую натопленную хату во время постоя? А молится ли он там? Нет, нет! Святой Иннокентий закрывается с Химой и новой мироносицей в комнате и всю ночь пьет и распутничает.

— Хорошо, подумаю, может что и сделаем. Только ты не говори никому о нашем разговоре, не то как узнают...

Катинка прижалась к Соломонии, словно к родной матери, давно потерянной и ныне найденной. А потом завернулась в кожух и легла рядом с Соломонией.

* * *

Погода резко изменилась. Дул холодный ветер, нес с собой снег. Над табором поднимался пар от таявшего у костров снега. Катинка выглядывала из-под кожуха, всматривалась в ночную тьму и с ужасом думала о завтрашних жертвах. Она не видела, как от дерева, под которым они с Соломонией лежали, отделилась фигура и побежала к саням Иннокентия. Человек перепрыгивал через сонных людей. Озирался по сторонам. Она не видела, как поднялся Иннокентий, молча натянул кожух, отошел с подбежавшим в сторону и долго о чем-то советовался. Не слышала, как Иннокентий сказал:

— Значит, завтра — только смотри, Семен.

Семен Бостанику кивнул головой и направился к тому дереву, возле которого спали Катинка и Соломония. Тихо подкравшись, он лег и завернулся в кожух.

Утром весь табор был под снегом. Из-под него вылезали уставшие люди и, разминая кости, готовились к походу. Кто ремонтировал порванные постолы, кто стягивал с мертвого свитку и натягивал на себя, а кто снимал с себя последние лохмотья и кутал в них ребенка. Матери рыдали над мертвыми детьми и растрепан-

ные бегали по лагерю. К Иннокентию подходили апостолы, шептались о чем-то, а он, спокойный и безразличный, слушал вой ошалевших людей. И только потом, когда все выстроились, он позвал к себе Семена Бостанику.

— Брат мой, душа христианская без похорон не должна предстать перед престолом божьим. Оставайся здесь и похорони верных детей моих. Отслужи по ним панихиду и предай земле, как велит закон божий,— сказал он так, чтобы все слышали.

Семен низко поклонился и отошел в сторону.

— А чтобы ты догнал нас, возьми вон ту пару лошадей с санями.

Иннокентий оглянулся, разыскивая кого-то.

— А где же мои сестры, Соломония и Катинка?

Из толпы молча протиснулись к нему две женщины.

— Сестры мои! Бог велит вам остаться с братом Семеном, помочь ему в службе над мертвецами. Оставайтесь здесь и похороните детей божьих, коим не суждено было дойти до рая, уготованного верным рабам моим.

Махнул рукой — и толпа тронулась. Черно-серая лента потянулась в белые просторы степи и постепенно исчезла в балке. Семен повернулся к женщинам.

— Ну, сестры мои, давайте хоронить... Сносите мертвых в кучу.

И сам первый начал перетаскивать трупы, поглядывая на ослабевших Соломонию и Катинку.

Ветер крепчал. Неистовые порывы его бешено крутили снег, забивали им рот, нос, слепили глаза; словно сумасшедший, налетал он на согнутые фигуры, поднимал кожухи на головы.

Уставшая Катинка прислонилась к дереву. Безумными глазами повела вокруг, разыскивая Соломонию. Но из-за снежной пыли ничего не было видно. Где-то рядом кто-то захохотал, пронеслись мимо кони и чей-то грубый голос крикнул:

— Хороните лучше!.. Да и себя не забудьте!

«Что это? Кто выкрикнул такую нелепость — хоронить себя?»

Катинка протерла ослепленные глаза. К ней подошла Соломония.

— Ты здесь? Я тебя ищу... Семен удрал, оставив нас одних... Теперь мы пропали... пропали...

Катинка поняла все. Она безразлично, безвольно опустилась на снег, склонила голову. Желание бороться исчезло. Земля будто выскользнула из-под нее. Соломония нагнулась к ней:

— Не сиди... еще можем спастись... Пойдем быстрее к железной дороге... У меня есть деньги, поедем домой.

— Домой? Куда домой? У меня нет дома, нет хаты...

И вдруг поднялась и близко придвинулась к Соломонии. Задрала перед ней юбку и показала ноги.

— Видишь?

— Сифилис! — отступила Соломония.

— Сифилис. В раю заразилась... Теперь мне некуда идти, гнилой,— почти безразлично сказала Катинка. И снова, словно чужим голосом, отозвалась:

— Слушай, Соломония... прости, это я толкнула тебя на грех. Без меня бы ты спаслась, а так... Но ничего, ты спасешься. Дойдешь до первого села, доедешь на подводе до железной дороги, а там... обнимешь родную землю.

Катинка села на снег, достала из-за пазухи узелок и подала Соломонии.

— На, может, не хватит у тебя на дорогу... возьми.

Соломония машинально взяла узелок. Катинка встала, сняла кожушок и накинула на Соломонию.

— Оденься, сестра, и иди. А мне... одна дорога...— Она указала на снег.— Иди, иди, сестра, иди... Прощай.

И, повернувшись в противоположную сторону, громко зарыдала и побежала в степь. Соломония пошла дорогой. Но брела бессознательно, так же бессознательно придерживала одной рукой кожух на плечах и шептала:

— Прощай, сестра... прощай, Катинка.. Прощай.

И, словно сочувствуя Соломонии, холодный ветер вздыхал ей вслед:

— Прощай.

Поход Иннокентия совершался в неизвестном направлении. Миновали какие-то села, снова вышли в степь. Иннокентий сидел в санях и, покачиваясь, дремал. Толпа покорно шла за ним.

Но вот колонна остановилась. Иннокентий проснулся, вылез из саней.

— Кто тут? Кто останавливает поход божий и стоит поперек пути?

— Дорогу, отче! Арестантов ведем.

Иннокентий сурово оглядел молодого солдата — старшего из конвоя.

— Дорогу мне, дети диавола, слуги нечистого царя! Дорогу дайте духовным отцам царя небесного.

Конвоир растерянно потоптался на месте и невразумительно пробубнил:

— Не знаю, отче, мне приказано не сворачивать ни перед кем... Так что сверните с дороги, пропустите арестантов.

— Как? Как ты сказал? Ты знаешь, кто я? Я царь царей, дух божий и своей рукой покараю тебя.

И он ударил солдата наотмашь. В то же мгновение в воздухе что-то сверкнуло, обожгло Иннокентию правое плечо, и перед ним, тихо вскрикнув, повалился один из паломников. Голова его была рассечена пополам острой саблей. Он принял удар на себя. (Иннокентий узнал об этом только погодя, когда отошли от места происшествия.) Тут же толпа дико взревела и бросилась к солдатам, которые стали в каре и взяли наизготовку оружие. Спасая положение, Иннокентий, стоя на санях, громко призвал паломников подчиниться и пропустить солдат.

Этот случай не прошел бесследно. Увидев, как Иннокентий отступил перед солдатами, толпа стала сомневаться в его святости. И уже на десятый день похода он услышал открытый ропот паломников. Под вечер дорогу ему преградила делегация и потребовала выслушать ее. Вперед вышел замызганный, лохматый монах и смело посмотрел на Иннокентия:

— Отче, мы хотим спросить тебя, куда ты ведешь нас? Где конец нашим мукам, где же рай, обещанный

тобой? Сотни умерли уже в дороге, отморозили руки, ноги, многие сошли с ума, а где конец?

— Ты что, бунтуешь? Против бога бунтуешь?

— Подожди, не кричи, отче. Не бунтуем мы, но только и тебя нужно спросить, зачем брал нас с собой? Зачем мы бросали свои кровли и шли на муку?

В этом смелом выступлении Иннокентий почуял угрозу. Он понял, что монах так дерзко не мог говорить от своего имени. Перед глазами вдруг промелькнули все пять вех на его рискованном пути к цели. Он тихонько толкнул Герасима в плечо и шепнул что-то на ухо. Затем, встав на сиденье, обратился к паломникам:

— О маловеры! Маловеры и ехидны! За то, что упрекаете,— брошу вас в снегу, и делайте, что хотите. Проклинаю вас именем бога, проклинаю на веки вечные и отлучаю от церкви. Будьте вы прокляты трижды и двенадцать раз! Будьте вы прокляты на этом и том свете! Отдаю души ваши на вечный огонь дьяволу, а сам полечу к отцу своему небесному!

Поднял руки над головами устрашенной проклятиями толпы. Широкие рукава рясы, как крылья, простерлись в воздухе. Иннокентий замахал ими. Кони рванули и понеслись вперед, сбив с ног передних. Испуганная толпа упала на колени и заревела. Но Иннокентий не остановился, он летел на небо, как сказал верующим. Однако за сани уцепился тот самый взлохмаченный монах, что разговаривал с ним. Когда же кони вынесли Иннокентия в поле, монах взобрался на сани, встал во весь рост и схватил беглеца за горло.

— А-а-а!— дико ревел монах.— Вот я тебя и поймал, супостат! Вот когда ты попался мне в руки!

Монах повалил Иннокентия, занес над ним блестящий нож и сильно ударил, целясь в грудь. Взбешенный, монах не заметил, что вместо Иннокентия дико вскрикнула молодая мироносица, бросившаяся спасать его и попавшая прямо под нож. Нож до половины вонзился в ее голову и сломался. Окровавленная, она упала в снег. В то же мгновение Герасим ударил монаха чем-то тяжелым по голове. Монах потерял сознание.

Иннокентий выскочил из саней и склонился над ним.

— Василий... Синика...— прошептал он посиневшими губами.— Герасим, бери его и клади на снег.

Герасим взял Василия за руки, выволок его на снег. Затем оттащил молодую мироносицу, вытер кровь на санях и присыпал кровавые пятна на дороге. Иннокентий велел поворачивать назад, к толпе. И только он показался перед ней, как та заревела навстречу:

— Осанна тебе, осанна тебе, сын божий!

Иннокентий стал на передок саней и обратился к паломникам сурово и коротко:

— Счастье ваше, что у меня мягкое сердце. Прощаю вас. Идите за мной и слушайте меня.

Двинулся снова во главе покоренной стихии.

Подходили к Каргополю. Иннокентий собирался отправить службу в здешней церкви и несколько обновить состав своих паломников, пополнить запасы даров, отдохнуть немного и поднять дух у ослабевшей толпы. Это было крайне необходимо, ибо он уже боялся истерзанной массы. Но великий мошенник ошибся, он недооценил значения своего выхода из Муромского монастыря. Отец Меркурий связался с Петербургом, и ближайшие к Муромску «власти» получили приказ немедленно, как только появится Иннокентий на территории какого-либо города, арестовать его, а толпу разогнать. В Каргополе его уже ждали. Только он вступил в город, как заметил опасность. На улицах не было никого, кроме вооруженных полицейских. На перекрестках стоял военный патруль. Иннокентий почуял беду, хотел незаметно выйти из города, углубиться в степи, ближе к станции Няндома. Но к нему быстро подошел патруль во главе с молоденьким офицером. Офицерик вежливо, но сухо обратился к Иннокентию:

— Не сопротивляйтесь, отец, а следуйте в полицию. И помните, стоит вам сделать одно движение или обратиться к своим паломникам — я прикажу стрелять.

Иннокентий оглянулся на толпу, но офицерик опередил его намерение командой:

— По врагам веры, царя и отечества, взвод...

Солдаты вскинули винтовки. На Иннокентия глянул ряд черных ружейных дул.

— Сдавайтесь — и ни слова,— еще раз предупредил офицер.

Иннокентий опустил голову.

— Взвод, к ноге! Окружить арестованного. Шагом... арш!

Звякнув шпорами, офицерик повернулся и пошел впереди конвоя. Жандармы преградили путь дезорганизованной толпе и погнали всех на сборный пункт воинского начальника.

В полиции уже ждали Иннокентия. Сухощавый исправник зло посмотрел на него и ехидно сказал:

— Комедия окончена, отец. Конец комедии, слышите?

Он присел к столу, взял бланк для протокола допроса преступников и размашисто вывел:

«Протокол допроса арестованного инока Иннокентия, самовольно покинувшего Муромский монастырь.

1913 года, февраля 29 дня, г. Каргополь.

Задержанный сего числа преступник — монах Иннокентий, самовольно покинувший Муромский монастырь и разгромивший его, на допросе, в присутствии чинов полиции засвидетельствовал...»

Дальше он не смог ничего записать. Иннокентий категорически отказался отвечать полиции. Он заявил, что чистосердечно раскаивается и желает признаться во всем только духовным властям. Исправник велел заковать его в кандалы и отправить в петрозаводскую тюрьму в распоряжение духовных и светских начальников. Пять вех на пути к золотой митре бессарабского князя церкви были окончательно разрушены.

Жандармы, полиция, солдаты окружили толпу и загнали ее во двор сборного пункта. Наутро прибыли полицейские власти. Начали расспрашивать, кто откуда. Группировали по губерниям и уездам, распределяли по эшалонам и под конвоем препровождали на ближайшую станцию, где их ждали «теплушки». В вагон помещали шестьдесят-семьдесят человек и в сопровождении полиции отправляли домой. Домой, где уже не было ни хозяйства, ни семьи, где уже и имена многих были забыты.

16

Город Петрозаводск узнал о необыкновенном узнике задолго до того, как его должны были туда доставить. Редактор местной газеты хотел немедленно поместить фотографию Иннокентия в газете и сообщить общественности о разоблачении новых подкопов под

основы христианства. Об этом он телеграфировал олонецкому губернатору. Но получил оттуда суровый и краткий ответ: «Категорически запрещаю писать о происшествии». Губернатор адресовал телеграмму не редактору, а петрозаводскому исправнику, а в конце ее приписал магическое: «Местной полиции наблюсти исполнение». Редактор же прочел телеграмму в управлении местного исправника, куда его вызвали для ознакомления с этим делом. От себя местный исправник добавил:

— Имейте в виду, что синод не желает разглашения, и я должен выполнить приказ. Ваше же дело — оградить себя от штрафа и ареста.

О дне прибытия знаменитого преступника в Петрозаводск знали только исправник, жандармский полковник и начальник тюрьмы, куда доставили Иннокентия поздно ночью. Но уже на следующий день с самого утра мимо тюрьмы начали сновать одинокие горожане, которым хотелось хоть одним глазком увидеть великого авантюриста. Среди любопытных преобладала городская беднота, а к вечеру у постоялых дворов заскрипели крестьянские повозки.

Известие о том, что великий бессарабский святой попал в тюрьму, молнией облетело села. Оттуда потянулись на поклон к «праведнику» караваны подвод, вереницы верующих.

Это обеспокоило начальство. Петрозаводский исправник и жандармский полковник приказали немедленно окружить город вооруженными жандармами и полицейскими.

Но ничто не могло остановить верующих. Толпы паломников наводняли окраины города, выражали недовольство начальству, скапливались вокруг церквей в селах и требовали от своего духовенства идти походом со святынями к властям, просить разрешения увидеться с Иннокентием. Духовенство колебалось, отказывалось. Но взвинченная паства церкви Христовой настаивала на том, чтобы силой пробираться в город. Произошло несколько резких стычек жандармов с христианами, и, ясное дело, пострадали христиане.

Напуганный исправник Петрозаводска позвал к себе викарного епископа и предложил повлиять на узни-

ка, чтобы тот сам помог начальству прекратить паломничество верующих.

— Скажите ему, что если он поможет нам, мы будем более снисходительны. Если же он не согласится — немедленно ушлем в Сибирь.

Епископ не возражал. Так как он не был лично заинтересован в деле, то, не откладывая визита, поехал в тюрьму. Архипастырь вошел в камеру. На кровати, роскошно убранной, лежал средних лет представительный мужчина, с черной бородой и сверкающими глазами. Полнокровное лицо дышало здоровьем и энергией. В камере было чисто, на столе стояли различные закуски и несколько бутылок вина.

Архипастырь разочарованно остановился: он думал, что увидит узника в кандалах, а попал будто в роскошно обставленный кабинет веселого по натуре молодчика.

Вместо покорного, угнетенного узника перед ним был сильный, откормленный, румяный и самоуверенный сорвиголова в монашеской рясе.

— Ну, что скажете, отче? Зачем пришли? — не вставая, спросил Иннокентий.

Петрозаводский владыка внимательно оглядел узника, камеру... Но вдруг стал суровым и сказал:

— Дурным привычкам тебя научили, инок: не встаешь, когда с тобой говорит старший, с епископом разговариваешь, словно с пастухом каким.

Иннокентий медленно поднялся с кровати.

— А-а, прошу садиться. Говорите, чем могу служить вашему преосвященству?

Архипастырь подошел ближе и сел напротив.

— Хватит, — отрывисто произнес он. — Ты стоишь на краю пропасти. Православная церковь терпелива и милостива, но не нужно злоупотреблять этим.

— Не понимаю, — откровенно сказал Иннокентий.

— Ну, так пойми же: твоим чудесам наступил конец. Святейший синод строго приказал не отпускать тебя, а после допроса — судить и выслать в Сибирь. С этим я и пришел сюда.

Иннокентий побледнел. С тех пор как его арестовали в Каргополе, прошел месяц. Он все же успел передать кое-что через мироносиц и апостолов, приказал им обратиться за помощью к отцу Амвросию в Балту и

к отцу Серафиму в Каменец-Подольск. И уж совсем было успокоился, зная, что помощь прибудет и через некоторое время его отпустят или, самое худшее, сошлют в какой-нибудь монастырь... Но Сибирь?! Он тупо взглянул на архиепископа и принялся машинально перебирать четки. В мыслях промелькнули вехи от Бессарабии до трона, оттуда — обратно до митры кишиневского архипастыря. Но только вехи эти вдруг изменили цвет и стали полосатыми дорожными указателями в Сибирь...

— Да, да, монаше... Всему приходит конец в этом меркантильном мире,— помолчав, сказал архипастырь.— Но ты можешь исправить положение...

Надежда блеснула в глазах Иннокентия.

— Как? Что я должен сделать, чтобы оправдаться перед церковью?

Наглеца как не бывало. Перед владыкой сидел униженный раб, готовый к послушанию.

— Отче, помогите, век благодарен буду.

— Я не нуждаюсь в твоей благодарности, монаше. Я всегда помогаю людям. А тебе... Но хватит философии. Я устал. У меня к тебе дело есть. Останови поход в Петрозаводск, верни паломников назад, пусть они не беспокоят начальство, и ты получишь снисхождение во время суда. Вот и все. Прощай.

Он повернулся и пошел к выходу. И уже открыв дверь, бросил Иннокентию:

— Способ остановить людей подыщи сам. Только поскорее. От этого зависит судьба твоя.

Иннокентий остался один. Долго сидел неподвижно на скамье, смотрел на цветок в узоре ковра, а затем встал, прошелся по камере.

— Так... Всему приходит конец на этом меркантильном свете,— нахохлившись, грустно повторил он слова владыки.— И мне конец... Конец!

Еще раз подумал, не отрекутся ли от него отец Амвросий балтский и отец Серафим каменец-подольский. Чем дольше думал, тем большую безнадежность чувствовал и тем сильнее жаждал защиты двух влиятельных князей церкви.

Затем он постучал в дверь, крикнул надзирателю:

— Передайте начальнику тюрьмы, что я хочу его видеть по срочному делу.

Вскоре его вызвал начальник тюрьмы.

— Чем могу быть полезен, ваше преподобие? Не хотите ли дать показания? Тогда я приглашу сюда его преосвященство и прокурора.

— Желаю говорить с господином исправником по неотложному делу. А также с епископом.

Через полчаса исправник был в кабинете начальника тюрьмы и диктовал текст воззвания к мирянам, которое должен был подписать Иннокентий. В воззвании говорилось, что враги церкви Христовой и враги престола царского распространяют слухи, будто в петрозаводской тюрьме заключен святой пророк. Однако выдавать себя за святого — смертельный грех. Заканчивалось воззвание словами:

«И я, смертный грешник Иннокентий, инок, преступивший законы веры Христовой, по заслугам заключен в крепость и ожидаю суда. Молю и прошу вас, братья, разойтись по домам, не причинять хлопот начальству и себя не утруждать, чтобы не согрешить перед богом и не провиниться перед отцом нашим, царем православным».

Текст отредактировали. Иннокентий поспешно подписал его и вздохнул с облегчением. Затем обратился к исправнику:

— Могу ли я рассчитывать на милосердие суда? Я сделал то, что мне предложили.

— Будет видно... посмотрим. Дадим воззвание на утверждение преосвященному, там посоветуемся...— и вышел.

Иннокентий побледнел, прислонился к стене.

Всему приходит конец на этом меркантильном свете... Вот он и конец... власти... почету... деньгам...

В этот момент в кабинет вошел викарный с воззванием в руках.

— Сын мой,— сказал владыка,— ты поступил правильно. Терпи и не падай духом. У тебя еще есть защитники.

И он подал Иннокентию зеленый конверт. Это был любимый цвет отца Амвросия балтского. Иннокентий разорвал конверт и вынул письмо.

«Обо всем знаю. Сделаю, что в моих силах. Викарный Петрозаводска — мой старый друг и не захочет

причинить мне неприятность. Я уже написал ему об этом. В дальнейшем нужно держаться пристойно, уверенно. Вскоре приеду сам. До тех пор показаний не давай.

Амвросий балтский».

Иннокентий радостно потер руки.

— На все воля божья. Отдаю дух мой в руки ваши.

Он поклонился и пошел к себе в камеру.

Через неделю отец Амвросий приехал к петрозаводскому владыке. Перед свиданием с Иннокентием он навестил следователя духовной консистории, жандармскую управу, прокурора и, собрав сведения, пошел к узнику. Ему стало ясно, что обращаться в синод не стоит. Решил хлопотать об одном — о переводе Иннокентия в Соловецкий монастырь.

С этим он и пришел к узнику.

Иннокентий встретил балтского епископа с великой радостью. Несмотря на это, отец Амвросий сразу обратился к нему с резкой отповедью:

— Ну, я же говорил, отче, что ты пастух! Разве не так? Что же теперь?

— Как?! Вы же писали, что...

— Писал, писал! Я не слышал всего, здесь только довелось узнать! Бандитом стал, отче! За это — пожизненная каторга, если все станет известно.

Отец Амвросий устало сел напротив Иннокентия.

— Ну, рассказывай, отче, сам. Хочу еще от тебя услышать. Но только правду говори, как было.

Иннокентий стал рассказывать. Отец Амвросий как на клубок наматывал все события, чтобы потом распутать эти яркие нити преступлений и разврата святого инока и сплести из них оправдательный приговор ему и... себе. А когда монах окончил, отец Амвросий сурово сказал:

— Единственный путь — это раскаяние и отречение от всего. Нужно не допустить сюда синодальных следователей, выбить у них почву из-под ног — самому составить на себя обвинение и использовать его для оправдания. Кто кается, того церковь не судит и не наказывает.

Он вышел от Иннокентия и в коридоре сказал следователям консистории:

— Грешник кается и просит исповеди, чтобы при-

знаться во всех своих преступлениях. Я всегда знал его как истинного и верного сына церкви Христовой. Только болезнь, которую признали и синодальная и врачебная комиссии, толкнула его на богохульство. К нему следует послать, кроме духовников, еще и врачей.

Но суд и исповедь отложили. Только в июне отца Амвросия вызвали в Петрозаводск в качестве свидетеля по делу Иннокентия. 30 июня 1913 года в тюремной церкви собрались князья, черно- и белоризцы, слушать исповедь и судить еретического инока Иннокентия Балтского, описание преступных дел которого составили несколько томов. Но Иннокентий все же опередил их, выступив с раскаянием и декларацией своего отношения к православной церкви.

Эту декларацию он представил суду в письменной форме. В ней Иннокентий писал:

«Откровенно перед всеми, а особенно перед обманутой и введенной в заблуждение темной массой верующих, заявляю, что с божьего попущения и с дьявольского наущения я вступил на гибельный путь и без сомнения, чести и жалости обманывал моих духовных детей долгие годы. Признаю свои мерзости перед церковью божьей, перед которой я провинился, назвавшись сыном и духом божьим и его именем обманывал и довел до гибели много жертв, что слепо верили в меня».

Далее он приводил ужасающие примеры своего мошенничества, бесстыдной, безжалостной эксплуатации сотен и тысяч мирян, писал о своих преступлениях против темной забитой массы, против обманутого и угнетенного бедняцкого молдавского села, против сотен тысяч эксплуатируемых и угнетенных людей. Откровенно и бесстыдно признавался, как на протяжении многих лет — 1908—1913 — непрерывно вымогал имущество и подрывал здоровье своих мирян в угоду «плоти своей, что от дьявола». И заканчивал тем, что отрекается от своей «ереси» и просит возвратить его в лоно православной церкви.

В этой декларации, составленной с иезуитской хитростью, все было представлено так, что в чудовищных поступках виноват не сам Иннокентий, а дьявол, жертвой которого он якобы стал. И заканчивалась декларация так:

«Тени несчастных, умерших в дороге от холода и

голода, встают передо мной и терзают душу мою, напоминают о многочисленных преступлениях, которые я совершил против своего народа.

И поэтому прошу простить мне все, а главное то, что, будучи слепым сам, завел и себя и тысячи других в темную бездну грехов. А еще простить мне то зло, что я причинил мирянам, забыть все преступления и беспутные слова мои, и прошу мирян подчиняться единой церкви православной и ее пастырям. Пусть и впредь не будет такого обмана. Аминь.

Иеромонах Иннокентий».

Приняв такое покаяние, синедрион князей церкви по инициативе олонецкого епархиального начальства, при помощи Амвросия балтского и Серафима каменец-подольского, решил не возбуждать шумного дела, а представить Иннокентия синоду как жертву навязчивых идей, как страдающего манией величия, который не является опасностью ни для церкви, ни для престола. Они предлагали отправить Иннокентия куда-нибудь на житие, но не лишать его духовного сана, ибо он уже обратился на путь истинный.

Синод, занятый ересями и разбродом в церкви — делами Иоанна Кронштадтского, бандита Илиодора, зловещего Распутина,— решил избежать еще одного скандала и согласился с решением суда в Петрозаводске. Согласился и приговорил:

«Инока Иннокентия выслать в Соловецкий монастырь на покаяние, а дело прекратить».

Иннокентий, попрощавшись с защитниками, забрал мироносиц и выехал каяться на Соловецкий остров.

17

Соломония, оставив Катинку в степи, бросилась догонять иннокентиевскую орду. Не останавливалась, не присаживалась ни на миг, все шла и шла, словно силы ее не только не истощались, но и пополнялись. Спешила пустой холодной степью к жилью, к людям, к свету.

Соломония не может, не хочет больше слушать завываний метели, в которых ей чудится предсмертный дикий плач Катинки, страшные стоны жертв иннокентиевского богомолья.

Но что это? Что она видит? Кто это стоит, шатаясь на дороге? Стоит и тоскливо, жалобно просит о чем-то? Не душа ли это несчастной Катинки вышла на страшный суд? Но прочь отсюда. Прочь, дальше от страшного привидения. Прочь! Прочь!

Однако ноги не слушаются. Почва уходит из-под ног, и она валится на снег перед самым привидением. Оно не трогает ее, а наклоняется и о чем-то спрашивает. Соломония прислушивается и узнает человеческую речь.

— Помоги... Голова болит, раскалывается... Помоги, кто ты?

Соломония поднимается и видит над собой окровавленное лицо. Кровь на бороде, волосах, на одежде.

— Кто ты, человек? Чего тебе нужно от меня?

— Кто я? Я участник похода Иннокентия. Он убил меня... но я ожил... чтобы отомстить ему за обиды людские... за свои обиды. Помоги мне выйти... я догоню его.

Соломония поднялась и присмотрелась к человеку.

— Кто ты? Как тебя зовут?

— Я? Я несчастный отец, потому что у меня украли ребенка. Я несчастный муж, потому что у меня украли жену. Я потерял покой, лишился жизни — все забрал Иннокентий. Я — Василий Синика, из Липецкого.

— Василий Синика? Сосед Мардаря?

— Да... Сосед Мардаря.

Соломония немного пришла в себя.

— Пойдем быстрее. Быстрее пойдем.

Взяв Синику за руку, Соломония двинулась вперед. Шагала осторожно, присматривалась, чтобы не заблудиться. Синика шел рядом, опершись на ее плечо. Он шатался, терял сознание, падал. Соломония поднимала его и изо всех сил тащила дальше. В ней горело страстное желание вырвать этого человека из рук смерти и вместе с ним догнать Иннокентия, отомстить за все, что вытерпела, выстрадала, начиная от Добруджского монастыря до этой дикой, неприветливой степи. Всякий раз, когда Синика слабел и падал, она натирала ему виски снегом, дышала на руки, грела их под кожухом и принималась снова тащить его.

Наутро впереди показались избы города Каргополя. Соломония осмотрела Синику с ног до головы:

— Мэй, Василий, нельзя вам так в город входить. В таком виде полиция нас задержит.

Слово «полиция» вернула Синике сознание. Он осмотрел себя. Действительно, в окровавленной монашеской рясе нельзя было появляться в городе.

Соломония сняла с себя кожух и надела его на Василия. Снегом вымыла ему лицо, и уже через полчаса в город входила странная пара: мужчина, лицо которого было бледно-зеленого цвета, и женщина, крайне истощенная, бледная, словно с креста снятая. На первой же улице они взяли извозчика и поехали на постоялый двор. Здесь, в номере, Соломония спросила Синику, как он попал к Иннокентию и как оказался один в снежной степи, да еще избитый. Василий, теперь уже вымытый, побритый, в чистой одежде, тяжело вздохнул и хмуро ответил:

— Если ты в самом деле пойдешь со мной против Иннокентия — расскажу тебе все. Но помни, это смертельная тайна. Поклянись мне, что никому не скажешь — кто я, откуда.

Соломония встала и торжественно произнесла:

— Клянусь тебе всей ненавистью к тому, кто искалечил мою жизнь, мою душу, что я до конца дней своих не отрекусь от союза с тобой и никогда не скажу ни кто ты, ни откуда, ни где я тебя видела. Аминь.

Синика выслушал спокойно, затем лег в постель и устало, словно сквозь сон, сказал:

— Соломония, слушай: у меня была жена — ее нет, Иннокентий забрал; у меня был сын — его нет, Иннокентий забрал; я убил свою жену за то, что родила сына от Иннокентия. Я женился второй раз, ушел из дому. Я сделал так, что люди подумали, будто я утонул в Буге, в Вознесенске. Одежду я оставил на берегу. Потом я слышал, что эту одежду отослали жене и она живет теперь в моем доме, воспитывает сына... не моего, а Иннокентия. А я вот хожу за ним, чтобы перерезать ему горло. Я уже не Василий Синика, а Степан Маркович Луценко. За бумаги триста рублей дал. Вот и все.

Он устало закрыл глаза и крепко уснул. Соломония сидела рядом и смотрела на его лицо, покрытое глубокими морщинами. Ей жаль было его и себя... и Катинку.

Окрепший Синика проснулся рано. Удивленно посмотрел на Соломонию. Она неподвижно сидела возле него, бледная, с затуманенным взором. Он встал с кровати и пошел умываться. Вернулся, а Соломония все сидела и молча смотрела на кровать, где раньше лежал Синика. Он тронул ее за плечо:

— Умойся, Соломония, освежи голову.

Она посмотрела на него. Взгляд был холодный, мутный, безразличный. В нем было мертвое, тупое равнодушие ко всему.

— Голова? Чья голова? Разве ты не знаешь, что у меня гвоздь в голове сидит? У меня уже нет головы. У меня старая бадья на плечах, а в ее днище гвоздь вбили... Га-га!

Она нагнула голову и показала на темя.

— Вот здесь вбили мне гвоздь... Катинка приходила вытаскивать его, но замерзла она. Мой сын приходил вытаскивать, но ручонки маленькие у него, не мог вытащить. Иннокентий приходил вытаскивать, да еще глубже вбил. И теперь сидит этот гвоздь вот тут. Я веселая сегодня. Я за него замуж выхожу. Ты знаешь моего жениха?

Соломония не вынесла всего пережитого. Теперь, когда она отогрелась в теплой хате, когда прошло напряжение и миновала опасность умереть среди снегов, ее разум помутился. В голове все перепуталось. Далекие картины детства, райское блаженство с Иннокентием, затем другой «рай», путешествие в Муромский монастырь, побег оттуда, смерть десятков людей, самоубийство Катинки — все это смешалось, и она потеряла ощущение реальности.

Синика со страхом смотрел на Соломонию. Он колебался: бросить сумасшедшую или взять с собой. Но, узнав об аресте Иннокентия, решил не оставлять несчастную. Нанял подводу и, одев Соломонию, поехал с ней к поезду. Соломония не сопротивлялась.

В дороге она не причиняла ему хлопот. Тихо сидела в вагоне и чему-то улыбалась. Иногда ласково обращалась к Синике и снова предавалась грезам. Только на одной из станций, где их поезд догнал эшелон паломников, отправленных домой, услышав молдавскую речь, она вдруг насторожилась и задрожала. Что-то пробудилось в ее сознании. Она рванулась к двери, но

тут же села и тихо запела молдавскую песню. По дороге в Одессу к Соломонии иногда возвращалось сознание, и она рассказывала Василию об Иннокентии многое такое, чего он даже и не подразумевал. Он узнал от нее, что его «порезали» в Одессе по приказу Иннокентия, который давно затаил зло за украденные деньги и хотел отомстить Синике за разрушенные тогда планы в Добруджском монастыре. Иннокентий потому и Домаху принял, что хорошо знал, чья она жена. Он хотел, чтобы у нее был ребенок от него, Иннокентия. Так она поведала Синике историю балтского инока. Он ловил каждое ее слово и следил за тем, чтобы их разговор не услышал кто-либо из посторонних.

И чем ближе подъезжал Синика к Одессе, тем больше беспокоился о больной. В Одессе он поместил ее у знакомых, а сам принялся за дела. Повертелся вокруг «рая» разузнал, что Иннокентий в Соловецком монастыре, расспросил, кто из райских мужей остался с ним, Иннокентием, а кто — в Липецком, и окончательно осел в Одессе, чтобы, отдохнув, снова начать мстить.

18

Арест Иннокентия, суд в Петрозаводске и ссылка его в Соловецкий монастырь, а больше всего его декларация, словно громом, поразили «раян». К этому времени «рай», который назывался Гефсиманским садом, превратился в громадный подземный лабиринт. Число пещер увеличилось. Они протянулись под землей на два с половиной километра в длину и на полтора в ширину. Построенные в два этажа, пещеры могли вместить восемь тысяч человек.

Правил монастырем по-прежнему брат Иннокентия, Семеон. Он стал настоящим подземным князем: имел множество слуг, большие доходы, за счет которых были окончательно улажены дела с балтской и ананьевской властями. Он уже мечтал распространить влияние Гефсиманского сада и дальше на Бессарабию — основать свой собственный монастырь, за которым бы присматривал младший брат Марк.

Случившееся с Иннокентием разрушило планы Семеона. Теперь нужно было выручать Иннокентия, ибо

на нем держалась его власть над тысячами темных, обманутых людей. Он понимал, что крах Иннокентия в Петрозаводске мог привести к переменам и здесь, мог заставить Станислава Эдуардовича не быть в дальнейшем снисходительным к Гефсиманскому саду. Поэтому-то он в первую очередь перевел богоматери Софии солидную сумму на киевский банк и просил ее не приезжать в Липецкое, а оставаться в Киеве. Сам же немедленно отправился к отцу Амвросию за советом закрывать монастырь или нет?

— Если хочешь побывать на каторге — закрывай. Православный монастырь живет не лаской вахлаков, а лаской божьей, и он будет стоять вечно. Не твоего ума то, о чем бог судит. Езжай домой и правь дальше, как стану указывать. Сам ничего не делай, спрашивай обо всем меня,— решительно и категорически сказал архипастырь.

Семеон возвратился в Липецкое, успокоенный разговором с владыкой. Собрав апостолов и мироносиц, он сказал:

— Братья и сестры! Святой Иннокентий — брат мой — остался в столице. Царь не хочет отпускать его сюда, потому что сам очень болен. И сын его при смерти. А как только выздоровеет царь, встанет на ноги его сын, дух святой Иннокентий, прибудет к нам. Идите и говорите народу великую радость — святой Иннокентий у царя сейчас, он выпрашивает у него волю нашей церкви и вере нашей.

Это известие прибавило сектантам новых сил. Они развернули такую деятельность, какой не знал монастырь даже во времена правления самого великого авантюриста. Забитые, обездоленные люди слепо верили, что Иннокентий добьется у царя-ымпэрата облегчения для молдавского народа: выпросит свободу веры, выхлопочет льготы по налогам и запретит урядникам, стражникам и чиновникам грабить их — наступит лучшая жизнь для горемычных.

Движение постепенно перебросилось за границу, в Румынию, в села и хутора, где хозяйничали румынские бояре. Снова потянулись вереницы паломников в «рай». Двигались, гонимые верой, что по другую сторону Прута родился царь царей, король королей Иннокентий, который основал молдавское царство угнетенных, соби-

рает всех обездоленных под свое покровительство и восстает против господства жестоких бояр. Люди собирались на границах. Все чаще ночью над Прутом раздавались выстрелы, целые вереницы паломников переходили реку, стремясь в Россию, к своему бедняцкому царю. Шли из Валахии, Мунтении, выпрашивали паспорта на право выезда, переходили без разрешения границу, гибли, пристреленные румынской или русской пограничной стражей.

В Галицию тоже проникли слухи, взбаламутили цесарево «стадо» двуединой монархии. Зажглись и там сердца надеждой. Двинулись из-за Карпат караваны богомольцев. Кто с паспортом, с бумагами, а кто и просто без них, надеясь как-то проскочить через границу к царю царей, королю королей. Навстречу неведомому счастью двинулись к границам и сигетские крестьяне. Обманутые словаки, русины, гуцулы продавали за бесценок нищенские пожитки и устремлялись к царю царей.

Безумство ширилось, влекла перспектива будущей радостной жизни под защитой царя царей Иннокентия. Увеличивалось число людей в «раю», увеличивались и доходы брата Семеона, заменявшего Иннокентия. Он отправлял возы с добром на окрестные базары, во дворы Станислава Эдуардовича, архипастыря балтского отца Амвросия и архипастыря каменец-подольского отца Серафима, ко двору губернатора каменецкого и... кишиневского владыки отца Серафима, который прекратил борьбу с Иннокентием.

Все это не прошло мимо внимания румынских и австрийских властей. Российскому правительству была вручена жалоба румынского правительства на то, что в пределах Российской державы ведется антигосударственная пропаганда по отношению к престолу его королевского величества. Произведенное по этому делу следствие установило виновника. Обер-прокурор святейшего синода получил соответственные указания, а игумен Соловецкого монастыря — бумагу:

«Предлагаем под страхом суда и ссылки в Сибирь решительно запретить Иннокентию встречаться с верующими, а также выпускать его хотя бы на час за ворота монастыря. Отвести Иннокентию отдельную келью с отдельным двором и поручить духовнику, од-

ному, и то надежному человеку, видеться с ним и вести душеспасительные беседы. На общие трапезы, исповеди или причастия — не пускать.

ОБЕР-ПРОКУРОР
«СИНОДА ПОБЕДОНОСЦЕВ»

Конец. Иннокентий окончательно и прочно заперт. Братьев, мироносиц, верующих, которые пришли за ним на Соловецкий остров и поселились в Архангельске и его окрестностях, выловила полиция и отправила по этапу в Киев.

Семеон получил письма от Герасима и Семена Бостанику, в которых сообщалось о возвращении паломников из Муромска. Хима и Анна также извещали, что их вместе с паломниками выпроводили из Архангельска, и спрашивали, можно ли паломникам возвращаться в Липецкое — к тем, кто не знал действительного положения вещей.

Это известие доставило брату Семеону много хлопот. Он понимал, что слава Иннокентия держится здесь только потому, что его судьба не известна, никто не знает о его аресте, о суде, воззвании. Свидетели же ареста, измены и позора подорвут его авторитет. Поэтому он поспешил к отцу Амвросию и поделился с ним своей тревогой.

— Ни одного в «рай» не пускать,—резко сказал владыка.— Останови их в Киеве. Направь в Почаевскую лавру, пусть там осядут, а не здесь.

А через минуту передумал:

— Нет, так не годится. В Каменец-Подольск их. Там их будут держать в этапной тюрьме и выпускать поодиночке. В Кишинев пойдут. Не беспокойся. Поодиночке не страшно.

Семеон связался с братом Марком в Каменец-Подольске, с матерью Софией в Киеве, и этапные поезда пошли в Проскуров, Кишинев, где паломников освобождали из-под ареста и отправляли по домам.

Герасим Мардарь, Семен Бостанику, мать София и брат Марк, покончив с делами, выехали в Липецкое.

Встреча произошла на станции Бирзула. Брат Семеон выслушал рассказ об аресте Иннокентия, суде, воззвании и сообщил о положении на месте. Все вместе сейчас же выехали в Липецкое. Там, в пещерах, со-

стоялся молебен в честь Иннокентия и его успехов при царском дворе. С проповедью выступил Семен Бостанику. Он сообщил мирянам, что царь силой забрал пэринцела Иннокентия, чтобы тот лечил его своей молитвой и воскресил его сына, а за это царь дарует волю их вере.

— Иннокентий вскоре приедет и привезет нам волю царя-ымпэрата. Царь обещал отдать под его святую руку молдаван.

— Осанна! Осанна! Осанна тебе, великий пророк Иннокентий! Осанна тебе, преотул чел маре! — кричала безумная толпа.

Семеон победил. Голодные, оборванные люди безгранично, слепо верили в могущество своего пророка, верили в то, что он спасет всех.

— Кайтесь! Кайтесь! — кричал брат Семеон. — Кайтесь, ибо будет война, голод, и вы не спасетесь нигде, кроме его обители, кроме как под высокой рукой царя царей Иннокентия. Он готовит рай тем, кто в него поверит.

Толпа каялась. Война... Это слово поражало сознание темного крестьянского люда, предвещало ему горе и страдание. Они знали, что война несет трупы, несчастье.

И вдруг... пророчество сбылось. Жатва была в разгаре, крестьяне пóтом истекали на своих наделах земли и на безбрежных просторах господских нив. С надеждой смотрели на сады, виноградники.

В Липецком ударил колокол. Раз, два... Еще и еще... Набат... Тревога...

— Не горит ли где? Пусть бог милует.

А колокол раз за разом гудел, словно во время пожара, предвещая страшное лихо, повальную смерть.

Люди бросали все и бежали к волости. Собирались там толпами, тревожно смотрели на дверь примарии.

Примарь, строгий и важный, вышел на крыльцо с бляхой на груди. В руках красная бумага. За ним прошли урядник, писарь. Примарь подождал пока угомонилась толпа, снял шапку и поклонился людям. Все тоже сняли шапки и замерли. Он кашлянул и торжественно передал писарю красную бумагу. Писарь начал читать:

«Божьей милостью, мы, Николай второй, император

и самодержец всероссийский, царь польский, великий князь финляндский и проч. и проч., объявляем всем нашим верноподданным, что всемогущий бог ниспослал святой Руси великое испытание. Коварный враг напал на Россию...»

Дальше был призыв стать к оружию под знамена «всемилостивейшего монарха» Российской империи в борьбе с «врагами и супостатами», за «веру, царя и отечество живот свой положити...» Но слова эти не доходили до сознания крестьян, зачарованно слушавших «бумагу». Только одно слово, одно страшное, до умопомрачения пугающее слово «война» уловили и осмыслили крестьянские головы. Уловили и по-своему его толковали — так, как пророчил им святой Иннокентий.

— Война!

Рев и стон поднялись в Липецком. Плач и рыдания потрясли хаты, где отец, сын или брат должны были идти «живот свой положити» за «всемилостивейшего монарха», именем которого урядники спускали последнюю шкуру с «инородцев»; где был кандидат на «мученический венец воина христолюбивой России». Мало кого не затронула эта весть.

Неспокойно в селе. Готовится крестный ход в «рай». Идут на богомолье мобилизованные, чтобы там за последний пуд зерна, за проданную свитку выпросить себе милосердие божье на войне.

Брат Семеон несколько позже получил известие о войне. Подумав, он позвал к себе апостолов и прочитал им манифест.

— Братья мои, наступили тяжелые времена. Теперь мы нужны в селах, где стоят плач и стон. И мы должны потрудиться на славу Гефсиманского сада, на славу Иннокентия, предсказавшего эту войну. Идите и вестите волю его и возвращение его. Нужно приумножить славу его. Идите.

С этим он отпустил апостолов, оставив наиболее близких — Семена Бостанику, Герасима Мардаря и Григория Григориана.

— Вам можно больше знать, чем остальным... Слушайте. Времена теперь настали такие, что придется беспокоиться не только о молитвах. В «рай» теперь нужно пускать не тех, кто дает копейки, а тех, кто на рубль хлеба съедает.

Иноки поняли. За первыми же полками, за первыми же обозами мобилизованных потянулись черноризцы с проповедями. Они сновали по селам, разносили «благость» Гефсиманского сада. Они вестили волю господню и одновременно подыскивали тайные квартиры, куда приходили те, кто мог рассчитывать на благость в «раю». Война нарушила границы, а поэтому монахи могли свободно попасть в Галицию, Румынию. Вскоре «рай» пополнился «героями» российской, австрийской, а спустя некоторое время и румынской армий. Дезертиры хорошо платили за убежище в темных пещерах Гефсиманского сада.

Брат Семеон отправлял Иннокентию в Соловецкий монастырь все более длинные послания. Он добился того, что Иннокентию разрешили переписываться, выезжать в Архангельск на два дня в месяц и поселить на острове мироносиц.

Впрочем, синод следил и за его безопасностью. Иннокентию упорно не разрешали принимать кого-либо из апостолов.

Но и на расстоянии Иннокентий почуял возможность угрозы. В июне 1916 года он в письме предупреждал брата Семеона, чтобы тот не принимал больше дезертиров из армии и по возможности выселил тех, которые там уже были.

«Опасные это люди, нестойкие,— писал он брату.— У нас будут неприятности с ними».

Но у Семеона была боевая натура. Он не обращал внимания на эти предупреждения. Дезертиров с поля брани, плативших за укрытие от «великой чести живот свой положити за веру, царя и отечество», становилось все больше.

* * *

1917 год. Год бурного взрыва гнева народного. Конец царизма. Предоктябрьская лихорадка затрясла матушку Россию. Она корчилась в конвульсиях классовых противоречий, ее распинали наследники самодержавия.

Гефсиманский сад воспринял эту новость с великим сожалением. Не стало царизма и его верного слуги Станислава Эдуардовича, которого убили бирзульские рабочие. Некому теперь защищать святую обитель. Не-

известность пугала. Буря со страшной силой пронеслась над «раем». Потрясла его, но не свалила. Великий пророк Иннокентий, освободившийся как «многострадальный мученик» за веру, подоспел вовремя.

19

Брат Семеон задумчиво ходил по келье. Вид у него был растерянный, в движениях чувствовалась нервозность. Казалось, на него набросили какую-то грубошерстную одежду, которая колола его, а он пытался ходить так, чтобы она не касалась тела.

В «раю» происходило какое-то движение. Правда, это были лишь слабые, незначительные его проявления, лишь первые признаки непокорности, но уже нечто такое, что могло распространиться, вырасти... Он знал и причину.

Некоторые паломники, ходившие в Муромский монастырь, все же возвратились в Липецкое, поселились вместе с новичками и дезертирами из армии. Очевидцы поражения Иннокентия склонны были думать, что встреча. Иннокентия в Каргополе и его арест — только дьявольское наваждение. И все-таки они видели, как Иннокентия повели в полицию и он не смог оказать сопротивления властям, подчинился слугам царя. Хоть и редко, но рассказывали об увиденном в кельях и тем вызывали сомнения в сердцах раян. Эти сомнения иногда высказывались вслух, а некоторые раяне ходили даже к отцам апостолам, спрашивали: может ли Иннокентий быть духом божьим, если не сумел оказать сопротивления какому-то десятку царских солдат и сейчас сидит в тюрьме по приказу ымпэрата? Отцы апостолы, как могли, доказывали непорочную святость Иннокентия, но почти всякий раз они приходили к мысли, что верующих им уже не переубедить. Дух неповиновения распространился и среди дезертиров из армии. Чем дальше, тем они все меньше подчинялись уставу пещерной жизни, чаще исчезали на несколько дней. Возвращались изрядно пьяными, приводили с собой проституток и развратничали, пели похабные песни. Встревоженные верующие собирались группами, обсуждали события, таинственно перешептывались.

Однажды возле пещеры № 967 случилось следующее. Апостол Семен Бостанику услышал неприличные песни. Под дверью стояла группа верующих и возмущалась тем, что святые отцы позволяют нечестивым святотатствовать в обители. Семен понял, что обойти этот случай никак нельзя. Сжав зубы, вошел в келью. Вокруг стола сидело шесть дезертиров. Перед ними — вино, колбаса, хлеб, брынза и другие яства. Компания была уже пьяна. Тут же сидели полунагие, простоволосые женщины. Одна из них, совершенно голая, лежала поперек кровати, и на груди у нее были четки с крестом.

Семен стал суровым, насупил брови:

— Вы что это, дети диавола, затянули здесь языческие песни? Или забыли, что находитесь в обители духа святого Иннокентия? Сейчас же выгнать этих блудниц и прекратить пьянство! И обратите сердца ваши к господу.

На его слова из-за стола поднялся высокий краснолицый солдат и подошел к Семену. Дохнул на него винным перегаром и нагло усмехнулся.

— Эй ты, старый дурак! Вот я повернусь прямо сердцем к тебе и твоему господу! — крикнула одна из пьяных женщин. И с этими словами повернулась к нему задом, закинула подол и крикнула: — Смотри! Не видно ли там твоего бога?

Семен остолбенел от такого нахальства. А тот, что вышел из-за стола, схватил его за воротник, притянул к столику и посадил на стул.

— Барабанная ты шкура, длинногривый ты черт! — крикнул он. — Тебе чего от нас нужно? Деньги мы дали за то, что живем здесь? Дали, я тебя спрашиваю? Говори! Не хочешь? Тогда я скажу. Вы получили с нас столько, что хватило бы мне купить вас всех с вашими шкурами. Если бы не война, если бы мне не нужно было скрываться, то за эти деньги вся ваша шайка плясала бы у меня во дворе голышом на морозе целых три дня.

После этих слов он грязно выругался и ударил Семена. Сильно, с размаха, с ненавистью.

— На, сука монастырская! Получи в придачу к плате.

Семен упал. У него были выбиты зубы. Потом вско-

чил, опрометью выскочил из кельи и что было сил побежал к брату Семеону.

Семеон выслушал его встревоженно. Он сразу увидел всю опасность, понял, что такое настроение нужно искоренить в самом начале. Авторитет обители был под угрозой, престиж его и Иннокентия рушился, а потому обороняться нужно немедленно, сию же минуту. Но как? Как это сделать? Что можно противопоставить жиру, накопленному в «райском» безделии? Что можно противопоставить пьяному кулачью, избалованному вольной, сытной жизнью в «раю»?

Семеон беспомощно огляделся вокруг и, заскулив, подошел к Бостанику:

— Слышишь, брат, нужно гнать их отсюда... Слышишь? Немедленно.

— Гнать? Чем? — злобно спросил Бостанику. — Кто будет гнать, если отец Иннокентий сидит в тюрьме, а вера у людей все больше угасает.

Это было действительно так. Без Иннокентия верующие утрачивали покорность и послушание. Брат Иннокентия — Семеон хорошо понимал, что его влияния на массы хватит уже ненадолго. Понимал и приходил в ужас. Несколько раз садился писать Иннокентию письмо, но тут же бросал. Иннокентий не мог приехать, нужно самому выходить из положения. Но как? Как?

В дверь постучали.

— Войдите, — вздрогнув, сказал Семеон.

В келью вошел взволнованный Григорий Григориан. Он только что вернулся из Балты. Григорий устало сел.

«Не привез ли он какой дурной вести об Иннокентии?» — мелькнуло у Семеона.

Но нет. Григорий не упоминает о нем. Сбиваясь, он рассказывает, что в Балте какие-то люди с красными повязками на рукавах разоружают полицию, что солдаты свободно разгуливают по улицам, и все говорят, что ымпэрата больше нет.

— Да ты что, с ума сошел?

Григорий клянется, что все это видел сам, когда стоял у монастырских ворот в Балте. Какие-то люди отняли у полицейского оружие и под тем же оружием куда-то повели. Другие шагали с красным флагом и

кричали «ура». Да вот и сам архипастырь отец Амвросий об этом, наверное, пишет.

Семеон мигом разорвал конверт, достал письмо и начал читать:

«Балта, 13 марта 1917 года.
Семеону Левизору.

Произошло чрезвычайное событие. Отныне нет царя на Руси и правит Временное правительство. Что это значит, не стану вам писать. А только времена наступают очень тревожные. Старая власть свергнута, полиции нет, мы безоружны. Принимайте меры, чтобы без шума выпроводить из рая дезертиров, а то они начнут разваливать монастырь, а оттуда и в Балту может прийти несчастье. Как вы это там сделаете — дело ваше, на месте виднее. По-моему, их нужно уговорить уйти добровольно, дескать, уже нет царя, и вас на войну не погонят. Только не всем сразу объявляйте, а поодиночке вызывайте и выпроваживайте. Да следите, чтобы они не начали пьянствовать. Свяжитесь по телеграфу с Иннокентием и узнайте, что он намерен предпринять. Тогда уж делайте все совместно с ним.

Епископ Амвросий».

В голове помутилось. Все пошло кругом.

Царя нет. Полиции нет. К лучшему такое или к худшему, господи? Этого не мог понять брат Семеон и решил созвать совет апостолов.

Но что и как говорить апостолам? Если нет царя, нет полиции, так где же тогда Иннокентий — царь царей? Почему не возвращается он, чтобы держать в повиновении паству свою и защищать обитель?

Нерешительно позвонил. Вошла молодая послушница.

— Созови мне всех мужей святых и братьев моих.

Девочка вышла. Брат Семеон нервничал. Наконец вошли советчики. Брат Семеон стал сразу читать письмо отца Амвросия. Все слушали молча. И когда он кончил, долго еще никто не нарушал тишины.

— Ну, так что посоветуете? Что делать, отцы?

Поднялся Сырбул, румяный и крепкий старик. Он помялся немного и отрубил:

— Поздно отец Амвросий предупреждает... В «раю» уже знают об этом. Наши квартиранты сами собира-

ются уйти. Но только хотят потребовать назад деньги. Вот что. Говорят, теперь, когда нет царя, мы должны возвратить деньги и отправить их на станцию. Верующие тоже бунтуют. Спрашивают, если нет царя, то почему не принимается отец Иннокентий за царствование, чтобы возвратить наши хозяйства, наши земли, дать нам счастливую жизнь, как обещал в своих проповедях.

Все сидели, склонив головы, охваченные тревожным предчувствием. Каждый знал, что достаточно одному из жильцов обители осознать весь ужас положения, трезво посмотреть на скотские условия жизни раян, как вся масса выйдет из повиновения, взорвется гневом. И в этом гневе, в этом стихийном водовороте сгорит дотла Гефсиманский сад вместе с отцами апостолами.

— Так что же вы посоветуете, отцы? Как поддержать веру в людях? Как защитить святую церковь от напасти дьявола?

— Не плачь,— грубо оборвал его речь брат Марк.— Бог знает, что делает. Не нам об этом думать. Отец Амвросий правильно советует. Надо вернуть Иннокентия из ссылки. Нужно снова организовать поход, пусть отправятся старые раяне, а новых мы здесь оставим. У новых вера еще крепка, их руками можно и дезертиров выгнать.

— А пойдут ли?— насмешливо спросил кто-то.— Уже ходили в Муромский.

— Пойдут!— отрубил Марк.— Это нужно поручить мироносицам. Еще неизвестно, действительно ли нет царя, или нас только дурачат. Пока вернутся, мы уже будем знать все, что нужно. А там, может, и Иннокентий вырвется.

Синедрион апостолов загудел. План Марка вернул всем надежду. Как-то сразу поверили в него и решили не откладывать поход.

— Кому же поручим это сделать?— нерешительно спросил Семеон.

— Я предлагаю послать Горпину, она наиболее известна среди мироносиц.

Горпина Корнева в самом деле была наиболее популярной мироносицей в «раю».

Апостолы согласились. Было решено в кратчайший срок собрать по селам средства и организовать поход.

Руководство всем опять-таки доверили Герасиму Мардарю и Семену Бостанику.

В тот же день в Архангельск скорым поездом выехал брат Иннокентия Марк, чтобы предупредить Иннокентия и подготовить его к встрече с паствой.

Планы синедриона апостолов оправдались. Снова зашевелились раяне. Новый прилив веры хлынул в разбитые сердца. Горпина Корнева оказалась в центре внимания. Вокруг нее группировались и суетились бабы с «райского» подворья. В села двинулись вереницы паломников. Сама же Горпина ходила и рассказывала страшное видение, которое ей представилось в ночь перед пятницей.

— Лежу это я и вижу, как оно что-то — чирк! чирк! Встала. Смотрю, а отец Иннокентий стоит в терновом венке, в черном весь, и свечу в руке держит. Стоит, смотрит на меня и к себе подзывает. Подхожу я. А он мне тогда: «Нет, не сама,— говорит,— иди, а двенадцать вас должно быть. Выбери,— говорит,— еще одиннадцать и тогда приходи». Вот я и собираю людей, чтобы пойти к нему. А как уходил, то еще добавил: «Да и те двенадцать, что войдут ко мне в темницу, только избранные, а за ними пусть идет каждый кто верит в меня».

Этот рассказ в сотнях вариантов распространялся раянами в окрестных селах, где было много несчастных вдов и матерей, чьи мужья и сыновья не вернулись домой. Снова ожил «рай».

— Отец Иннокентий должен приехать! Отец Иннокентий возвращается судить грешных и праведных. Скоро прибудет преотул чел маре, чтобы сесть на престол и принести радость верующим! — гудели по всей Бессарабии.

Из хаты в хату, из двора во двор неслась весть о том, что войне уже конец, конец господству лютого ымпэрата, что вскоре придет царь царей Иннокентий и освободит свой народ. А вслед за этой вестью поползли слухи, что уже и в «рай» проникла нечистая сила и восстает против обители, против Гефсиманского сада.

Заволновались раяне вокруг кельи отца Семеона. Толпятся, умоляют выйти и указать путь спасения. Смилостивился отец Семеон, направился к своим верующим в церковь и громко сказал:

— Не велел мне отец Иннокентий об этом говорить никому, я и молчал. А теперь повелел вам, мирянам, сказать все. Живут у нас пройдохи, горлохваты, дьявольское племя, которое точит нож против святой церкви. Не подчиняется мне, не почитает бога и обитель. И бог сказал: подобрать верных его детей и очистить обитель.

— Покарать нечестивых! — хищно заревела толпа.

В ту ночь страшные вопли раздавались в кельях и пещерах. Беспощадно били дезертиров, на которых указывали святые апостолы. В одну ночь освободили от них монастырь.

После этого в «рае» отслужили два молебна: один — за победу над детьми дьявола, которых уничтожили во славу бога и его святого духа Иннокентия, другой — за успехи похода — пышного, помпезного похода в далекий Соловецкий монастырь.

20

Марк прибыл в Соловецкий монастырь в апреле 1917 года.

Он добирался сюда по бескрайним просторам Российской империи и видел, как шалела она в первом зареве революции. Марк насмотрелся на новые порядки, на людей с красными повязками на рукавах, узнал также, что государь сам отрекся от власти, отдал царство народу. Но народ этот не стал царствовать, а с глухими проклятиями шумит на вокзалах, базарах, в селах.

Марк подробно обо всем рассказывал Иннокентию и внимательно следил, как тот воспринимает. И когда хмурился Иннокентий, Марк говорил тише, когда же улыбался — Марк повышал голос.

— Сбили мы рога бунтовщикам, снесли обитель и к тебе ходоков снаряжаем. На тебя надежда... без тебя не удержимся.

Иннокентий довольно потер руки. Он почувствовал манящее дыхание воли.

— Это хорошо! Прекрасно! Ваши головы стали умнее. Придут ко мне ходоки, и я возвращусь с народом. Меня встретят, как царя, меня будут ждать, как пришествия бога. Верно! Мы покажем еще свою силу.

Он сел к столу и написал телеграмму, адресованную в «рай», в которой приказал снарядить в Соловец-

кий монастырь двенадцать ходоков, отправить их скорым поездом.

— Возьми эту телеграмму и поезжай на почту. Ко мне не приходи, пока не позову тебя. Никому не говори, что ты мой брат. Я теперь умнее буду, чем в Муромском. Нужно действовать по-другому.

Марк ушел. Иннокентий еще долго ходил взволнованный по келье, а успокоившись, начал составлять воззвание к пастве. Написал он его по-молдавски и отослал в типографию Фесенко, в Одессу. Просил напечатать 20 000 экземпляров. К воззванию приложил свой портрет и велел переслать заказ в Липецкое, в Гефсиманский сад. Аванс он предусмотрительно направил вместе с заказом. Сумма аванса значительно превышала стоимость типографских расходов, и Фесенко мог догадаться, что воззвание должно быть отпечатано без разрешения цензуры. В Липецкое Иннокентий послал письмо, в котором указал, что воззвание нужно распространить среди крестьян. В этом воззвании он обещал возвратиться в Молдавию, устроить суд и расправу над нечестивыми и выполнить свои обещания.

В мае 1917 года в Соловецкую обитель пришли двенадцать женщин. Они принесли жителям студеного острова необыкновенное известие: на Соловецком острове, в суровой обители под замком, находится великий душепастырь, заключенный лютым ымпэратом. Женщины вещали, что вся Молдавия плачет по нему и вот послала их просить отца Иннокентия вернуться к ним и молиться за многострадальный край, за души их грешные. Двенадцать смиренных женщин постучали в ворота. Сторож открыл. Женщины упали на колени и проползли от ворот до самой кельи святого мужа.

Иннокентий вышел к ним. На нем была черная блестящая ряса и черный клобук. Он страдальчески посмотрел на грешных:

— Зачем пришли? Зачем не даете покоя мне и здесь? Мало я страдал за вас? Идите, не хочу никого видеть.

Женщины зарыдали. Они не поднимались с земли и умоляли его смилостивиться.

Иннокентий не скоро смягчился.

— Сердце мое — враг мой. Не могу вынести ваших мольб и пойду к вам. Только мало вас пришло. Мало пришло просить прощения у меня за грехи ваши. Пой-

ду тогда, когда вас будет не меньше чем семьдесят семь,— сказал Иннокентий и ушел в келью. И больше не вышел к ним.

Женщины, словно безумные, выскочили со двора и побежали, рыдая, в порт, откуда вскоре уехали в Архангельск. В Липецкое полетели телеграммы с требованием ускорить выезд в Соловецкий монастырь нужного количества людей. Телеграммы летели одна за другой от женщин, от Марка, от самого Иннокентия.

И вот наконец пришел долгожданный ответ, в котором сообщалось, что одна делегация — из ста двадцати человек — на днях выехала в Архангельск (возглавлял ее Герасим Мардарь), а вторая — из шестисот человек — отбыла вслед за первой и встретит Иннокентия уже на материке.

Получив эти телеграммы, Иннокентий переправил на материк мироносиц, а брата Марка оставил при себе. Сердце сжималось в ожидании решающего дня.

И вот желанный день наступил! На Соловецкий остров переправился Мардарь с паломниками. В воскресенье утром, когда обитель открыла ворота верующим, он во главе толпы ворвался во двор и направился прямо к келье Иннокентия.

— Осанна тебе, великий учитель! Осанна тебе, преотул чел маре! Мы пришли за тобой! Не бросай нас, иди с нами!

Иннокентий взволнованно говорил верующим:

— Дети мои, я всегда с вами. Уйдемте с этого нечестивого места.

К келье подлетела четверка лошадей, Иннокентий сел в повозку. Игумен бросился было останавливать, но Иннокентий оказался уже за оградой. За ним по дороге в порт с ревом двинулась вереница паломников.

Организованно, тихо вошли в порт, взобрались на палубу. Пароход двинулся по зеленоватым водам прочь от дикого острова. На палубе началось богослужение, продолжавшееся до самого Архангельска. В Архангельске патруль окружил толпу богомольцев, но вперед выступил Иннокентий и сказал, что он сидел в Соловецком монастыре за революционные действия.

— И вот пришли ко мне мои духовные чада, чтобы забрать меня к себе.

Вид этих измученных крестьян, а также то, что к

пристани из города двигалась еще большая толпа таких же оборванных, замученных и диких существ, помогли уладить дело, и толпы беспрепятственно двинулись по улицам города к вокзалу. Начальник станции вынужден был дать вагоны на все семьсот сорок человек. Единственный классный вагон в эшелоне торжественно занял Иннокентий.

До Киева продвигались без препятствий. И только в Киеве комендант станции выгрузил всех, и отряд продолжал путь пешком. Двадцать наиболее крепких паломников были впряжены в повозку Иннокентия. В Липецкое телеграфировали:

«Отец Иннокентий возвращается, встречайте».

Увенчанный хоругвями и святынями, Иннокентий двинулся в Липецкое.

21

Многое изменилось в Липецком с тех пор, как здесь последний раз был святой Иннокентий. Усадьба Герасима уже не напоминала старого гнезда сельского богача. Не было ни высокой каменной ограды, ни злющих собак, ни ревущих волов, которыми так любовался хозяин. Не стало и коней, коров, отары овец, приобретенной в кубанских степях. Высокие ограды раздвинулись далеко за бывшие границы Мардаревой усадьбы, туда, где кончались земли Синики. Да и стоят они только с северной стороны, откуда дуют зимой холодные ветры и наметают сугробы снега. Зато поистине огромный виноградник выпестовали руководители Гефсиманского сада. Только он и огорожен камнем. И вместо двух хат скупого Герасима, стоявших в его дворе, теперь раскинулся целый хутор глиняных хаток с камышовой кровлей. Хатенки полукругом окружают старый двор и замыкают собой выход в Липецкое. А за хатенками блестит пруд в том овражке, что разделял когда-то земли Мардаря и Синики. В пруду раяне развели дорогую и вкусную рыбу.

В центре бывшего двора стоит деревянная церковь, убого обставленная иконами святых. Среди них богатым убранством выделяется образ Иннокентия. Правой рукой он держит большой меч, а левой — опирается на

земной шар. Сразу же за церковью — колодец, построенный Мардарем еще при Иннокентии. Только теперь площадка вокруг него расчищена, зацементирована.

Отец Иннокентий не мог налюбоваться буйной красотой Гефсиманского сада. После однообразных пейзажей севера он с восхищением смотрел на усадьбу, на каждое дерево в саду, с наслаждением прислушивался к гудению трудолюбивых пчел на монастырской пасеке. Отец Иннокентий обходил сад, осматривал сорта виноградных лоз, интересовался сбытом вина, зерна. Он от души радовался тому, что монастырские стада увеличиваются и огромное стадо коров уже переведено в большой оборудованный коровник. Он уже почти не думал о спасении людских душ. Дух авантюризма в нем заметно угас. Успокоившись, он стал рачительным хозяином.

С момента возвращения в Липецкое Иннокентий только однажды отслужил в подземной церкви, большую же часть времени проводил с купцами. Они приезжали к нему за хлебом, кукурузой, вином и фруктами. Иннокентий сам принимал их, сам торговался и подписывал соглашения, сам ездил к отарам овец, следил, чтобы купцы не выбирали лучших, сам ездил к коровнику продавать коров или масло и, наконец, сам получал деньги и прятал их в монастырскую кассу, которую перенес к себе в келью — дом Мардаря.

Верующие смотрели на этого хлопотливого хозяина и тихо поговаривали, что отец Иннокентий забыл про них, не заботится, ничего не делает, чтобы спасти преданных ему богомольцев от нищенской жизни, променял стадо духовное на стада коров и отары овец и, видно, готов променять любого из них на самую захудалую овцу из своей отары. Поговаривали и о том, что он остыл к делам божьим и окунулся в мирские дела, с которыми сумел бы управиться любой из них не хуже Иннокентия. В этих разговорах появлялся интерес к себе, к своей жизни, рождалась глухая, но острая боль в сердцах верующих. Да и не только верующих. Под обдерганными стрехами сельских хатенок что-то гудело, бурлило, стихийно взрывалось на сходах.

— Ымпэрата нет, нет его слуг, вытягивавших из нас жилы, а нам легче стало?

— Это тогда станет легче, когда мы с тобой на тот

свет отправимся. Там облегчение будет. Паны как были, так и будут, а мы с тобой как кормили вшей, так и будем,— слышалось и в пещерах, и в селах.

Тревога охватывала отцов-кормчих «рая». В этих разговорах чудилась им угроза неповиновения. Но Иннокентий пренебрегал всем. Опьяненный собственной властью над людьми, он просто обезумел от сознания, что является хозяином всех необъятных просторов, всего этого добра, которым завладел после возвращения из странствий. Он все меньше обращал внимания на глухие отголоски недовольства, долетавшие к нему на хутор.

Однако вскоре святому пророку пришлось столкнуться уже с явным фактом неповиновения. Одного из послушников, осужденного за самовольный выход из подземелья и посаженного в темную яму, ночью кто-то вытащил. И не его одного, а и десяток других. Встревоженный Семен Бостанику пришел к Иннокентию и, прикрыв за собой дверь, рассказал ему о случившемся. Иннокентий выслушал и опустил голову. Он словно проснулся от глубокого сна и с разгона ударился обо что-то острое. Иннокентий вдруг понял, что вместе с троном ымпэрата покачнулся и его трон, с таким трудом установленный. Закачалась на голове близкая митра — золотая корона бессарабского владыки.

— Хорошо, Семен, хорошо... Это хорошо, что ты мне рассказал. Нужно об этом подумать.— Он побарабанил пальцами по столу и задумчиво расчесал пышную бороду.

— Позови-ка братьев Семеона и Марка, мать-богородицу и Герасима. И сам приходи...

Семен вышел, а Иннокентий все так же задумчиво сидел у стола. Задумчиво взял в руки хрустальный графинчик с красным вином и налил себе стакан. Медленным движением поднес его к губам и так же медленно наклонил. Взял на язык немного красной жидкости и долго смаковал, угадывая, из каких она сортов винограда. И вдруг... скривился, быстро поставил стакан и резко отодвинул графин. Глаза, полные ужаса, были дико вытаращены, язык онемел и еле шевелился во рту. Любимое вино оказалось горько-терпким на вкус.

«Отрава...»— подумал он и лихорадочно позвонил.

В келью вошла послушница. Едва шевеля языком, Иннокентий велел принести кота. Послушница вышла. Он растерянно огляделся по сторонам. Женщина принесла кота, и Иннокентий велел ей выйти. Открыв коту рот, он влил в него все вино из стакана. Кот вырвался, прыгнул на скамью, хотел было забраться на печь, но ткнулся носом в скамью и лег. Жалобно замяукав, вытянулся и замер. Иннокентий глухо, тоскливо застонал, опустился на скамью.

Вошли приглашенные. Иннокентий начал совет. Ему хотелось сперва выслушать апостолов.

— Ну, говори, что ты там знаешь, что слышал в пещерах? — обратился он к своему брату Семеону.

— Плохое слышал. Упрекают верующие, что ты оставил божьи дела и стал хозяином... О них не думаешь...— Помолчав, Семеон обратился ко всем: — Рановато радовались: нет ымпэрата!.. Нет ымпэрата, а без него ни начальства, ни старших не признают... Все это из села к нам идет... Говорят, помещичью усадьбу ограбили, а помещика убили. И нет суда грабителям.

Иннокентий ощетинился. Мардарь поднялся и грубо заговорил:

— Не поймешь, что делается. Веры мало у людей... Какие-то людишки здесь шляются, распускают слухи, что скоро и панов не будет и никакая церковь никому не поможет, что тебя, Иннокентий, черт возьмет, как взял царя. Они подбивают крестьян не слушать святых проповедей и против тебя настраивают...— Герасим передохнул и выпалил: — Убить тебя грозятся. Так люди говорят...

Услышав это, Иннокентий вздрогнул и испуганно посмотрел на графин, из которого не успел вылить содержимое. В тот же момент брат Семеон потянулся за вином... Иннокентий нервно схватил графин и вылил вино на пол.

— Разучились молдаване делать вино, кислое очень,— заметил с нарочитым недовольством. И тут же приказал Семену Бостанику рассказать о своих наблюдениях.

Семен ничего не мог добавить, кроме одного: хотя приток паломников и возрос, но они уже не такие щедрые.

— Обленились верующие, отче Иннокентий. Нужно

для них найти какое-то занятие, пусть чем-нибудь займутся. Тогда будет легче и следить за ними.

Иннокентий выслушал своих апостолов и сурово заговорил:

— Вот что, братья. Сам я все это знаю. Думал, вы скажете что-нибудь новое. Хватит об этом. Завтра же соберите людей в подземную церковь, там состоится богослужение. Мать София скажет, что делать дальше. Семеон и матушка София, останьтесь у меня.

Как только они остались одни, Иннокентий тут же отогнул ковер и постучал в стену. Над столом в потолке открылся люк, и оттуда выскользнул монах.

— Ты бы, отче, хоть порядок навел на чердаке, а то, видишь, вся в пыли,— весело сказала Хима, отряхиваясь.

Иннокентий сурово на нее прикрикнул:

— Не до шуток. Садись.

Хима села. Иннокентий велел подать вино и закуску. Начался второй совет, теперь уже с братом Семеоном, матерью Софией и мироносицей Химой.

22

Большой колокол подземной церкви ударил первый раз, и звук его покатился по темным коридорам пещер. Потом — еще раз, и звук его растаял в самых нижних этажах. Затем — в третий раз, в четвертый... И вот уже загудел — непрерывно, тревожно.

Верующие давно не слышали такого звона — с тех пор как отец Иннокентий возвратился. Они спрашивали друг друга:

— Что случилось? Зачем звонят в большой колокол?

Никто не знал, никто не мог ответить на эти вопросы. Каждый спешил потушить свечу в келье и спуститься в большую церковь. Потянулись поодиночке, кучками, группами и столпились на ступеньках, что вели вниз. Каждый хотел спуститься быстрее и захватить место поближе к алтарю, с которого сегодня услышит что-то важное.

Вдруг верующие увидели отца Семеона. Он был в поповской одежде, в траурных ризах, черный цвет которых сливался с черной шапкой, надвинутой почти

на глаза. Он шел понурившись, ни на кого не глядя. Не отвечал на приветствия, не протягивал руку для поцелуев, не благословил никого. Тяжело дыша, медленно подходил к церкви. На пороге ее остановился, поклонился иконам и воздел молитвенно руки. А потом упал на колени и застыл. Постояв так, поднялся и пошел в алтарь.

Удивленные и встревоженные, верующие набожно слушали службу отца Семеона. На шее его висела цепь. Немой вздох вырвался из груди молящихся.

— Братья мои! Сегодня самый печальный день в нашей жизни. Самый печальный... Мы так прогневили бога и его святого сына Иннокентия, что он карает нас неимоверно. Больше не будет у нас заступника, больше не будет у нас защитника! Сегодня он покидает нас, а потому я надел эти ризы и цепь эту. Хочу запечатлеть в своем сердце вечную печаль. Прогневили мы его непослушанием, безверием.

И он заплакал. Рыдая, взывал к небу о милосердии:

— О господи, яви милость свою, яви милосердие тем, кто здесь собрался во имя твое, и хоть последний раз приди к нам и посмотри на печаль нашу! — И, обращаясь к верующим, говорил: — Молитесь, нечестивые грешники.

Молитесь, проклятые рабы господа, прогневившие его! Умоляйте его, может, смилостивится.

И вся церковь загудела:

— Преотул чел маре, прости нас! Будь милосерден к нам! Вернись и спаси нас! Преотул чел маре, вернись и помилуй нас!

И снова заревел колокол. Громкие звуки, надрывно рыдая, вкатились в церковь и потрясли свод. И вдруг какой-то шум возник у алтаря. Белая фигура опустилась на пол. Белая вся — и лицо, и волосы, и длинная борода. Остановилась перед изумленной толпой и старческим голосом простонала:

— Не дам вам сына моего единородного. Не дам вам больше на муки, ибо не умеете вы почитать его! Не дам, будь вы прокляты отныне и навеки!

Сказав это, белая фигура взвилась вверх и исчезла. А потом снова послышался голос Семеона:

— Господи, смилостивься над детьми твоими!

Сними с нас проклятие свое! Верни нам сына твоего Иннокентия!

И опять заревел колокол. Снова надрывные, рыдающие звуки его потрясли своды церкви. Что-то загудело под потолком и застучало так, что даже куски штукатурки посыпались. Снова какая-то белая тень мелькнула перед глазами молящихся. Вот она опустилась у царских врат, встала перед глазами толпы, ослепленной страхом, и тоненьким женским голосом произнесла:

— Не дам вам сына моего, проклятые дети диавола! Не пущу его больше к вам! Да пожрет вас война, огонь, голод и холод! Будьте прокляты отныне и навеки!

Белая фигура поднялась с пола и взмыла вверх. Там, наверху, снова что-то заскрежетало. Страшно взревел колокол. Рокот прокатился над потолком церкви, посыпались куски штукатурки, и опять, стоя на коленях, рыдал Семеон:

— О-о господи! Каемся, каемся! Просим милосердия. Возьми назад свои страшные проклятия! Верни нам сына своего! Верни нашего преотул чел маре!

Снова взорвались рыдания и понеслись тоскливыми перекатами по коридорам в верхние пещеры. Опять страшно взревел колокол. Громкие его удары потрясли своды церкви. Над потолком что-то загудело, и белая тень мелькнула перед царскими вратами, свалила престол в алтаре, погасила свечи; упали запрестольный крест и евангелие.

Высокая белая фигура стала перед немой от ужаса толпой и воздела вверх руки:

— Кайтесь, и я прощу вас. Кайтесь, неверные собаки, кайтесь, порождения дьявола, ибо я пришел огласить страшный приговор моего отца, господа бога. Погибнете вы, если не обратите сердца ваши ко мне и не уничтожите неверия и сомнения в себе, если не отгоните вы от себя всех нечестивцев, рождающих неверие, сеющих сомнения. Если вы не приведете к апостолам моим каждого, кто хоть слово произнесет против имени божьего, вам не будет больше возврата, и погибнете вы. Вечный огонь станет сжигать вас, и мое проклятие будет тяготеть над вами отныне и навеки! Аминь!

Белая тень Иннокентия взвилась над землей, и уже с вышины он громко повторил:

— Кайтесь!

Вся церковь, вся многочисленная толпа верующих в один голос, рыдая, вскрикнула:

— Каемся! Вернись к нам! Преотул чел маре! Вернись к нам! Вернись, спаситель душ наших! Мы верим тебе. Клянемся тебе и благословляем тебя!

И снова ударил колокол. Снова рыдания потрясли своды церкви и неясные звуки застонали над потолком. А на том месте, где стоял престол, поднялся вдруг столб огня и осветил на мгновение фигуру Иннокентия, который стоял весь в белом с мечом в одной руке и с крестом в другой.

— Этим снесу головы неверным, — показал он на меч, — а этим благословлю каждого, кто чтит имя мое,— поднял крест Иннокентий.

— Каемся, каемся, каемся! Милосердие яви, преотул чел маре!

Иннокентий отступил от того места, где стоял, сошел со ступенек и благословил толпу.

— Идите и не грешите. Я остаюсь с вами. Идите, копайте силоамскую купель, где буду крестить вас, чтобы очистить от грехов. — И он показал рукой на дверь.

Толпа двинулась из церкви. Иннокентий стоял с поднятым мечом, словно хотел в самом деле догнать людей и снести им головы. И только когда исчез последний верующий, он далеко отбросил от себя деревянный меч и устало прислонился к царским вратам. Его бледное лицо покрылось пóтом, он чуть слышно сказал Семеону:

— Немедленно поставь все на место, как было. Чтобы никто не увидел яму под алтарем. Вымети пепел и закрой над алтарем люк. Да не забудь веревку убрать, чтобы не поняли, как спускался.

Выпив воды, Иннокентий облегченно вздохнул:

— Ну теперь укрепляйте то, что я сделал вам.

Еще раз напомнив, чтобы убрали веревку и закрыли люк тайного хода, откуда спускались он, Хима и Семен Бостанику — «бог отец» и «матерь божья», Иннокентий поспешил в свои покои выпить за восстановление авторитета церкви, мастерски поддержанного инсценировкой явления бога.

Авторитет был укреплен. Бунт утих. Вновь обретшая

веру толпа жестоко, немилосердно уничтожала каждого, кто осмелился сеять неверие или высказывать непочтение к Иннокентию.

23

Василий Синика прошелся по комнате и снова подсел к группе людей, сидевших вокруг стола. Он тяжело оперся об угол стола, обхватив голову руками. Некоторое время сидел так и думал. В голове мелькали обрывки мыслей, планов. В этих планах он сам еще с трудом разбирался, но они все больше и больше усиливали его нетерпение. Сейчас он сознавал только одно — месть должна осуществиться. Как именно, каким способом, какой ценой — этого не знал. И вряд ли будет знать: у него так нестерпимо горит голова, а желание осуществить мечту невыразимой болью сжимает сердце. Отмщение стало целью стольких лет его жизни... Надо люто, жестоко отомстить. И помочь ему отомстить могут только эти люди, именно эти, сидящие здесь. Другие на такое не пойдут. Без них же он не сможет исполнить свое намерение. Без них он не подступится к своему лютому и осторожному врагу. Без охраны, без преданных людей его враг никуда не выходит.

Синика размышляет над своей очередной провалившейся попыткой. Как могло случиться, что Иннокентий не околел от порции отравы, подсыпанной в вино? Неужели измена? Неужели не помогли деньги? Неужели обманул доверенный человек?

Василию денег не жалко. У Василия Синики будут деньги. Они ему пока не нужны, нечего с деньгами делать, некуда тратить их, потому что свет сошелся мертвым кругом над кельей Иннокентия, потому что все его интересы теперь в одном — в мести. За все: за семью, за хозяйство, за здоровье, за Домаху и ее любовь к нему...

Синика поднимает голову и смотрит с невыразимой тоской на собеседников. Он придвигается ближе к столу и с мольбой в голосе говорит:

— Так как же?

— А ты знаешь, что нам за это может быть? — снова

спрашивает крайний. И отвечает: — Конец! Конец может быть, вот что. Говорить — одно, а сделать — это другое.

— Что вам будет за это? Глупцы вы. Ничего не будет! Зачем вы только в больших школах учились? Чему вас учили там, если вы такие глупые? Не зря, видно, вас выгнали оттуда! — нервничает Синика. — Что же может быть? Мир перевернулся, полиции нет, порядка никакого. Кто вас станет ловить? Кто осудит? Ни черта́ вам не будет. А деньги будут. С деньгами вы не пропадете, если даже из Одессы выедете. Что вам Одесса? Что? Валяетесь здесь под пакгаузами и ждете случая, чтобы стянуть кусок хлеба. А с деньгами — другое дело. С деньгами вы куда угодно поедете.

Синика понижает голос, почти шепчет на ухо крайнему, сидящему возле него:

— А ведь деньги какие! Одни катеринки и николаевки. Все новенькие: это не керенки, не думские... А я прибавлю еще... немного и золота. Настоящего золота! Оно звенит, бренчит, улыбается вам. Но это уже когда увижу его мертвым. Поняли?

Компания перестала пить. Все повернулись к нему и жадно смотрели прямо в глаза, в рот, который так сладко, с таким смаком произносил соблазнительное слово «золото» и так любовно выговаривал «катеринки», «николаевки», который так ярко расписывал их ценность.

— Так как же? Возьметесь или нет?

Синика медленно налил в кружку вина, неторопливо поднес к губам. Он ни на мгновение не отрывал взгляда от лица высокого седоволосого человека с умными глазами, сидевшего напротив него. Это был вожак компании. Синике нужно было во что бы то ни стало склонить его на свою сторону.

— Последний раз спрашиваю — беретесь или нет? Вот вы, профессор, или как вас там... Вы умная голова. Или и вы из господ плюгавеньких, что боятся даже куриной крови? А? Боитесь? Не бойтесь, мы обойдемся без крови. Она у него слишком зловонная, обдаст запахом все село. Мы его вместе с этой кровью отправим на тот свет. Или боитесь? Страшно?

Синика откинулся на спинку стула и, уставившись

взглядом в седую голову интеллигентного собеседника, начал насмехаться:

— Недаром же у нас в селах таких господ больше всего не любят.

Человек с белой головой поднялся и стал против Синики:

— Ты не кричи. Как это сделать? Ты думал?

— Значит, согласны? — радостно спросил Синика. — Согласны?

— Согласны. Только одно условие — ты поедешь с нами. Ты там все места знаешь, ты и будешь нами руководить. А деньги... задаток дашь?

— Хорошо, дам. Мне их не жалко, — согласился Синика. — За деньгами дело не станет, только поторопитесь.

Синика поднялся, протянул руку седоголовому. Он готов был его целовать, на руках носить, в ноги кланяться, все отдать, только бы...

— Вашу руку. Позвольте мне, простому мужику, пожать вашу благородную руку. Я все сделаю и все отдам, только согласитесь.

Седоволосый пожал Синике руку и снова сел. С важностью налил себе вина и спросил его:

— А вы не знаете, какие там порядки заведены в последнее время? Когда я был в тех местах в 1915 году, там слишком присматривались к паломникам, и меня не пустили к ихнему старшему. А теперь как?

— Теперь? Теперь еще хуже. Но не в этом дело. Пусть Иннокентий как угодно остерегается, для вас к нему есть лазейка. Я вам ее покажу. Но только вот беда, я не могу сам ею воспользоваться. Поэтому и обратился к вам.

Синика начал объяснять, как проникнуть к Иннокентию, который после возвращения из Соловецкого монастыря, а особенно с тех пор, как чуть не отравился вином, стал очень осторожным и не заводил компании ни с кем. Седой внимательно слушал, порой отмечал что-то в блокноте, иногда переспрашивал подробности, а затем, обращаясь к своим, сказал:

— Господа, я считаю, что мы располагаем солидным материалом, из которого сможем сделать все необходимые выводы. Дело, кажется, нелегкое, но я уверен, что наши светлые головы, в особенности же если их ожив-

лять соответствующими порциями натурального бессарабского вина — а я надеюсь, наш заговорщик будет присылать вино аккуратно, — все же осилят его, и мы победим. Разве не так?

— Ваша правда, Казимир Сигизмундович. Вы действительно достойны короны Венцеслава, и мы возмущены вашими земляками, которые до сих пор не догадались возложить ее на вашу светлую голову. Ваша отчизна еще не рождала такого блестящего, гениального ума. Клянусь. Однако, светлый муж и гениальный мыслитель, вы договорились обо всем с заказчиком сами и еще ни единого слова не сказали ни о нашем с вами участии в деле, ни о нашем участии в гонораре. А это, как известно, играет решающую роль в любом союзе. Корпорация, не имеющая необходимой ясности...

— Я хорошо вас понимаю! — горячо согласился седоголовый. — Ваши блестящие умы стоят немало, но... они не учли: без вашего участия мне это дело не под силу. Все четверо мы будем работать почти одинаково. Я сказал «почти», ибо организационную часть я беру на себя, а потому, думаю, возражений не будет, если я возьму двойную долю гонорара. Короче говоря — я имею две марки.

— Согласны! Согласны!

Заговорщики вышли из дома и направились к воротам, но тут седоголовый остановился и серьезно сказал Синике:

— Завтра вы получите от меня записку с указанием, что вам нужно купить в аптеке и что с купленным делать. Как только получите записку, немедленно раздобудьте все, что напишу, и сделайте так, как я вам предложу. Всего хорошего.

Синика облегченно вздохнул и долго смотрел им вслед. Потом вернулся в дом. Долго еще нервно ходил по комнате, обдумывая план. Устал, сел на кушетку да так и уснул.

Проснулся Синика от грубого толчка в плечо.

— Соломония, иди ложись. Ложись, а то пошлю тебя снова к Иннокентию, — резко сказал он ненормальной.

Соломония покорно согнулась и пошла прочь. Но в дверях остановилась и, показывая на темя, жалобно сказала:

— Человек, у меня гвоздь в темени. Вынь его... Мне больно.

Синика отвел глаза от Соломонии и чуть слышно простонал. Ему казалось, что мир слишком медленно стареет, что все на этом свете медленно движется и он не дождется той долгожданной минуты, когда отомстит. И, зажмурив глаза, он нежно сказал Соломонии:

— Иди, иди, голубка моя, спать. Я вынy этот гвоздь... У тебя не будет болеть голова.

24

Ржавое солнце спряталось в лохматые тучи, что надвигались с северо-востока. Дохнул неприветливый ветер и зашевелил сугробы. Они закрутились снежным дымком и полетели трактом от Бирзулы к Липецкому. Началась пурга.

Герасим вышел из хибарки, до половины вкопанной в землю, накинул капюшон зипуна на голову и пошел за сад, где недавно вырыли большой бассейн. Он должен был посмотреть, не замерзла ли в нем вода, и, если потребуется, разложить костер вокруг и растопить лед.

Бассейн находился за садом-виноградником, на ровном месте, чуть возвышенном. Он представлял собой прямоугольное зацементированное углубление в земле с цементными ступеньками. Двенадцать или даже больше метров в длину и метров шесть в ширину. Глубина его достигала полутора метров. Вода сейчас в нем была покрыта толстой коркой льда. Герасим осмотрел бассейн и покачал головой:

— Нет хозяйского глаза. Вылить бы воду на зиму, ведь так он и потрескаться может...

Он старательно начал стягивать к бассейну солому и хворост, раскладывать большие костры. Обложив со всех сторон бассейн, Герасим поджег крайнюю кучу. Солома вспыхнула. Вокруг бассейна запылал огромный костер. Когда хворост разгорелся, Герасим начал подносить толстые колоды и складывать их одну на другую. Но труд его был почти напрасен. Бешеный северо-восточный ветер разошелся не на шутку. Он рвал и разносил огонь во все стороны, гасил его новыми наносами мелкого, как песок, снега.

«Ох, не будет толку!» — подумал Герасим и еще

быстрее принялся таскать колоды. Но от них поднимался чад и пар, они не разгорались. Ветер свистел, метался по полю в безумном танце. Герасим оставил работу, завернулся в кожух и ушел на хутор. Во дворе его встретил брат Семеон.

— Ну что, разжег?

— Разжег, но гореть не будет при такой погоде! Света божьего не видать, так метет.

Брат Семеон покачал головой и направился к Иннокентию за советом. Тот что-то писал. На скрип двери он недовольно поднял голову и еще более недовольно спросил:

— Что тебя принесло, брат? Разве не знаешь, я готовлюсь к завтрашнему дню? Не можешь ли ты не отвлекать меня разговорами? Да уж и пора знать, что они мне надоели. Вы только говорите, говорите и совещаетесь без конца...

— И чего это ты на меня напустился? Купель замерзла, отогреть не можем, не горит.

— Не горит, говоришь? Что же, по-твоему, я лягу на огонь? Герасим пусть ложится, пусть раздувает.

Он выглянул в окно и понял, что не только Герасим, но и все раяне не сумеют остановить бешеной метели, разгулявшейся в степи. Лицо его омрачилось, он, видимо, не знал, на что решиться.

— Скажи Герасиму и Семену Бостанику, — сурово заговорил Иннокентий через минуту, — пусть соберут всех апостолов и ночью вырубят лед. Одни пусть рубят и выбрасывают, а другие нальют свежей воды. До утра надо подливать воду и взбалтывать ее, чтобы не замерзла.

Брат Семеон вышел и передал этот приказ апостолам. Но тут же вернулся и смущенно стал перед Иннокентием.

— Ах, черт вас возьми! Зачем ты снова здесь? Ну когда же я получу покой?

— Там какая-то подвода прибилась ко двору... с учеными. Какой-то профессор и с ним еще люди. Пять человек... Очень хотят тебя видеть.

— Профессор? Какой профессор и что ему нужно?

— Да, говорят, они собирают молдавские песни, интересуются молдавскими обычаями, изучают веру... Из Одессы они сами... хотят с тобой поговорить.

Иннокентий задумался. Ему давно хотелось поговорить с профессором такой специальности, он мечтал попасть в историю своего края как основатель новой веры, как глава церкви. Но все не было случая. И вдруг... Есть возможность увидеть свой портрет в книге ученого профессора, и о нем, об Иннокентии, будут говорить всюду, читать о его делах, его вере, его власти над Бессарабией.

А что если это ловушка? Если это разведка новой власти? Высмотрят все, разнюхают, а потом пришлют полицию с красными лентами на рукавах? Тогда что? Где тогда власть, митра, почет? А впрочем, разве он, Иннокентий, сумевший обвести вокруг пальца и синод, и синодальную комиссию, и полицию, не сможет вывернуться? К тому же он им всего не покажет, не поведет в пещеры, не назовет количество людей в подземных кельях. Он только поверхностно ознакомит их с тем, что не опасно. Ведь теперь правительство провозгласило свободу веры, свободу совести. Так чего ж ему бояться? Теперь все секты свободно творят молитвы.

Иннокентий велел пригласить профессора и его сослуживцев к себе в келью. Вскоре перед ним предстали пятеро хорошо одетых людей. Они выглядели чрезвычайно импозантно и благородно, в руках у них были саквояжи из красной кожи.

Самый старший из них, высокий седой человек в дорогих мехах и золотых очках, поздоровался за всех и любезно спросил:

— Это вы — знаменитый создатель новой секты православной церкви отец Иннокентий?

Иннокентий пытливо осмотрел его. Но вид у пожилого мужа науки был такой кроткий, а седые волосы так безукоризненно причесаны, что Иннокентий успокоился и любезно ответил:

— Да, господин, это я. Только основатель не секты, а молдавской церкви — иеромонах Иннокентий. А вы кто будете, простите за вопрос?

— Вы правы... вы правы. Ворваться в келью занятого делами церкви монаха и спрашивать, кто он, может только тот, кто не стыдится своего имени. Я профессор этнографии Смеречинский, а это мой коллега — профессор истории господин Егоров. Это наши два

ассистента, а тот,— он указал рукой на представительного человека с широкой рыжей бородой и такими же рыжими волосами,— наш носильщик и камердинер Степан Луценко.

Степан Луценко повернулся на свое имя и подставил левое ухо.

— Что говорите?

— Он у нас на одно ухо глухой,— объяснил профессор Смеречинский.— Ничего, ничего, Степан,— громче ответил ему профессор.— Это мы так, рекомендуемся святому отцу.

Степан снова стал у двери и одним глазом уставился на Иннокентия. Второй глаз был закрыт черной повязкой, и от этого его лицо казалось звериным.

Иннокентий любезно выслушал профессора Смеречинского и предложил раздеться и перекусить.

— Весьма благодарен. Но вы уж позвольте не нарушать нашего обычая и оставить при себе нашего камердинера. Он у нас на правах товарища, заслуженный человек, на войне глаз и ухо потерял.

Иннокентий распорядился накрыть стол, а затем начал расспрашивать гостей, что слышно в Одессе насчет нового правительства, как будут жить без царя. На эти вопросы профессор Смеречинский махнул рукой:

— Отче Иннокентий, не спрашивайте нас о политике. Мы, люди науки, мало понимаем в этих делах, и они нас не касаются. Лучше вы нам расскажите о себе, чтобы мы не долго отвлекали ваше внимание и сегодня же уехали.

Иннокентий запротестовал, услышав эти слова, и с искренним гостеприимством сказал:

— Э-э-э, нет, пан профессор, нет! От нас так быстро не выберетесь. Мы не любим скоро отпускать гостей. А особенно таких важных ученых. Простите нас, но мы вас заставим погостить и познакомиться с нами, чтобы вы там, в своем ученом обществе, если и станете рассказывать, так чтоб уж рассказывали правду. Да, кстати, ни сегодня, ни завтра я вам ничего не расскажу, потому что у нас большой праздник... Только после праздника.

Профессор и его компания уступили гостеприимному хозяину и подсели к столу. Иннокентий налил

им по стакану вина. Профессор Смеречинский вежливо попросил разрешения послушать службу. Поколебавшись, Иннокентий согласился пустить его одного. Они оделись и вышли с профессором во двор. Там он подозвал к себе брата Семеона:

— Химу посади над люком, пусть послушает, о чем они будут говорить. Слышал? В случае чего — передашь мне.

Они спустились в подземную церковь «рая». Профессор Смеречинский почувствовал себя неспокойно в этом лабиринте коридоров, но переборол страх. Чем дальше двигались, тем неувереннее чувствовал он себя. Наконец они спустились в подземную церковь, и профессор Смеречинский остолбенел, увидя массу людей, которые покорно молились. Он не осмелился о чем-либо спрашивать Иннокентия, а встал в стороне и простоял всю службу. Господин профессор мог воочию убедиться, как глубоко одурманены эти забитые люди. На их лицах были словно написаны тупость и покорность. Каждый старательно бил поклоны перед Иннокентием. И что больше всего поразило профессора — это портреты Иннокентия, изображенного с шестью крыльями и с мечом в руке. Они висели на каждой стене и занимали всю ее от пола до потолка.

— Братья мои! Сегодня мы собрались, чтобы помолиться святому Феодосию. А завтра мы исполнимся благодати божьей. Вы погрязаете в грехах, вы утопаете в скверне, гаснет вера в единого бога и святого духа — Иннокентия. Господь велит мне испытать завтра вашу веру и крестить вас, чтобы восприняли вы благодать мою. И только крещеные войдут в рай, мною основанный. Туда я поведу вас этой же весной, когда стану господарем всей Молдавии. Готовьтесь, братья мои. Готовьтесь к великому таинству божьему. Пусть каждый со смиренным сердцем придет ко мне креститься, как ходил сын божий к Иоанну Крестителю в пустыню. Аминь! — закончил иеромонах короткую проповедь.

Иннокентий сам себе не решался сказать, что он намеревается осуществить завтра. Он не осмеливался признаться даже себе в своих страшных замыслах — дабы не выдать их, не изменить решения, укрытого глубоко в его сердце... Иннокентий торопливо пере-

оделся и вышел к профессору. Осведомился, не затянул ли службу. Но профессор был очень заинтересован и ничуть не устал; он мог бы простоять еще одну такую службу. Только профессор никак не мог понять, о каком крещении шла речь. Он, правда, немного понимал молдавский язык и схватил главное, но не знал, для чего нужно это крещение.

Иннокентия такое любопытство несколько обеспокоило. Он торопливо ответил, что так велит закон его веры, и завтра должны быть крещены те люди, которые хотят спасти свои души. На этом он оборвал разговор и быстро направился в свою подземную келью.

Гостям отвели комнату. Постелили свежего сена, накрыли его коврами и дали подушки. Видно, гости очень устали, потому что сразу легли спать. Об этом сообщила мироносица Хима. Она не стала больше подслушивать возле люка и ушла к Иннокентию.

В келье у Иннокентия были Хима и Семеон. К ним он и обратился:

— Ну, завтра... Вы помогите мне, если хотите усидеть на месте. Нам некуда принимать новых, кельи переполнены, они сожрут нас, если не выйдут. Так вот, слушайте... Завтра я должен их крестить в силоамской купели... Завтра. Завтра они голые войдут в воду, и кто выдержит, будет наш, а нет...

Он не договорил. Брат Семеон и Хима отшатнулись от него, в их широко открытых глазах был нескрываемый ужас.

— Как?.. Как ты сказал, голые?

— Да, голые... Этого хотят бог, церковь наша, вера наша... Этого требует обитель. Понимаете? Кто не пойдет — не наш, он уступит место новым, которых сейчас некуда принимать.

Иннокентий залпом выпил большой бокал вина.

— Хватит. Идите и готовьте людей к завтрашнему.

Он отпустил Семеона и Химу, а сам, не раздеваясь, лег в постель. Однако не спал до самого утра. Вставал, ходил и пил вино. И только солнце на мгновенье проглянуло сквозь лохматые тучи, он сразу же приказал ударить в колокол. Колокол загудел, и вся масса богомольцев вылезла из пещер. Иннокентий вышел в облачении и стал торопливо читать молитвы. Затем первым направился к бассейну, даже не оглядываясь,

не зная, идут ли за ним. Но он чувствовал, что толпа пойдет. Он был уверен, что она последует за ним до конца. И не ошибся — многотысячная черно-серая масса людей безропотно шла за своим «преотул чел маре». Иннокентий остановился у бассейна, освятил воду, указал на нее рукой и громко выкрикнул:

— Креститесь все, кто верит в меня, кто хочет спасти свою душу! — Толпа дрогнула, но никто не пошевелился. И тут Иннокентий заколебался. Он ощутил большую опасность и понял, что именно теперь все может сорваться и тогда...

Но что это? Старый Григорий Григориан раздевается первым. Он весь съежился, сбросил рубаху, постоял голый на краю бассейна и... прыгнул в воду. Стал в воде, скрестил руки на груди.

— Крестится раб божий Григорий во имя божье и во спасение души... — проговорил Иннокентий и брызнул на него водой.

А потом повернулся к толпе, поднял крест и громовым голосом сказал:

— Кто же не хочет креститься, пусть будет проклят от ныне и навеки.

Он занес крест над головами, будто собирался им побить всех. Толпа зашевелилась, застонала:

— Не проклинай нас, мы крестимся! Преотул чел маре, не проклинай нас, детей твоих!

И все шесть тысяч торопливо начали раздеваться и один за другим входить в ледяную воду. Проходили бассейн, на миг останавливались и принимали крещение. А Иннокентий стоял, кропил их, произносил молитвы. Он сам ужаснулся такой покорности. А длинная очередь быстро уменьшалась. Один за другим выскакивали из воды и влезали новые. И пока кончилось крещение, многие уже не могли влезть в бассейн — корчились на снегу или лежали посиневшие, мертвые.

— Мир вам, братья мои, вы недостойны принять святых благ от господа! — перекрестил умерших Иннокентий и направился к себе в келью.

Иннокентий приказал брату проследить за похоронами и пошел к гостям. Вошел бледный и притихший. Такими же бледными, притихшими застал и гостей. Они ни о чем не спрашивали.

Иннокентий сел к столу и холодно приказал слуге:

— Обед, вина.

Его приказ мигом выполнили. Иннокентий пригласил гостей, и те уселись за стол. Затем он благословил трапезу, налил всем вина.

— Вечная память умершим и долгих лет живым. За ваше здоровье! — Он поднял бокал.

Выпили. Иннокентий снова налил. Он будто заливал вином, подавлял в себе какие-то чувства и одновременно старался, чтобы гости не уяснили сути событий. И когда в головах немного зашумело, профессор Смеречинский предложил:

— Отче, все же ваше вино, не в обиду будь сказано, хотя и прекрасное, но легкое. Разрешите угостить вас, да и самим выпить настоящего шустовского коньяку.

Иннокентий весело согласился.

— А вы возите его с собой?

— Да так, знаете, холодно теперь, погреться иногда...

Профессор Смеречинский раскупорил четыре бутылки и налили рюмки. Все выпили огненную жидкость и крякнули. Иннокентий оскалил зубы:

— А вы, скромный муж науки, знаете толк в вине. Добрая штука!

— На здоровье!

Профессор оживился, раскраснелся и весело приглашал пить еще.

Все заметно пьянели. Вскоре за столом начали петь. Иннокентий затянул какую-то непристойную песню и предложил компании позабавиться женщинами. По его приказу вошли мироносицы. Рекой полилось вино, послышались веселые анекдоты, песни. Иннокентий совсем разошелся, он обнял Химу и притянул к себе. Вскоре она уже совсем нагая стояла перед компанией. Иннокентий велел принести лохань и налить в нее вина. Хима растянулась в лохани, а Иннокентий брал вино и кропил ее тело.

— Во Иордане крещающейся тебе, господи...— затянул он.

Профессор Смеречинский весело хохотал, предлагал испробовать шампанского, которое он тоже привез с собой. И вот под низким потолком Иннокентиевой

кельи взлетела пробка. Шампанское заискрилось в граненых бокалах. Профессор предложил Иннокентию благословить этот нектар — выпить первым.

Иннокентий встал, поднял бокал.

Еще и не успел глотнуть вина, еще и не успел выплюнуть, как вздрогнул, вскрикнул и сел. Лицо искривилось, язык высунулся, он промычал что-то непонятное. Все бросились к нему, но тут... погас свет, и комнату наполнил мрак. Только слышно было, как кто-то выскочил за дверь и крикнул:

— Коней!

Донесся топот четырех пар лошадей. В келье кто-то издал крик:

— Свет! Врача! Свет!

Зажгли свет. Иннокентий лежал посреди комнаты. Он уже не дышал, лицо было синее. Над ним стоял камердинер профессора Смеречинского и, подняв голову, дико хохотал, выкрикивая:

— Вот когда, вот когда я наступил тебе на грудь, проклятый! Смерть! Смерть!

Все в страшном оцепенении смотрели на камердинера. А он постоял так и, даже не одеваясь, вышел во двор и побежал в поле. За ним не гнались. Не посмотрели даже, куда пошел этот странный человек. Только слышно было, как стонал, свистел в поле его голос. А может быть, и не голос, а дикий шальной северо-восточный ветер.

«Рай» загудел. Из пещер на двор вылезли раяне, тревожно засуетились, как пчелы в улье, когда гибнет матка. Мардарь и Бостанику сели на коней, умчались в степь догонять преступников. Но вскоре оба возвратились.

— Не догнали...

«Рай» собирался над трупом пророка...

* * *

Весной, обрабатывая виноградник, нашли труп камердинера профессора Смеречинского. Мардарь узнал в нем Василия Синику. Борода его выцвела под снегом, краска сошла, повязки не было. Василий лежал как живой. А спустя некоторое время прибрела сюда и Соломония. Она села на могилу Синики да так и

просидела до вечера следующего дня. Только поздно ночью раяне согнали ее с могилы. Соломония встала, посмотрела безжизненным взглядом на гурьбу раян и, что-то тихо нашептывая, пошла степью.

И еще долго после того видели ее в селах: она ходила босая и оборванная и просила каждого вытащить из головы гвоздь; она искала своего Синику и расспрашивала, как найти дорогу к нему.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Похоронив Иннокентия там же, в пещерах, раяне не разошлись, не прекратили своей деятельности. Апостолы объявили Иннокентия святым, а его место занял Семеон. «Рай» еще шире развернул свою деятельность; приходили новые люди, заселяли страшные пещеры и умирали после крещения от туберкулеза, воспаления легких...

1918 год. «Рай» стал на службу румынским оккупантам и гетманской реакции. Там скрывались шпионы «великой» Румынии, Петлюры, гетманские разведчики и польские офицеры.

1919 год. «Рай»— пристанище и убежище для бандитов, петлюровских шпионов и разведчиков.

1920—1921 годы. Расцвела полным цветом контрреволюционная деятельность монахов, которые превратили пещеру в убежище антисоветских элементов, в арсенал оружия, накапливаемого для борьбы с Советской властью. И только благодаря ЧК—ГПУ эту свору разогнали. Часть иннокентьевцев выслали за границы УССР, часть расстреляли, некоторые остались на прежнем месте и вошли в коммуну «От тьмы к свету», организованную липецкой беднотой на бывшем подворье «рая». Впрочем, еще в 1925 году раяне, основавшие «новый рай» под руководством Василия Панаиты, осадили было коммуну, пытаясь уничтожить коммунаров и захватить усадьбу, но получили сокрушительный отпор со стороны бедноты — теперешних хозяев усадьбы — коммунаров. Бандитов снова унич-

тожили силами ГПУ, и на этом активная деятельность раян против коммуны закончилась. Но вплоть до 1930 года среди членов коммуны действовали бывшие активные сотрудники Иннокентия — его апостолы Герасим Мардарь и Семеон Бостанику.

Последний отряд иннокентьевцев был ликвидирован в 1929 году (в ликвидации его принимал участие и автор книги). Эта небольшая, но мощная контрреволюционная банда существовала под прикрытием сельскохозяйственной артели в окрестностях Балты.



К РОМАНУ «ГОЛГОФА»

Роман Л. Гомина (Александра Дмитриевича Королевича) «Голгофа» рассказывает о возникновении на территории Молдавии секты иннокентьевцев и о ее чудовищных преступлениях.

Роман написан более четверти столетия назад. Отдельные его части печатались в 30-х годах в литературно-художественном журнале «Металеві дні» (Одесса); в 1934 году книга была подготовлена к изданию, но впервые полностью издана только в 1959 году на Украине.

Лесь Гомин родился в 1900 году в г. Черкассы в бедной рабочей семье. Писать он начал давно. Его стихи, фельетоны и рассказы, публицистические статьи появляются в периодической печати уже в годы гражданской войны. С 1924 года Л. Гомин — член Союза писателей. Он активно сотрудничает во многих журналах, газетах. В 1928—1929 гг. Лесь Гомин работает в Тирасполе, и его статьи часто появляются в газете «Плугарул Рошу» («Красный пахарь»). Умер Лесь Гомин в 1958 году.

* * *

События, описываемые в романе «Голгофа», тесно связаны с теми социально-политическими явлениями, которые имели место в России накануне революции 1905—1907 годов, в период наступления реакции. Царское правительство, напуганное ростом революцион-

ного движения в стране, принимало все меры к тому, чтобы задушить в зародыше борьбу рабочих и крестьян против помещиков и капиталистов. В этих условиях, наряду с кнутом и виселицей, царизм широко использует религию, церковь. Стараясь отвлечь трудящихся от революционной борьбы, господствующие классы стремятся насаждать среди них религиозные верования. Для этого используются самые различные формы пропаганды. В канун революционных событий 1905 года на заводах и фабриках под контролем царской охранки создаются фальшивые рабочие организации, возглавляемые, как правило, духовенством («зубатовщина»). В то же время с благословения церкви разжигается национальная рознь, одни народы натравливаются на другие; по стране организуются кровавые еврейские погромы, в Закавказье — армяно-татарская резня.

В годы революционного подъема, предшествовавшего революции 1905 года, а также в период господства реакции духовенство проявляет большую активность в организации «нетленных мощей», в объявлении «чудотворных икон» и «святых мест». Повсеместно подвизаются пророки и пророчицы, провидцы и прорицатели, которые на все лады гнусавят о скором конце мира, угрожают карами господними, призывают молиться, чтобы обеспечить себе вечное блаженство в загробном мире. На этом фоне возникла зловещая фигура Иоанна Кронштадтского, развернулась деятельность, в прошлом конокрада, «провидца» Григория Распутина, в Бессарабии — иеромонаха Иннокентия, чудотворца из Косоуц, о чудовищных преступлениях которого рассказывает роман «Голгофа».

В годы реакции церковники активизируют свою деятельность. Они принимают участие в создании черносотенных организаций типа «Союз русского народа», «Союз Михаила Архангела», «Русская монархическая партия», призванных по указке правящей верхушки стоять на страже престола, искоренять «крамолу».

Банды черносотенцев, во главе которых стояли крупнейшие князья церкви — митрополит Владимир, архиепископ Тихон (в будущем патриарх русской православной церкви), епископы Гермоген, Никон,

Серафим, мракобес Иоанн Кронштадтский и другие, разгоняли демонстрации, нападали на рабочие собрания, избивали бастующих, организовывали террористические акты против революционных, прогрессивных деятелей.

Духовенство рука об руку с карателями чинило кровавую расправу над революционным народом. Местные пастыри «старательно» составляли списки «виновных» и передавали их в руки палачей. Посылая царские войска на расправу, попы служили молебны о победе над «внутренними врагами», окропляли пулеметы святой водой. Некоторые органы печати русского духовенства, как например «Почаевские известия», открыто призывали к массовому черному террору*. Проповедники тьмы и мракобесия, как никогда раньше, в годы реакции получают большие полномочия... Клерикалы наводняют Государственную думу и играют крупную роль в политической жизни.

В статье «Духовенство на выборах и выборы духовенства», посвященной избирательной кампании в IV Государственную думу, В. И. Ленин указывает, что в 46 губерниях Европейской России было выбрано 7 990 уполномоченных, из них 6 516 священников. Последние составили 82 процента**.

Реакция в этот период стремится проникнуть во все поры жизни, убить все передовое. Чтобы отвлечь массы от революционной борьбы, внушить им реакционные идеи, делаются нападки на революционную теорию марксизма, попытки исказить, опошлить великое учение пролетариата. В это время среди буржуазной интеллигенции создаются различного рода религиозно-философские общества, в литературе проповедуются мистика, пессимизм, пошлость и разврат.

Широкое распространение в буржуазной среде, особенно в интеллигентских кругах, получили течения: «богоискательство» и «богостроительство».

В обстановке упадка общественного движения пропаганда религии, рост религиозных настроений представляли серьезную опасность для дела революции.

---

* Б. Кандидов, Церковь и гражданская война на Юге. Изд. «Безбожник», М., 1931, стр. 6.

** В. И. Ленин, Соч., т. 18, стр. 313.

Учитывая это, Владимир Ильич Ленин в годы реакции выступает с целым рядом статей, в которых раскрывает социальные корни религии, ее роль в классовом обществе, несовместимость религиозных взглядов с партийным, марксистским мировоззрением. В декабре 1905 года появляется статья В. И. Ленина «Социализм и религия», в 1909 году — «Об отношении рабочей партии к религии», «Классы и партия в их отношении к религии и церкви».

Сокрушительный удар по идеализму, поповщине, мракобесию был нанесен появлением выдающегося труда В. И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм».

В условиях господства реакции, разгула черносотенных банд в России, активизации клерикализма зародилась в Молдавии секта иннокентьевцев, развернулась тлетворная деятельность крупного афериста в рясе — иеромонаха Иннокентия.

* * *

Книга «Голгофа» до последнего времени не была известна массовому молдавскому читателю, хотя события, описываемые в романе, развертывались главным образом на территории Бессарабии.

В романе автор без прикрас рассказывает о чудовищных преступлениях, совершенных проходимцем и жуликом иеромонахом Иннокентием с позволения и при прямом участии высших духовных и светских властей.

Сюжетная канва книги основана на достоверных фактах, взятых из жизни молдавских монастырей в период между революцией 1905—1907 годов и Великой Октябрьской социалистической революцией.

Многие действующие лица выведены под своими собственными именами. Некоторые из них еще живы и с ужасом вспоминают свои прежние заблуждения, раскаиваются в них и жалеют о содеянном.

Центральной фигурой романа является пройдоха и жулик Иван Левизор (в монашестве — иеромонах Иннокентий), уроженец села Косоуцы, ныне входящего в Сорокский район Молдавской ССР.

В Косоуцах и сейчас еще живет немало людей, которые помнят хулиганские проделки и пьяные выходки Ивана Левизора. Уличенный в краже, боясь ответственности, Иван Левизор бежит из села и укрывается в Добруджском монастыре (село Добруджа, Резинский район, МССР), став послушником. Через два года он был изгнан из монастыря за распутный образ жизни. Иван попытался снова вернуться в отчий дом, но отец наотрез отказался принять под свой кров сына-забулдыгу. Вскоре после этого Иван Левизор появился на одесских рынках. Он промышлял игрой на шарманке, а также покупкой и перепродажей краденого. В это время его знают все притоны Одессы, он здесь свой человек.

Жизнь одесского базара, полная опасностей и тревог, скоро, однако, наскучила Левизору. Его снова потянуло в тихую обитель — в монастырь. Перекочевывая из одного монастыря в другой, которых было в избытке в царской России, Иван проходит школу мошенничества. В начале 1908 года он поступает в Балтский монастырь, и здесь начинается его карьера.

Монастырское начальство заметило ловкого и на редкость угодливого, расторопного инока. Инок был обласкан отцом Амвросием, настоятелем Балтского монастыря, и вскоре его постригли в иеродиаконы. Ивана нарекли новым именем, именем Иннокентия. Прошло совсем немного времени, и иеродиакона Иннокентия уже посвятили в сан иеромонаха.

Была и другая причина быстрого продвижения инока по иерархической монастырской лестнице. Отец Амвросий в лице афериста и жулика Ивана Левизора увидел своего собрата.

О настоятеле Балтского монастыря ходили слухи как о человеке с «запутанным прошлым», пришедшим в монастырь, чтобы под черной рясой скрыть свои не менее черные поступки в миру.

Архиепископ Амвросий, сын крупного дворянина, в студенческие годы был замешан в нашумевшем деле по изнасилованию дочери богатого помещика, покончившей самоубийством.

Только благодаря связям родителей ему удалось избежать каторги, но зато пришлось распроститься со «светом» и очутиться в глухой провинции в роли учи-

теля гимназии. Но и отсюда его изгнали в связи с очередным скандалом с ученицей. Сколько еще было совершено им грязных дел до появления в сане епископа в Балтской обители — мало кому известно. Поэтому для викария Амвросия авантюрист Иван Левизор был сущей находкой. Они нашли общий язык.

Чтобы приумножить доходы Балтского монастыря, Иннокентий предлагает сотворить «чудо» — объявить давно умершего настоятеля монастыря Феодосия Левицкого «святым», а его мощи — «нетленными». Эту авантюру охотно поддержал каменец-подольский архиерей Серафим, друг и собутыльник настоятеля Балтского монастыря.

В грязной истории с «нетленными мощами» были замешаны не только отцы церкви, но и светские власти и даже полицейские чины. В типографии Фесенко в г. Одессе были тайно отпечатаны тысячи открыток-портретов Феодосия Левицкого, и черная братия Балтского монастыря расползлась по всей Бессарабии и югу Украины, извещая народ о необычайном событии, происшедшим в стенах Балтского монастыря. Они раздавали открытки, призывали верующих поклониться нетленным мощам праведника и исцелителя отца Феодосия и послушать проповеди «провидца» Иннокентия.

Пышно и торжественно было организовано в мае 1908 года перенесение «нетленных» мощей отца Феодосия с Никольского кладбища г. Балты в один из храмов монастыря. Во время этой церемонии пройдохой Иннокентием были ловко разыграны чудеса «исцеления». С этого времени монастырь в Балте стал центром паломничества темного люда. Сюда начали стекаться тысячи обманутых молдаван и украинцев, чтобы послушать проповедь иеромонаха Иннокентия, найти утешение в горе, «исцеление» от недугов. Имя нововявленного пророка не сходит с уст верующих. О нем говорит вся Бессарабия, сочиняют замысловатые истории.

Из села в село, из дома в дом ходили пилигримы из Балтского монастыря, а также мироносицы отца Иннокентия и рассказывали о «великих чудесах». Они призывали во имя спасения, искупления от грехов бросать все и следовать за пророком.

«Бросайте дом, ибо он не нужен, бросайте жену,

ибо она стелет вам путь к дьяволу, бросайте детей, ибо дети — забота для головы и погибель для сердца; готовьтесь к встрече с богом!» — таков был лейтмотив проповедей Иннокентия и его приверженцев.

В условиях жесточайшего экономического гнета, политического бесправия, безысходной нужды, темноты и забитости крестьянского люда эта подлая пропаганда находила себе питательную почву. Немало людей попалось на удочку сектантов. Одни — одурманенные проповедями иннокентьевцев, другие — под действием шантажа и угроз — продавали за бесценок свое имущество, а вырученные деньги жертвовали на монастырь «святого духа». Крестьяне оставляли семьи и пополняли армию бродячих проповедников, призывающих совершить поход из ада в рай.

Молва о «нетленных мощах» и провидце Иннокентии далеко шагнула за пределы Украины и Молдавии. Богатства текли золотым ручьем в Балтскую обитель, духовенство ликовало.

Светские власти закрывали глаза на чудовищные преступления, которые совершались проходимцем и жуликом иеромонахом Иннокентием. Сквозь пальцы смотрели на это и духовные власти. Те и другие прекрасно понимали, что рост религиозных настроений среди населения был одним из спасительных средств от распространения революционных идей, которые все глубже проникали в сознание трудящихся Бессарабии, особенно под влиянием революционных событий 1905—1907 годов. Однако вся история с «нетленными» мощами в Балтском монастыре, действия новоявленного пророка начали принимать скандальный характер. Некоторые ревнители православия из числа князей церкви были возмущены грубой работой своих духовных коллег. Они понимали, что фарс с открытием мощей может быть широко использован для разоблачения темных сторон деятельности церкви.

Развратный образ жизни «пророка», постоянные оргии, сопровождавшиеся скандалами, драками его мироносиц-сожительниц, выходили далеко за стены монастыря и серьезно компрометировали «святую церковь». Не случайно Серафим, архиепископ кишиневский и хотинский, посылал в Петербург одну депешу за другой, требуя от синода вмешаться в «дело Балт-

ской обители». Была и другая опасность для православного духовенства в действиях балтского «пророка». Почувствовав силу, безнаказанность своих действий, Иннокентий пытается выйти из подчинения своих хозяев. На викария Амвросия он стал смотреть уже как на одного из соучастников в шулерстве, начал грубить ему. Значительную часть награбленной добычи осмелевший мошенник уже оставляет у себя. В проповедях Иннокентия зазвучали сепаратистские тенденции, стремление обособиться, выйти из-под опеки и стать самому во главе церкви, основать в Бессарабии «Новый Иерусалим». Пройдоха не теряет времени. Близ села Липецкое он покупает большой участок земли, и здесь развертывается строительство тайного подземного монастыря — будущего центра «Нового Иерусалима».

Элементы «крамолы» в речах «провидца» стали замечать и представители власти. Искусный мошенник, понимая ненависть трудящихся Молдавии к царизму, к режиму кнута и виселицы, подлаживается под настроение трудящихся. В своих проповедях он пытается изобразить себя заступником народа перед властью «ымпэрата», обещает молиться за народ, чтобы бог наказал российского царя за его несправедливости. Такие проповеди, конечно, встречали сочувствие и одобрение людей. Неискушенные, темные, забитые в условиях царизма, они наивно верили, что «пэринцел» принесет им счастье и избавление от безысходной нужды и горя, обожествляли его: в домах, в переднем углу, помещали на самом почетном месте изображение шестикрылого Иннокентия рядом с иконами Иисуса Христа, божьей матери и других святых.

В 1909 году в Балту прибыла специальная комиссия синода для расследования «балтского движения». Однако ее положение было весьма щекотливым. Раскрыть все преступления иеромонаха Иннокентия — значило привлечь к церкви внимание широкой общественности и открыть ей глаза на грязные дела, совершаемые с благословения святой церкви не только в Балтском, но и в других монастырях. Синодальная комиссия видела, что в «балтском деле» замешано немало служителей церкви — настоятель Балтского монастыря Амвросий, каменец-подольский архиерей Серафим и многие дру-

гие. Все это могло лишний раз бросить тень на православную церковь. Комиссия решила тихо, мирно уладить этот скандал, не выносить сор за монастырские ворота. Попьянствовав вместе с новоявленным пророком «святой обители», получив солидный куш от организаторов балтского «чуда», комиссия отбыла в Петербург.

Вскоре после этого появился «грозный» приказ синода за подписью обер-прокурора святейшего синода Победоносцева, в котором говорилось:

«Считаем лучшим для церкви божьей инока Иннокентия из вашей обители забрать на время и перевести его под строгое начало испытанного в вере отца Серафима каменец-подольского... Вместе с этим предлагаем прекратить печатание листовок на молдавском языке, равно как и распространение его образа и слухов о его святости и принадлежности к святой троице. Запрещаем также распространять сведения о святости отца Феодосия Левицкого, который нами не канонизирован святым... Если же вы этого не сделаете, то будут предприняты самые решительные меры и по отношению к иноку Иннокентию, и к тем, кто способствовал этой ереси».

Согласно распоряжению синода, Иннокентий из Балты был переведен в Каменец-Подольск под «строгое начало» архиерея Серафим, а в 1912 году перемещен в Муромский монастырь.

В это время приверженцы Иннокентия, так называемые апостолы и мироносицы, в их числе мать Иннокентия Софья и его брат Семен, закончили подземное сооружения огромного «Нового Иерусалима» близ села Липецкое.

Автор книги Лесь Гомин без прикрас рисует кошмарные картины жизни обитателей подземелья. Тысячи людей, обманутых и ограбленных, ослепленных надеждой на вечное спасение, были обречены на верную гибель в пещерах Гефсиманского сада, как именовали иннокентьевцы катакомбы в Липецком. Огромное скопище людей в темных, сырых подвалах подземелья, постоянные посты, грязь — все это способствовало массовым заболеваниям. Сотни людей умирали от тифа, чахотки и заразных заболеваний. Многие сходили с ума.

В Муромском монастыре Иннокентий отнюдь не был на положении узника и кающегося грешника. Его поместили в просторном доме. В нарушение всякого существующего монастырского устава, Иннокентию было разрешено держать около себя до десятка мироносиц-сожительниц, вести самый разгульный, разнузданный образ жизни. Но это не удовлетворяло пророка. Вкусивший от плода тщеславия, он снова хотел видеть перед собой одурманенные толпы людей, приветствующих его криками, жаждущих его благословения. Иннокентий задумал вырваться из монастыря. В уме его созрел коварный план: «Пусть меня освободит сам народ». В Бессарабию полетели письма от Иннокентия к его «апостолам» с указанием поднимать народ. Несколько тысяч одурманенных людей в один из холодных декабрьских дней 1912 года двинулись в направлении Муромского монастыря, в далекий и суровый Олонецкий край, освобождать Иннокентия.

«Холодный северный ветер... дул им навстречу. Он колол, сек их лица, забирался под рваные шубейки, под латаные армяки, отталкивал назад, угрожал смертью... Но, движимые слепой, фанатичной верой, они шли, не останавливаясь». Автор, используя документальные материалы, рисует чудовищное преступление, которое было совершено органами царской власти вкупе со служителями церкви и жуликом иеромонахом Иннокентием. По всему пути следования паломников летела тайная депеша из Петербурга: «Препятствий не чинить. Религиозных стремлений возбранить нельзя. Пропустить молящихся к цели».

День за днем двигалась огромная масса людей на север. Многие, обессилев, падали, и снежный ветер навсегда прятал под сугробами непрощенных грешников. Среди паломников вспыхнула эпидемия тифа. Это стало известно властям. По деревням были расставлены становые с жандармами, которые не давали людям пристанища, безжалостно гнали их, больных, измученных тяжкой дорогой, в лютые морозы.

Немногим «посчастливилось» дойти до пророка Иннокентия. Большая часть погибла в пути. Но это не обескуражило косоуцкого афериста. Собрав своих апостолов, он призывает паломников к восстанию и освобождению его из плена. Монастырское начальство,

заранее осведомленное о замыслах Иннокентия, вызвало роту забайкальских казаков и наряд жандармерии и в день монастырского «бунта» учинило кровавую расправу над темной и беззащитной толпой.

Исхлестанная нагайками, исполосованная казацкими шашками, окровавленная толпа паломников была выброшена в пургу, в лютые морозы за монастырские ворота.

Теперь уже многоверстная черная лента медленно потянулась с севера на юг, возглавляемая самим «пророком» Иннокентием, скакавшим впереди на добрых вороных конях. И снова люди падали в изнеможении и находили вечный покой в снегах сурового севера.

В феврале 1913 года в г. Каргополе и его окрестностях толпы паломников были по приказу начальства остановлены, загнаны в вагоны и под конвоем отправлены к месту жительства, а Иннокентий арестован и препровожден в петрозаводскую тюрьму.

Так закончилась эта бесславная «эпопея», в результате которой погибло несколько тысяч человек. Виновники этого чудовищного преступления остались безнаказанными.

Синод не разрешил передать преступника Ивана Левизора в руки гражданских властей, так как в этом деле было слишком много улик против православной церкви. Чтобы замести следы, скрыть причастность православного духовенства и синода к «балтскому движению», было решено отдать иеромонаха Иннокентия на суд князей церкви.

Но, как гласит народная пословица, «ворон ворону глаз не выклюет», собрались князья церкви, отечески пожурили инока Иннокентия, и он раскаялся, а раскаявшегося грешника простили. В петрозаводской тюрьме «недостойный и многогрешный иеромонах Иннокентий, в мире крестьянин Бессарабской области с. Косоуц Сорокского уезда Иван Васильевич Левизор...», чистосердечно признался в своих преступлениях, свалив, правда, всю вину за содеянное на «врага рода человеческого — диавола», всегда «ищущего, кого поглотити».

В своем отречении Иннокентий заявил, что он простой «смертный» и просит не верить слухам о его свя-

тости и о том, что он послан «от бога учить людей»; клянется не распространять больше «ереси хлыстовского духа»*.

В показаниях перед «святыми отцами» церкви Иван Левизор во всех подробностях рисует отвратительные картины разврата, проституции, пьяных оргий, процветавших в Балтском и Липецком монастырях, в их тайниках, организаторами и участниками которых были главари секты иннокентьевцев.

Иеромонах Иннокентий спокойно рассказывал о совершенных им злодеяниях. Он знал, что находится среди своих, которые не дадут его в обиду.

«Глубоко каюсь и сознаю, как великое безумство и тяжкое свое преступление — это привлечение народа в Муром, содержание в каторжной бивачной обстановке, а затем этот ужасный поход из Муромской обители в зимнюю стужу с массою молдавского народа, худо одетого, непривычного к снегам и морозу северного климата!

Тени несчастных, умерших в пути от стужи и истощения детей и старцев, и живых мертвецов — больных и разоренных — восстают перед моей совестью как грозные обличители моих вольных и невольных в сем злосчастном балтском религиозном движении заблуждений, грехов и беззаконий!..

Впредь да не будет этого обмана! Аминь!»**

Однако «пророк» не сдержал своего слова, нарушил обет, данный «святой церкви».

В декабре 1917 года Иннокентий появляется в Липецком и прилагает отчаянные усилия, чтобы снова сколотить вокруг себя приверженцев и почитателей, активных проповедников его «вероучения». Он рыскает по Бессарабии, появляется то в одном, то в другом месте, кликушествует в своих проповедях о конце света, о наступлении царства сатаны, призывает верующих отрешиться от суетного мира, уйти в подземелья и готовить себя для вступления в «царствие небесное». Но наступили другие времена. Преступления, совершенные Иннокентием, дошли до массы верующих. О

* «Кишиневские епархиальные ведомости», № 39, 1913, стр. 1484—1487.

** То же, стр. 1493.

них рассказывали живые свидетели кровавого похода из Балты в Муромский монастырь* и оттуда в Бессарабию, люди, потерявшие по вине Иннокентия все свое имущество, лишившиеся крова, семьи. Они поняли подлый обман, свои заблуждения и стали не только самыми ненавистными врагами балтского «пророка», секты иннокентьевцев, но и активными разоблачителями сектантского мракобесия.

Проповеди «пророка» собирали все меньше людей. Обманутые выходили из подземелий, скудели приношения. Для «пророка» наступили черные дни.

Апостолы Иннокентия, прежде покорные его власти, перестали повиноваться. Многим из них самим хотелось играть первую скрипку во всем этом шулерстве. Началась грызня между «апостолами» и «пророком». В подземелье разыгрывались кровавые схватки, кое-кто из апостолов был даже убран с дороги. Но это не упрочило положения секты.

Вместе с Великим Октябрем пришли новые времена и в Молдавию. Они возвестили гибель эксплуататорского строя, конец власти помещиков и капиталистов, принесли свободу простым труженикам. Руководители сектантского подполья понимали, что с установлением Советской власти придет конец их благополучию, основанному на религиозном обмане. Поэтому они выступили ярыми врагами нового строя.

В первые годы борьбы за установление власти Советов главари секты иннокентьевцев активно сотрудничали с контрреволюционными силами. Тайники иннокентьевцев стали служить надежным укрытием для белогвардейских банд, шпионов, диверсантов. Здесь находят приют и убежище лазутчики Петлюры, шпионы королевской Румынии, панской Польши, гетмана Скоропадского. Среди населения ведется пропаганда, призывающая оказывать сопротивление Советской власти, отказываться от службы в Красной Армии, уходить в тайники, спасаться от «власти диавола» и т. д.

В 1920—1921 годах катакомбы Липецкого монасты-

* Муромский монастырь был основан в XIV в. на берегу Онежского озера при впадении р. Муромки (бывший Пудожский уезд, Олонецкой губернии). Города Муромска, упоминающегося в романе Гомина, в действительности не существовало.

ря превращаются в опорный пункт контрреволюции. Они служат складом оружия, являются местом сосредоточения контрреволюционного отребья. Монастырь становится центром подготовки восстания против Советской власти. Только благодаря мерам, принятым органами Советской власти, заговор был ликвидирован, восстание предотвращено, а его главари и вдохновители понесли заслуженную кару.

Все это не только вызывало ненависть со стороны верующих к главарям секты иннокентьевцев, но и разоблачало последних как пособников врагов Советской власти.

В 1921 году на месте Липецкого монастыря создается коммуна «От тьмы к свету». Многие бывшие иннокентьевцы, «раяне», вошли в коммуну и впоследствии стали активными ее членами. Что же далее сталось с косоуцким «пророком»?

Всякий преступник неизбежно приходит к своему бесславному концу. Так случилось и с Иннокентием. В 1919 году он созвал тайное сборище своих приверженцев, которое, как обычно, закончилось оргией. В пьяной драке один из «апостолов» убил своего «пророка». (В романе Л. Гомина Иннокентий погиб от руки кулака Синики, отомстившего за свою разбитую и поруганную жизнь.) Чтобы замести следы преступления, «апостолы» тайно похоронили Иннокентия, а среди верующих распространили слух, что Иннокентий «вознесся на небо». Так закончилась бесславная карьера «пророка» Иннокентия, одного из крупнейших мошенников в рясе.

* * *

С ликвидацией липецкого «рая», смертью его главаря и организатора иеромонаха Иннокентия секта иннокентьевцев не прекратила своего существования. Движение нашло благодатную почву в правобережной Молдавии, особенно в ее южной и средней частях.

Беспросветной была жизнь трудового люда в оккупированной королевской Румынией Бессарабии. Оккупанты знали, что рано или поздно им придется убраться восвояси. Поэтому в отторгнутой части Молдавии был установлен полицейский режим, царила самая

бесстыдная эксплуатация. Бесчисленные королевские поборы легли тяжелым бременем на плечи трудящихся. Помещики и капиталисты, ростовщики и спекулянты, перекупщики и маклеры, как стая хищников, набрасывались на свою жертву — трудовой люд и обдирали его как липку. Они торопились обогатиться за счет крови и пота бессарабского рабочего и крестьянина. Малейший ропот, неосторожно сказанное слово — и человек оказывался в застенках сигуранцы. В этих условиях снова развернули свою тлетворную деятельность среди темного и забитого бессарабского крестьянства бывшие приближенные Иннокентия, его так называемые апостолы и мироносицы.

Надев на себя личину пророков и пророчиц, главари секты бродили по селам, организуя тайные сборища, проповедуя скорое наступление «конца света» и приближение «страшного суда», требуя от верующих, чтобы они продавали свое имущество, покидали «греховный» мир, уходили в подземелья и готовили себя к «великому дню». Проклиная брак и семью, изуверы-иннокентьевцы проповедуют среди своих приверженцев сожительство без различия пола и возраста, требуют от больных не принимать медицинской помощи, убеждая людей, что физические страдания являются искуплением за их грехи перед богом.

В этот период в Бессарабии возникает широкое подполье иннокентьевцев, оборудуются жилища для проповедников и главарей секты, места для молений и т. д. По селам Бессарабии бродят десятки «татуней» и «мамуней» (святых отцов и матерей божьих), пророков и пророчиц. Были случаи, когда в одном и том же селе появлялось несколько «святых». Между «святыми» нередко вспыхивали ссоры, кончавшиеся потасовками.

Позднее, когда правобережная часть Молдавии была освобождена от оккупантов, главари секты развернули злобную агитацию против Советской власти и ее мероприятий. Они призывали крестьян не вступать в колхозы, саботировать выполнение государственных планов хлебозаготовок, отказываться от участия в выборах Советов, от службы в Советской Армии. Они пророчили скорую гибель Советской власти и восстановление монархического строя. Распространяли слухи, что чле-

ны семьи бывшего царя Николая II живы и скрываются в сектантском подполье. Сектантам, чтобы они поверили этим небылицам, показывали якобы престолонаследника Алексея — сектанта Семена Романенко, и царскую дочь Анастасию, которую представляла некая аферистка Фаня Гурвиц.

Однако антисоветская агитация главарей секты не имела сколько-нибудь серьезного успеха. Крестьяне вступали в колхозы, активно включались в строительство новой жизни. С каждым годом богаче и краше становилось в доме крестьянина. В этих условиях все труднее было главарям секты одурманивать народ. Открывались глаза на правду даже у тех, кого сектанты «обрабатывали» многие годы. Десятки, сотни людей выходят из подземелий, раскаиваются в своих заблуждениях, приобщаются к полезному труду.

Главари секты, чувствуя, что почва уходит из-под их ног, что люди начинают понимать ложь и обман, не останавливаются ни перед какими преступлениями, совершают даже убийства бывших своих единоверцев, порывающих с сектой. Так были убиты в тайниках сектанты Макарий, Надежда из села Нижние Ниспорены, трупы которых нашли в селе Лазо Оргеевского района.

Уподобляясь бандитской организации «кампрачикосам», существовавшей в период феодализма в Испании, Англии и других странах Запада, иннокентьевцы похищают детей, бросают в тайники, пытаясь превратить их в ярых пропагандистов секты.

В 1952 году в селе Пепены Лозовского района местные колхозники раскрыли сектантское подполье, в котором были обнаружены два подростка — Виктор Ткач из села Вережаны Атакского района и Андрей Гелан из села Городище Каларашского района.

Тайники, где держали похищенных подростков, обнаружены и в других селах. В селе Новые Бенешты Теленештского района в доме сектанта С. И. Хапун найдены мальчик и девочка. Сектанты похитили детей, когда они были совсем маленькими. На вопрос, кто их родители, дети отвечали, что появились от «святого духа» и никаких других родителей не признают.

Долго разыскивали своих детей семья колхозника

Ф. И. Маржина из села Скорцены Теленештского района и жительница села Чобручи Каушанского района Е. Д. Шавга. Лишь недавно удалось найти и вырвать из лап сектантов Катю Маржину и Александру Шавга.

В 1957 году в селе Страшены после посещения сектантами дома колхозника А. Г. Мунтяна исчезла его дочь Екатерина.

Изуверский характер секты, бандитские действия иннокентьевцев, их паразитический образ жизни вызывают ненависть и презрение со стороны населения к сектантским главарям.

В условиях социалистической действительности, в период расцвета колхозной жизни, когда в селах Молдавии ярко горят лампочки Ильича, а в дом колхозника вместе с радио и телевизором, газетами и книгами пришел достаток, мало кто верит проповеди пророков о «спасении души», райской жизни и загробном мире. Ослепшие прозревают. Вот что рассказывает о себе Н. Штефаница из села Тигеч Леовского района: «Меня завербовали в секту в 1950 году, когда мне было 17 лет. Побудили меня к этому мать и проповедник А. З. Мерлан. Они обещали райскую жизнь «на том свете». Вместе с Мерланом мы исколесили всю республику, проповедуя «слово божье» и собирая пожертвования на несуществующий «храм господний». Мне приходилось наблюдать за жизнью многих проповедников секты. Сколько лжи и обмана в их действиях, какие грязные дела творят они в тайниках! Видя все это, я понял, что был одурачен, и порвал с сектой. Теперь работаю в колхозе, у меня семья, свой дом. Живем хорошо. Хочу сказать людям: не верьте сектантам. Их проповеди — один обман».

С сектой порывают не только рядовые сектанты, но и ее организаторы, главари. Вышли из секты Вера Татару, Агафья Зубко — активные проповедницы, которые почитались верующими как «святые» праведницы; прекратили преступную деятельность активные проповедники Михаил Унтила, Петр Зеленко и другие. Отошел от секты один из матерых главарей иннокентьевщины — Александр Куляки, еще недавно именовавший себя Михаилом Архангелом.

В настоящее время секта иннокентьевцев прекратила свое существование, остались лишь отдельные приверженцы этой секты, последователи иеромонаха Иннокентия.

Роман «Голгофа» разоблачает антиобщественную преступную деятельность секты иннокентьевцев. Книга поможет многим верующим освободиться от религиозного дурмана. Она окажет помощь пропагандистам и агитаторам в их атеистической работе среди верующего населения.

Н. Шилинцев

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЛЕСЬ ГОМИН

ГОЛГОФА

Редактор *В. Кравченко*
Художник *Г. Зыков*
Художественный редактор *В. Корякин*
Технический редактор *Н. Жеманян*
Корректор *Н. Свинкина*

Сдано в набор 9/VI-1964 г.
Подписано к печати 26/VIII-1964 г.
Формат бумаги 84×108 1/32.
Печатных листов 19,95.
Уч.-изд. листов 19,88.
Тираж 100000 (1—50000).
Цена 75 коп.
Зак. № 2288.

Издательство
«Картя Молдовеняскэ».
Кишинев, ул. Жуковского, 44.

2-я тип. Гос. комитета Совета
Министров МССР по печати.
Кишинев, Советская, 8.